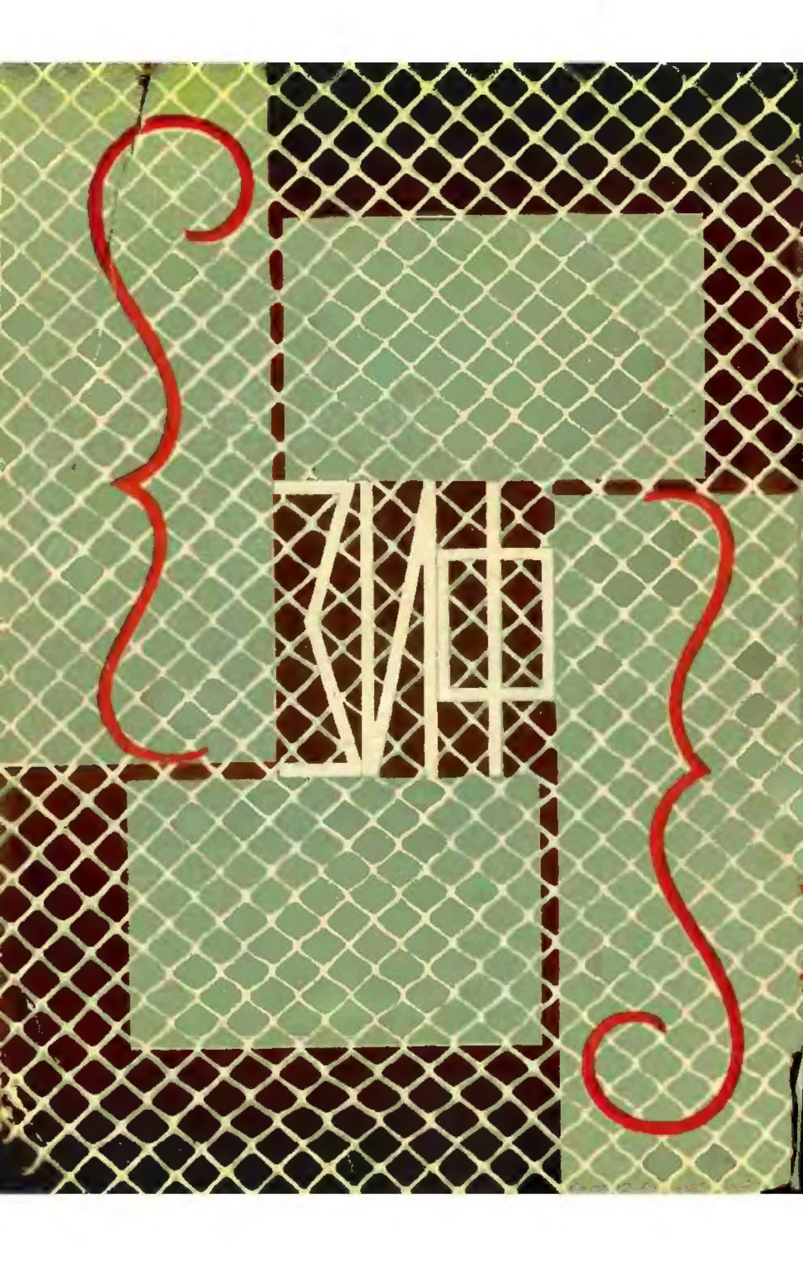
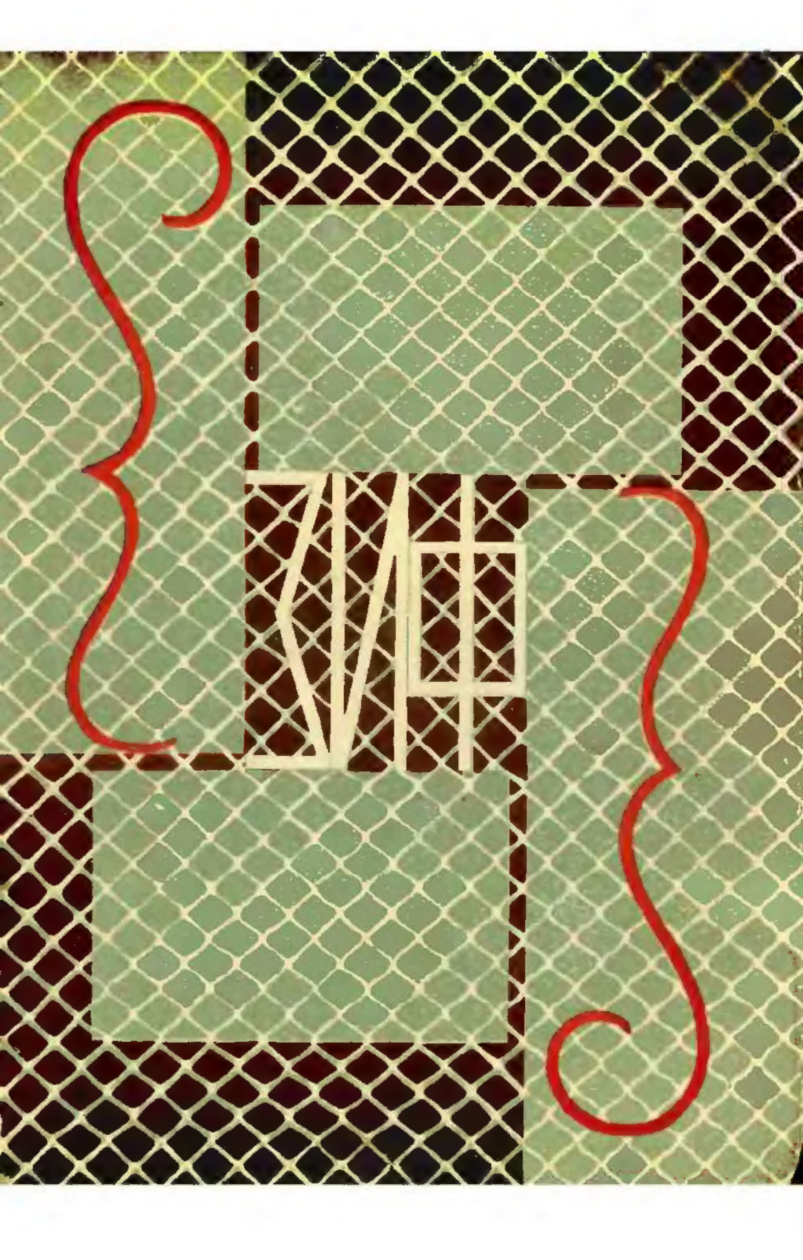
ЗЕМЛЯ и ФАБРИКА

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
АЛЬМАНАХ

КНИГА ПЕРВАЯ

ЗиФ


ЗИФ


ЗИФ



ЧИТАТЕЛЬ!
Просим сообщить Ваш отзыв об этой книге по адресу: Москва, Центр, Варварка, Псковский пер., 7. Информационный Отдел „З И Ф“

АЛЬМАНАХ
ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА

1

З И Ф

Обложка худ. Сергея Чехонина
Отпечатано в типографии Госиздата
„Красный Пролетарий", Москва,
Пименовская улица, дом 16,
в колич. 6.000 экз., 26¾ л.,
Главлит № 99178
MCMXXVIII

ВЛ. БАХМЕТЬЕВ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ МАРТЫНА

РОМАН

I

Был он молод и выглядел богатырем, но его сила и молодость оставались обычно в тени. Он как бы прятал от людей и свои синие глаза, брызжущие дикою радостью существования, и свои плечи, развернутые упругими крыльями. У него был несомненно большой голос, но говорил он столь сдержанно, что только по глубокому звону на гласных можно было догадываться о безупречности голосовых его средств. Голову — широкий чистый лоб с белокурою охапкой над ним — Мартын откидывал слегка назад, но это не придавало ему вида заносчивости. Скорее, в такой манере носить голову угадывался неисправимый мечтатель.

Родом Мартын с Волги. Отец его рыбак. Мать из богатой помещичьей семьи. Мартын ее не помнит, но от соседей не мало слышал о диковинной любви бледнолицей изнеженной девушки к нищему рыбаку Баймакову. Сам Баймаков об этом никогда не рассказывал сыну.

Пока Мартын подрастал, кто-то, чья голова напоминала голову старого медведя, не раз заглядывал в рыбачью избу. Великолепный и властный, в черном сюртуке, со снежною белизною на груди, с тяжелою в руке тростью, он подолгу и жарко кричал о чем-то своем в кудлатое лицо рыбака. Мартын из угла следил за гостем, и было всегда страшно, что у того на пальцах, обвивавших бронзовый набалдашник, горела смертная бледность.

Много позже (он тогда уже справлялся с вертким челноком) узнал Мартын, что между его отцом и человеком,

похожим на старого медведя, шла многолетняя борьба, а боролись за то, по какой дорожке итти ему, Мартыну.

Мартын сам выбрал себе дорогу. Научившись у деда по священным его книгам грамоте, он бежал из рыбачьего поселка в город. Там обучался на средства неведомого благодетеля в технической школе, но не закончил, узнав, что опекал его давнишний враг отца, человек с медвежьей головой. Прошатавшись с месяц в холоде и голоде по городу, парнишка на буксирном перебрался к верховьям, в Сормово, где и устроился на механический. Здесь он сошелся с заводской молодежью, вступил в подпольный кружок, был вскоре арестован и, несмотря на крайнюю юность, выслан на север.

В ссылку Мартын Баймаков пошел об руку с заводским коноводом, старым партийцем, по кличке Черноголовый (у Михаила Иваныча голова с молодых лет была седовласою). Этот Черноголовый занялся марксистским образованием Мартына, и ученик выказал такие успехи, что уже в конце первого года было ему разрешено выступать „затравщиком" в боях с видными эсерами. О, какие это были схватки! Верх почти всегда брали эсдеки,— единственные моменты, когда Мартын не прятал глаз, не сдерживал голоса и не стыдился своих плеч, этого щедрого дара волжской природы. И тут не столько его слушали, сколько на него глядели. А женщины заглядывались.

Но женщины для Мартына еще не существовали. Он избегал их. Их внимание не трогало Мартына. У него была необузданная страсть к одиночеству. Он часами просиживал за книгой, неделями пропадал в глуши тайги. Будничные его беседы с людьми были редки и скупы. Исключением являлись занятия с Черноголовым. Но Михаил Иваныч и сам не любил пустых разговоров. Так они и жили вдвоем, далекие от повседневных людских радостей, оба — сдержанные, почти холодные: один по праву давно пережитой юности, другой — благодаря ей.

Впрочем, Михаил Иваныч не всегда одобрял склонность Мартына к одиночеству, а его скитания в тайге у Михаила Иваныча вызывали даже тревогу.

— Не забывай, Мартын: человек есть животное общественное...

Этой стереотипной фразой Михаил Иваныч не раз встречал ученика, когда тот возвращался из неведомого мира. Но продолжать попреки Михаилу Иванычу не удавалось, так как Мартын молча отворачивался и только краснел. Краснел он по-девичьи, густо, до самых корней волос, и при этом опускал глаза, а в ржаной чаще его ресниц мог бы утонуть и сам смертный грех.

Черноголовый прищуривался под толстым стеклом очков и, сложив трубочкой губы, легонько насвистывал.

— Странный ты парень...

У Мартына и впрямь были странности. Не говоря уже об этой его страсти к одиночеству, он, например, не выносил вовсе, когда на диспутах с эсерами Михаил Иваныч вмешивался в его, Мартына, речь, поправлял, подсказывал. Он так не выносил этого, что нередко смолкал на полуфразе и потом долго ходил темным и горестным. Но было у Мартына кое-что и похуже: он делал не всегда то, что считал возможным и доступным для себя. У него была тяга к необычному и непреодолимому.

Началось еще в детстве.

Если отец, шутки ради, ставил его у весла струга, зная наперед, что такая работа ребенку не под силу, Мартын с ожесточением накидывался на весло и злобно, в слезах, боролся до последних сил. Будучи побежден, опускался с воем на днище и, если над ним смеялись, готов был вцепиться зубами в босые отцовские ноги.

Когда у Мартына являлось желание переплыть Волгу с берега на берег, а сам он в это не верил и весь холодел от предчувствия беды, никакая сила не могла уже удержать его. За безрассудные упражнения отец не раз

бивал сына, но тот продолжал свое, уходя вверх по течению, подальше от поселка. И тут рыбак Баймаков узнавал в сыне кого-то чужого — желанного и ненавистного; кого-то, кто много лет назад ворвался в его жизнь и чуть не спалил ее.

— Хоть лыком шит, да барин! — говорил он загадочно и сурово о сыне.

И был еще случай, в бурю на Волге. С утра в тот день рыбаки убрались вниз по теченью, к своим снастям. В поселке оставались женщины, недужные старики да дети. Когда, в сумерках, налетела нежданно гроза и подул долгий ветер, на берегу поднялась кутерьма. Был час возвращения рыбаков. Женщины с трепетом вглядывались в почерневший, гремучий волжский простор.

Мартын стоял среди них, вслушивался в пушечные гулы вод и дрожал от стужи. Огромная ладья скрежетала днищем по гравию, волны ворочали сизую тушу с боку на бок. Лил черный дождь, ветер трепал его, бросал пригоршнями в лицо. Порою бесшумно вспыхивала молния, и тогда заречная даль раскрывала темную пасть, оказывала тот берег и вновь его проглатывала. И вдруг в речной гул, царапая его, ворвались крики женщин. На зыбучем речном горбу обозначились рыбачьи челноки: скакали на волнах, как подшибленные птицы.

— Наши! — закричал Мартын и бросился к воде, но люди не подхватили его радостного вопля. При новом взрыве молнии было видно: скачут челноки на одном месте, точно кто-то беспощадный привязал их там. Пролетела минута, за минутой — еще много минут, а челноки плясали на том же месте, и лил черный, густой, как деготь, дождь, и в зеленых зарницах широко распахивались и вновь смыкались немые заречные дали.

Мартын понял: рыбакам берега не поймать! И еще ранее его поняли это взрослые, метавшиеся теперь вокруг ладьи. Услышав глухой стук весел, Мартын с разбегу

ухватился за борт. Ладья, шатаясь, двинулась в воду, вода захлеснула босые ножонки, Мартын кричал, но вой реки был сильнее.

Древний, позеленевший от времени дед Стратон, тот, что еще помнил тайные скиты за Жегулями, видел мальчонку, повисшего у борта, кинулся в воду и взывал, приложив руку к беззубому рту. Но никто не слышал его. Ладью уносило от берега; в ладье видны были людские головы, похожие на поплавки. Поплавки эти то подымало над дальним берегом, то втягивало вглубь, в зелено-бурую яму.

Мартын уцелел. Об отчаянном отроке долго потом говорили, приглядывались к нему. И вот еще о ту пору в сердце Баймакова запала горючая капля. И чем дальше шло время, тем глубже въедалась эта капля, тем острее становилась от нее боль, и тем нетерпеливее вглядывался Мартын в грядущее.

Кто скажет, почему Мартын, новый, большой Мартын, отведавший марксовой мудрости, любил подолгу шататься в тайге? Не потому ли, что тайга пугала его, и он, как всадник, почуявший под собою взбешенное животное, напрягал все силы, чтобы победить?

— Странный ты парень! — говорил Михаил Иваныч и, с нескрываемым подозрением, с болью в голосе, предостерегал: — Человек в одиночку не сильнее, Мартын, мыльного пузыря...

Опять стереотипная фраза. Но, пойманный, разгаданный так вот, на лету, краснел Мартын до корней волос и прятал в рыжей чаще ресниц своих все, что еще не было Черноголовым понято.

II

Михаил Иваныч — человек односторонний, сухой, и потому жил он без большой радости, но и без особого, обычного у людей чувствительных, страха.

Когда-то, лет этак пятнадцать назад, Михаил Иваныч раз навсегда отмахнулся от всего, что связано было с диким хмелем любви, с суетой семейного очага. Может быть, здесь убеждения Михаила Иваныча сложились волею самой обстановки: вечное кочевье, тюрьмы, подполье. Однако, знавшие Черноголового ближе говорили, что не последнее место в развитии свирепого его аскетизма занимала женщина. Называли даже некую Розу Гринберг, слывшую одно время на юге социал-демократкой, а на поверку оказавшуюся самою несносною анархисткою. Это она, Роза Гринберг, в шестом году участвовала в столь нашумевшей на юге экспроприации,— дело, окончившееся для нее—273-й статьей свода военных постановлений, для Михаила Иваныча — потерею веры в то непрочное, что составляет личное счастье.

Но если прелести любви были Черноголовым отвергнуты, то как можно было предполагать, что и от других многих очарований жизни отвернется он!

Тут вот ученик и расходился со своим учителем.

В конце концов, не диво удержаться от людной пирушки, от медовой, слишком крепкой, бражки, от восторгов спора (достаточно всегда бестолкового). Но как отказаться от белой северной ночи, когда так восхитительно мчаться на лыжах по лунным сугробам, подставлять морозному полымю щеки и думать только о том, чтобы не кувыркнуться с откоса вниз головою?

Ведь это же совершенно невинные вещи, и к чему тут ядовито прищуренные глаза и — губы, сложенные трубочкой, готовые вытолкнуть новый стереотип, в роде: „Безделье и мелочи — паутина жизни".

А разве упражнения, проделываемые Черноголовым по утрам, не безделье?

Выбраться из-под теплого одеяла на студеный пол в одном белье, размахивать чинно руками, поворачивать с видом священнодействия из стороны в сторону голову,

вдыхать и выдыхать, приседать, как последний мальчишка, на карачки!

От всей подобной ерунды можно или отвернуться с досадой к стенке, или расхохотаться... Или вскочить с постели, натянуть одежонку, окунуть ноги в мокассины и залиться на весь день в заимку к Петровану Ожерелину, у кого нет на полках ни Маркса, ни Лассаля, ни Бебеля: все ведь хорошо в меру!

Мартын многое, как должное, принимал в своем нареченном батьке — и сухие его усмешечки в разговорах лирических и бесстрастные его назидания вообще. Даже эта постельная гимнастика прощалась Михаилу Иванычу. Но простить ему последние недели ссылки было невозможно!

Просто удивительно было, как мог этот еще далеко не старый человек, каких-нибудь десяток лет назад восторгавшийся по поводу разбитого носа у слишком зарвавшегося шпика, столь сухо встретить первые вести о революции... И затем, когда эти вести подтвердились, с такою суетливою настойчивостью заняться здесь, в заброшенной к чорту на кулички деревушке, организацией совета крестьянских депутатов!..

От утра до ночи возиться под сумрачным морозным небом с полсотнею волосатых звероловов, когда там, в городах, весь пролетариат готовился к небывалым боям... Нет, все что угодно, только не это!..

В один из вечеров, когда не стало терпения, Мартын сказал Черноголовому:

— Ну, батька, я завтра ухожу...

На дворе стоял апрель, бледный, замороженный. Дороги только что тронулись, река еще лежала во льдах.

— Ухожу, слышишь? — повторил Мартын и полез под койку за своим сундучишком. — Завтра же!..

Михаил Иваныч слышал, но сразу не откликнулся. Он сидел за столом над своей замызганной, в холщевом

переплете тетрадью и старательно вписывал в нее дела и мысли за прожитый день (вот еще чудачество у сорокалетнего человека!).

— Так ты уходишь? — произнес, наконец, Михаил Иваныч, приподнял голову и насторожил недвижную белизну виска.

— Обязательно!

— Но как же так, Мартын? Река стоит, до ближайшей станции двести верст...

Мартын с ожесточением двинул сундучком по полу.

— А чорт с ними, с твоими станциями, пароходами, паровозами! Пешком пойду...

Михаил Иваныч обернулся. Глядел на Баймакова из-под очков, слегка набычившись. И губы его, что-то насвистывая, складывались трубочкой. Губы у него пунцовые, щеки бритые, в прочном заветренном румянце, без единой морщинки.

— Хорошо, иди!..

Он сказал это так, будто и не сомневался в возможности путешествия по проклятым дорогам в оттепель, когда на каждой версте подкарауливают путника болотца и зажоры.

Мартына взорвало.

— А ты, конечно, останешься?..

Он сел на койку и пинком отправил сундучок на старое место.

— А я, конечно, останусь!

Голос у Черноголового матовый, бесстрастный. И весь он бесстрастный: большая, белая голова его, как снежная насыпь на могиле, хоронила все порывы человеческого сердца.

— Пишу вот и думаю! — как ни в чем не бывало, говорил он. — Когда пишешь, лучше думается. Должно быть, политика убила во мне писателя...

Мартын хмуро молчал.

— Впрочем, без политики нет и писателя! Ты хочешь знать, о чем я разрисовал тут?..— Не получив ответа, все так же спокойно, как бы разговаривая с собою, продолжал Черноголовый.— Я думаю, что в эту революцию за нашей партией пойдут широчайшие массы... Надо только во-время углубить действие. Разворочать, раскорчевать жизнь... Как это по Марксу?..

У Мартына дрогнула синяя хмурь в глазах, и зрачки сузились. Как это у Маркса? Он припоминал. У него была незаурядная, сметливая память, та, что по одному куску мгновенно разгадывала весь ребус. И он вспомнил и произнес вслух негромко, чуть-чуть деревянным книжным тоном:

— „Чем глубже захватывается жизнь данным действием“...

— „Историческим!“ — подсказал Черноголовый.

— Да... „Тем более растут размеры массы, совершающей это действие“.

Михаил Иваныч ласково глядел на Мартына, но тот все еще хмурился.

— Эх, Мартын, посадить бы тебя годика на три за учебу!..

— Не хочу! Хватит с меня. Но... к чему мы потревожили Маркса?..

— Не мы! Он потревожил нас... Да сбудется слово писания...

— И да не запечатлей словес пророчества книги сия, аки время близ есть...— засмеялся Мартын: он всегда внезапно переставал сердиться.

— Откуда мудрость сия, Мартын?..

— Из дедовых книг, Иваныч... Старый начетчик Стратон готовил меня в помощники... Я начал, как тебе известно, с библии!..

— А кончил Марксом... Не плохой конец, Мартын! Но ты кстати напомнил о своей кержацкой крови! В твоем желании теперь же убежать отсюда — упрямство родичей!..

— Я не упрямей тебя, Иваныч!

— Но мое упрямство — в моем убеждении, а твое — в крови!..

— Отлично!

— Берегись, Мартын!

— Мне двадцать лет.

— Я вдвое старше тебя, но по сю пору нет-нет да и почувствую у себя за спиной учителя математики...

Мартын насторожился. Он мало знал о прошлом Черноголового.

— Учитель математики... он был твоим отцом?

— Да, Мартын! И погиб в крайней нищете, как истинный пролетарий!..

— Отец твой тоже политик?

— Нет, только математик! Но однажды он попытался доказать своим ученикам, что дважды два не всегда означает самодержавие! И очутился за бортом...

Мартын шагал по избе, от одного угла, где на скамье высилась куча книг, до другого, пахнувшего сладкою жухлостью овчины.

— Что же даст нам, по-твоему, эта революция?

— Боюсь сказать прямо... — Черноголовый бережно поднял свою тетрадь. — Но тут у меня...

Мартын приблизился, заглянул, пробежал несколько строк. Откинул голову.

— Фантазия, Иваныч!..

— Нет, Мартын! Оно так и будет, как здесь записано...

Михаил Иваныч, когда говорил этак — холодно, четко, — весь поджимался, точно лесной еж перед псом: попробуй коснуться его, и — с лютым фырканьем вонзит он свои иглы в неосторожный псиный нос.

Мартын отступил. Черноголовому нельзя было не верить. За Черноголовым — сотни исхоженных заводов, море тайно прослушанных слов, горы великого человечьего терпенья, и ему ли не знать, когда слова сложатся в гимны и зашуруют, задымят горы?..

— Но что же мы сидим тут, Иваныч? В городах пожарище!..

Мартын готов был возвратиться к началу.

— Ведь этак мы попадем к шапочному разбору!..

Михаил Иваныч защелкал языком.

— Хе! Да ты понимаешь ли, парень, чем эта революция пахнет? Тут десяти лет мало...

Слова эти долго помнил Баймаков. И уж не дивился ничему, что говорил потом Михаил Иваныч. Беловолосый и краснощекий человек этот носил при себе чудесный какой-то ключ, отмычку ко всем большим и малым, нежданным и будничным событиям.

Когда, наконец, оба они выбрались из тайги и начали работу в одном из северных городов, Михаил Иваныч предупредил Мартына:

— Ну, здесь-то мы с тобой не засидимся... Огонь займется с юга!..

И уже через полмесяца грязный, задрызганный вагон, набитый людьми, уносил их на юг, в прифронтовую полосу: то была первая, крупного масштаба, партийная мобилизация.

А в новом городе, окруженном степями, сто лет не слышавшими пушечного голоса, работа была такая жаркая, что даже и у Михаила Иваныча глаза припухли и зарозовели: дни лихорадочные, ночи бессонные.

Однако, Черноголовый остался верным себе и тут. Даже в тетрадь свою успевал записывать и каждый новый день огорошивал Мартына откровением.

— Надо обратить внимание на этот уезд: в нем вот-вот кутерьма начнется!..

Или:

— Из этого района гнать продовольствие экстрой! Через полторы — две недели казак там будет...

И все было так, как говорил Михаил Иваныч: „кутерьма“ в уезде вспыхивала, прифронтовый район,

действительно, занимался казаками, но запасы продовольствия во-время вывозились.

Михаил Иваныч был председателем губкома и губисполкома. У губисполкома много, очень много забот! Но особое внимание председатель отдавал крестьянству.

Он не жалел времени на заседания, связанные с вопросами не только продовольствия, но и обсеменения, не только конской мобилизации, но и заготовки земледельческого инвентаря.

Мартына удивляло и смущало, когда Михаил Иваныч, сидя на председательском месте, держал часами исполком в глубоком напряжении по поводу отдельных вопросов, связанных с весенней запашкой в уездах.

Дело, в общем, конечно, важное, но нельзя же было толковать так много о доставке трех десятков плугов в Голосновскую волость (именно в нее), отлично зная, что этот крайний южный клок губернии уже второй месяц под белыми.

Михаил Иваныч не пропускал ни одного случая, когда в исполком заезжали крестьяне. Он принимал их вне всякой очереди и оставался с ними подолгу. Мартын заметил, что там, в ссылке, Михаил Иваныч не впустую проводил время с таежными крестьянами: многое, полезное себе, вывез Черноголовый из тайги, и именно там добыл он навык разговаривать с деревенскими ходоками, как со старыми знакомыми.

С рабочими Михаил Иваныч держался строже и суше. Этих он знал с юных лет. Их слабости были открыты ему, как иному — слабости женщины, с которой отпразднован серебряный век. Он даже покрикивал на рабочих. Однако, Мартын не видел ни одного, кто ушел бы от предисполкома с обидой.

В городе частенько происходили недоразумения — то на паровой мельнице, то в железнодорожном депо, то в наборной газетной типографии. Причиною склок являлись

всюду пайки, продкарточки, зарплаты. И в исполкоме знали, что обо всем этом, прежде других, должен быть оповещен сам председатель. И к председателю шли и ехали, звонили днем и ночью по телефону, и сам он, невзирая на поздний час, покидая заседания, срывая на половине повестку дня, шел, ехал или звонил.

Но здесь, в мастерских, на мельнице и в типографии Михаил Иваныч не нравился Мартыну. Мартын представлял лицом к лицу с рабочими себя и видел, что он, Баймаков, был бы здесь чистосердечней, теплее и более глубок, чем предисполкома.

А когда все же, не взирая ни на что, Михаилу Иванычу удавалось разговорить рабочих и установить среди них единогласие, Мартын чувствовал себя так, будто его обманули, а люди казались новыми, непонятными и даже чужими.

Однажды, возвращаясь с мельницы, Мартын заметил Михаилу Иванычу:

— Будь я на месте рабочих, обязательно провалил бы тебя сегодня!..

Михаил Иваныч насторожил белоснежный висок.

— Очень хорошо, Мартын, что ты не на их месте!..

И заглянул искоса в глаза Мартына.

— А как, парень, ты себя чувствуешь... вообще?..

По душам они, из-за отсутствия свободного времени, говорили редко.

Поймав на себе ощупывающий взгляд Черноголового, Мартын, как всегда в таких случаях, сочно, с испариной на лбу, покраснел.

— Я чувствую себя ничего!

В первый раз Мартын не смолчал, но сказал неправду, вернее, сказал нечто такое, что не могло быть ни ложью, ни правдою.

А правда была такая: выполняя точно все задания, ему поручаемые, выказывая себя при этом жадным и ревнивым, Мартын Баймаков был как бы только наполовину

в здешнем мире. Он выступал агитатором на митингах, проводил среди тысяч людей нужные резолюции, заседал часами в президиуме губпрофсовета, писал ночью пламенные передовицы в газету, терпеливо составлял вместе с губпродкомиссаром Синицыным разверстки на зерно и сам, во главе рабочего отряда, проникал в отдаленные местечки губернии — собирал то самое зерно, которое питало революцию. Но что-то выходящее за пределы обыденного сознания все время неведомою музыкою звучало в сердце Мартына, а его двадцать один год, все двадцать один — были как туго натянутые струны.

Только Мартын (а может быть, еще и другие тысячи с ним, молодых и сильных) мог, сидя в санях, под ударами снежных буранов, верить, что эти сани, взятые по купону в сельсовете, влекут сейчас в глубину страны, в неуемные снежные просторы, под вой и гул буранов, самое нужное и самое важное для революции.

Мартын Баймаков знал крепко об огромном, несравнимом значении малых цифр, выводимых им, Мартыном, совместно с губпродкомиссаром Синицыным в бумагах. И он знал, что такое для революции сам губпродкомиссар Синицын! У Синицына все лицо исклевано оспой, его голос шуршит как бумага, но не этот ли человек держит в руках своих судьбу края, не тот ли это человек, чья ошибка может нанести поражение целой армии! И он, удивительный этот Синицын, часами просиживал с Мартыном, совещался с ним и послушно выводил цифру за цифрой... И об этом, рано или поздно, должен узнать если не весь мир, то, по крайней мере, вся РСФСР.

Мартын Баймаков отличный, признанный оратор, но кто бы ему поверил, если бы он взял да и открыл всего себя на одном из митингов. Оказывается, Мартын мог горячо говорить, подкреплять себя выдержками из Маркса и Ленина, строить в боевые колонны цифры и в то же время какою-то частицею своего сознания парить над

людьми, скучившимися в прокуренном зале, слушать свой рокочущий голос и глядеть сверху вниз на весь этот зал, на людей в нем и на себя — в центре всего. И не только глядеть, но и восхищаться до слез — конечно, скрытых — величием и неповторяемостью минуты.

А люди расходились, толкуя о своих маленьких нуждах, и забывали о Мартыне, и у него самого начинали ворочаться странные мысли, в роде того, как непостижимо трудно разгадать себя, а использовать свои силы до конца, чтобы всему сгореть, еще труднее!..

Михаила Иваныча обмануть трудно. Мартын убеждался в этом не раз. Михаил Иваныч сказал:

— Что такое — чувствовать себя „ничего“? Ты кисло отвечаешь, Мартын! В наши дни не надо чувствовать себя вовсе...

Конечно, Михаил Иваныч не мог обойтись без стереотипной фразы, но на этот раз тут был кое-какой смысл. Можно ли, в самом деле, в дни великие, жертвенные, следить за своей особой, за своим самочувствием, ловить свои настроения?.. И что он за человек такой, Мартын Баймаков! Не скрывается ли в нем какая-то болезнь, порок какой-то, не самый ли заурядный сидит в нем обыватель?..

Михаил Иваныч протянул руку Мартыну. Михаил Иваныч спешил. Ему еще надо попасть на заседание исполкома. В повестке дня вопрос о коммунхозе. Сидят в коммунхозе отличные ребята, но мозги у них набекрень. У города, — кто этого не знает? — ветхий водопровод, его трубы со дня на день могут опрокинуть в дома, в подвалы реку, а ребята из коммунхоза затеяли оборудование рабочего сквера — в центре города, с памятником Ильичу, с фонтанами на манер петергофских, с цветниками эдемскими...

— Пока, Мартын! Ты, батенька, много с себя не спрашивай... У тебя впереди тысяча верст!..

Михаил Иваныч как бы подслушивал мысли Мартына. Но почему же дано Черноголовому слушать тайное у своего ближнего, а уменья утешить, упрочить, выпрямить — не дано?..

III

Ох, эти бессонные ночи в залах исполкома — в мрачных старинных залах губернского присутствия! Толпы рабочих, отряды особого назначения, бряцающие оружием, караулы со сменами по-военному, непрерывные заседания совета с оголтелым гамом в коридорах... Жизнь неслась вскачь, напрямки, без дорог. Только кручи да пропасти вставали по сторонам, и какая-то сила всем этим, грохочущим и буйным донельзя, управляла. И притом — более искусно, чем машинист многосильным своим паровозом. Не было ни рельс, ни будок стрелочника, ни семафоров. Были залы с темными колоннами времен Наполеоновского нашествия, а в залах просаленные пиджаки, шинели, рвань поверх зеленых обмоток и от зари до зари гул набухших страстью голосов. И тут же, за колоннами, под метелками окуржавевших пальм, в чадных облаках махорки, крутые теснились спины, шелестели, ярились приказы, и белоснежная голова Михаила Иваныча несменно висела над всем, как студеный лунный лик в знойном мареве.

Тот, кто не видел Черноголового в эти часы за колоннами зала, у стола, похожего на буфет, многого вообще не видел!

Сидел Михаил Иваныч на губернаторском кресле, поджав под себя левую ногу, отчего весь несколько возвышался над дубовым грузным столом, и его голова, остриженная под бобрик, разливая вокруг лунный свет, казалась больше и величавей всех других голов. Он смотрел в бумаги, слушал докладчиков, притыкал телефонную трубку к уху и был неуязвимо-спокоен, точно рамы за

его спиной не дрожали от проезжавшей по мостовой артиллерии, а все эти ребята, пахнущие олеонафтом, конским потом и порохом, не грудились над ним грозовою тучею. Деловито и тщательно, с застуженным напряжением, подписывал Михаил Иваныч бумаги, откладывал, не глядя, перо, слушал сразу двух и трех докладчиков, стремившихся перекричать эхо у лепного потолка, и каждому говорил:

— Можно! Нажимай...

Заглядывал в какую-то затрепанную, как портянка, бумажку и спокойно, почти весело произносил свое „можно". И всегда казалось, что предлагали ему как раз то, что значилось в замызганной его бумажонке. И тотчас же докладчики подымались от стола и бежали, куда следовало, но уже никто не в состоянии был переубедить или задержать их.

А голова цвета снега, с широким лбом, орошеным капельками пота, склонялась к новым посетителям, тайно дивившимся контрасту в лице предисполкома: лунная седина, и свежие юношеские щеки без единой морщиики, и поджатые в узел, крепкие, как клещи, губы, и зелеиый огонек за массивным стеклом очков.

— Можно! Нажимай.

Эта фраза была знакома каждому партийцу, она стала нарицательной, ее можно было слышать всюду, и была она излюбленной среди рабочих — в моменты новых затей, новых напряжений силы.

Когда отдыхал Михаил Иваныч, и отдыхал ли он вообще?

Он занимал крошечный номер в бывшей гостинице „Европа" (теперь советское общежитие). В номере он только спал и ие всегда ел (ел, где приходилось). Мартын жил в том же доме, этажом выше. Близко, а встреч почти не было: один возвращался поздно, другой еще позже.

Как-то, встревоженный слухами с фронта, заглянул Мартын к Черноголовому около двух пополуночи. Но,

вместо хозяина, застал в комнате Зину Кудрявцеву, секретаря губкома. Кудрявцева чинно сидела у стола в накинутом на плечи стареньком пальтишке, и, кажется, готова была сидеть так до утра. Мартын знал Кудрявцеву мало, но, на заседаниях, не раз встречал на себе ее серые, в узком разрезе, глаза и ловил в них затаенный огонек стыдливого любопытства.

Поднявшись навстречу, Зина торопливо заговорила:

— Вот, притащилась за подписью... Протокол экстренного заседания... Но, кажется, не дождусь!..

Мартын равнодушно, слишком равнодушно, взглянул на нее.

— Михаила Иваныча добыть трудно!

И, по каким-то неясным для самого себя мотивам, добавил с раздражением:

— Михаил Иваныч вообще не отвечает за себя! Его может задержать любой...

Это было не совсем справедливо по отношению к Михаилу Иванычу, но разве Кудрявцева не могла сообразить сама, что ради протокола можно было не ловить в ночь-полночь предисполкома.

Она с недоумением подняла глаза. Смуглая кожа на овальных, совсем овальных, ее щеках загорелась. Кажется, она хотела что-то сказать в защиту Михаила Иваныча, но Мартын оборвал ее. Можно и без того не сомневаться, что эта молокососка глядит в рот Черноголовому!

— Михаил Иваныч достаточно беспорядочен... — подтвердил он. — Я знаю его не один год... — И перевел разговор на другое. — Что нового на фронте? Мне не удалось видеть последней сводки.

Тонкими и красноватыми, как у подростка, пальцами Зина плотнее натянула на плечи пальтишко. Она не садилась.

— На фронте благополучно, товарищ...

— Благополучно? — Он едко усмехнулся. — Я подозреваю, что ты говоришь со слов предгубкома. У Черноголового всегда и все благополучно!..

Почуяв неладное в его голосе, Кудрявцева насторожилась, и вдруг он встретил ее глаза, чуть-чуть насмешливые и, как показалось ему, ласковые той особой, снисходительной лаской, с какою женщины пытаются успокоить своих близких, ими же взволнованных. Но это выражение блеснуло в ее глазах, как просвет первого, еще не изведанного чувства, и в следующий момент смущение, растерянность, почти испуг заметались в ее лице. Она подняла с пола портфель (стоял у ножки кресла) и принялась рыться в нем, низко склонившись. Теперь был виден лишь ее круглый лоб в радужно светящейся паутине мягких, очень мягких, волос.

— Хочешь, Баймаков, сводку?..

Она говорила с ним на „ты“, как со всеми товарищами. Он взял из ее рук аккуратно сложенный лист, развернул и внимательно принялся читать, а когда кончил и снова взглянул на нее, встретил спокойные глаза и умную, до неприятности умную, усмешечку в тонких углах рта.

Неожиданно Мартын вспомнил Кудрявцеву в другой обстановке. В саду исполкома обучались метать бомбы заводские ребята. Она была среди них. Стояла, ухарски выставив левую ногу и широко, по-женски, откинув в сторону руку с болванкою. Раз, два, три! Бросила, не дошвырнула и, угнувшись, зажав ладони в коленах, долго, дико и визгливо, до красноты на шее, хохотала. А потом дурачилась, толкала чужую, вооруженную болванкой, руку, кидалась ребятам на спину и, подобрав юбку, прыгала через скамью, обнаруживая силу своих мускулов. Она была чересчур вольна, здорова и сильна, и это действовало на Мартына отталкивающе.

И теперь, как бы желая отомстить ей за тогдашнее оставленное ею неприятное впечатление, Мартын сказал:

— Конечно, ты так и не научилась метать бомбы?..

В этом вопросе не было никакой связи с разговором, но Зина не удивилась.

— Нет, я кое-чему научилась!

Он помолчал, отвернулся.

— А знаешь, я видел, как ты впервые бросала болванки... там, в саду, весною!..

— Да?

Он хотел смутить ее. Но она как бы вовсе забыла о своих неудачах. Она оставалась спокойною. И, не сдерживая себя, он проговорил:

— Не ваше это дело — бомбы метать!..

— Что такое?

Давешняя насмешливая ласка проступила в ее глазах.

— Баймаков! Неужели и ты за женщину у печки?

— Не у печки, а у люльки!..

Это вырвалось у него камнем. Он и не хотел бы так сказать, но уже не владел собою: она положительно раздражала его.

— Вот так коммунист! — проговорила она и презрительно свистнула, но уши у нее вспыхнули.

Он не хотел оставаться в долгу.

— Коммунистическое общество не предполагает покончить с продолжением человеческого рода...

Сказал и рассердился на себя: длинно, коряво. Поправился:

— Человечество утверждает себя в этом мире, оно не может отказаться от женщины-матери...

Она соображала недолго.

— Чем же, в таком случае, твое человечество выше любого животного? — Засмеялась. — А я до сих пор думала, что женщина в праве не только пополнять общество, но и устраивать его!..

Он не смог скрыть удовольствия по поводу быстроты и легкости, с какими она отвела удар.

— Товарищ Зина, сколько тебе лет?..

— Разве это имеет отношение к нашей дискуссии?.. Не скажу!..

— Нет, право!

— Но ты подымешь кампанию против секретаря губкома: во-первых, зачем она женщина, и во-вторых, зачем слишком молода!..

— Двадцать? — сделал он предположение.

— Девятнадцать с гаком! Но это пустяки! Через какой-нибудь десяток лет...

— Тебе стукнет все тридцать?

Засмеялись оба.

— В партии я с пятнадцати лет, Баймаков... — заметила она. — Еще в школе работала... Руководил нами один из старшеклассников технички, большевик... Теперь он в Москве! Об Алексее Рашине слышал?..

Нет, он не слышал о Рашине: мало ли людей иа свете, да и чем, собственно, популярен Алексей Рашин?..

— Как? Но ведь он там, у Ильича!..

Мартын опять готов был прихмуриться. Что ж из того, что у Ильича? Работают люди не только у Ильича, но и здесь, под самым фронтом, и эти — ему интереснее.

Зина замахала рукою, а была она у нее совсем ребячья, с царапинами на пальцах.

— Хорошо, бросим! Но мне пора!.. Михаила Иваныча и впрямь не дождешься...

Поднялась, принялась в сторонке одеваться. Торопилась, как бы опасаясь, что кто-то мог вмешаться со своей помощью. Он стоял, ждал и чувствовал себя неловко оттого, что она, будучи роста не маленького, все же вынуждена была глядеть на него снизу вверх.

Застегнула проворно все пуговки, все до единой, надвинула кепку на стриженную (пушистую, как ковыль) голову, сунула под мышку портфель, а калоши забыла. Он подхватил их, выбежал вслед.

— Эй, товарищ! — покричал, перегнувшись через перила. — На дворе дождь... Держи!..

— Спасибо!

И ловко поймала одну из калош на лету.

— Фокусница!..

Он шел к себе наверх в легком возбуждении, как после морозного вечера, проведенного на лыжах. Но в номере, с неубранною постелью и оборванными обоями, почувствовал скуку, а из-за скуки выглянуло лицо неведомого Алексея Рашина: оно было бритое, выхоленное, розовое и глуповатое, такое, каким не могло быть у Алексея Рашина, но иного лица Мартын не хотел и не мог представить себе у человека, о котором с несомненным восхищением говорила Зина Кудрявцева.

Мир стар. Люди приходят в него и уходят, но кровь их — как вино в погребах: время бежит, события меняются, а чувства, а навыки только густеют и крепнут.

В ожидании командировки с продотрядом в уезд, Мартын не принимался ни за что особо серьезное. Он выступал вечерами на летучих собраниях в мастерских (все то же: враг близок, надо быть начеку, необходимы новые жертвы), а днем готовил в губпродкоме материалы.

Раза два ему удалось выбраться за город, в глубь, в тишину степей. Тут он в травах, под августовским спелым солнцем, лежал, глядел в голубое зернистое небо и слушал, как поет в теле древняя кержацкая кровь. И тогда в голубой над ним яме проступало кудлатое лицо рыбака: обомшевшая глыба с жегулевских скал. Крадучись выползала мысль о том смутном и волнующем, что слышал когда-то от соседей про мать, про ее любовь, про тайну чужой и непонятной, выращенной в барской усадьбе, женщины. Крадучись выползала мысль и, хмелея в своей дерзости, нашептывала жуткую и сладостную правду о силе объятий, о мускулах, властных и порабощающих,

о древней крови, смешанной в нем, Мартыне, с чужою, ярою и дерзкою, пропитанной отчаянием.

Мартын почитал себя человеком образованным, его голова хранила достаточный клад всяческих, больших и малых, выловленных из книг, истин. Но за этим миром, построенным в пору короткой, но напряженной, сознательной жизни, был, несомненно, другой мир, уходящий корнями в глубокое прошлое. И в этом другом мире Мартын видел себя иным, безликим, но неотвратным, как степь и небо над нею. И в этом другом мире октавой пела свою песню древняя кержацкая кровь, и непрестанный, пенящийся, безумный звон вторил ей: так гудят по степи дикие ветры, и плещут, звенят в тугом их гуле темные дурманы трав.

Революция продолжала свой путь. Коваными обоймами колес своих попирала она прошлое, рушила, равняла с придорожною пылью вчерашние правды. И новые, встречу ей, неслыханные слова срывались с уст много молчавших: неслыханные слова о человеке, о жизни, о вселенной. И каждое слово, как семя цветения, сорванное бурей, летело и жадно никло к земле, и там, где земля принимала, зачиналась борьба на жизнь и смерть...

Борьба за нового человека, за гармонию в нем знания и чувства!

Борьба на годы...

А пока Мартыну Баймакову не нравилось, что Зина Кудрявцева все дни и часы свои проводит в губкоме, и невозможно было рассчитывать не только на прогулку с нею в степи, но и на самый короткий разговор с глазу на глаз.

Между тем Мартыну так хотелось и этой прогулки, и этой беседы с глазу на глаз!

Пусть бы послушала, о чем поет в его жилах кровь древняя, рыбачья... Пусть бы отведала вольной степной хмели и помогла ему разгадать сказку о женщине, ставшей его матерью.

Дикие, несуразные желания, от которых в одиночку краснеешь! К счастью, никто о них не расскажет людям. Желания же нерассказанные — ветер в степи: велика степь, мгновенна и бесследна ветровая удаль.

И все же Мартыну удалось до отъезда повидать Зину Кудрявцеву.

Потом он выехал. Долог и труден был путь, полон опасности. По степям рыскали бандиты, в хуторах скрывались вражеские шпики, деревни походили на потревоженные волчьи логовища.

Не один раз смерть проходила совсем близко. Мартын слышал сторожкую ее поступь, ощущал в зное холодное ее дыхание, но всякий раз кто-то властный, в сермяге и онучах, спокойно расчесывая бороду, становился между ним и ею.

Смерть подстерегала в оврагах, в березняке, за околицами селений, на вызорьи полей. И она упорно следила за Мартыном в самых селениях, стоя за костистыми мужичьими спинами. Ненавидящий ее взор он встречал в глазах светлых и ясных, как день, и даже из бабьих уст, алых, как вишневый сок, слышал Мартын замороженный голос смерти.

Но появлялся в толпе безымянный друг, запускал кряжистые свои пальцы в сивую бороду, говорил со вздохом:

„Так худо и сяк худо!“

И отступала смерть, и человечьей простотой наливались глаза, складывались уста в улыбку.

Что может быть надежнее улыбки: весь день, суровый, утыканный заботами, собиралась она по капле и вот — вспыхнула, осветила, заиграла надеждою!

„Так худо и сяк худо, надо потерпеть!“

Еще в городе, а затем в пути не одну историю переслушал Мартын о жестоких расправах с продотрядчиками.

Было все: и ночные нападения (с топорами, с вилами), и предательские выстрелы за околицей (волчьими

зарядами), и погребение заживо (голых зарывали в ямы по шею).

Про всякую всячину — одно страшнее другого — рассказывали Мартыну. Но никто не обмолвился о вековой деревенской мудрости, добытой под розгами, в тюрьмах, в гиблых сибирских ссылках. Никто не вспомнил об улыбке, светлой и прочной, напоминающей библейскую радугу.

Был Мартын силен телом, его сердце безупречно работало, и еще ни однажды, пока себя помнит, не думал он о смерти. И тут, окруженный враждою, он также не думал о смерти по-серьезному. Все его большое, упрямо и буйно цветущее тело не могло даже отдаленно представить себя обреченным на прах. И потому не верил Мартын ни в топоры, ни в вилы, ни в волчьи заряды... Он знал, что Мартын Баймаков должен жить еще много, так много, что на его жизнь не хватит, пожалуй, ни этой революции, ни этих битв на фронтах, ни, тем более, всех этих мужичьих топоров и вил.

Товарищи по отряду — тринадцать их: семеро рабочих, пятеро фронтовиков и матрос-балтиец, — все тринадцать ворчали на Мартына за непоседливость, за прямоту с народом, за равнодушие к опасностям.

— Шею с тобой сломаешь! — говорили товарищи.

А он только краснел, отворачивался и краснел — с досады ли, с радости?.. Ведь так говорили о нем не какие-нибудь! Говорили ребята прожженные, обстрелянные, которым и пуля нипочем! А за их спинами виделись Мартыну те, далекие: и Черноголовый, и Синицын, губпродкомиссар, и Зина из губкома.

Нет, он не тщеславен! Подвигаться ночью в степи не ведая, кто тебя встретит — друг или враг, и думать втихомолку, что сказал бы теперь о нем, Мартыне, Черноголовый... Или — стоять лицом к лицу с насупленной, как грозовая туча, толпой и... ожидать, что вот-вот из-за

мшистых голов выглянут так хорошо знакомые, серые, серебристые, как вербочное цветение, глаза... Право, упрекать во всем этом Мартына не следовало!..

Хотелось написать в город. Рассказать о себе Михаилу Иванычу, Синицыну, Зине. Но не решался: еще упрекнут в сентиментальности!

Надо сознаться — он скучал по своим друзьям. Скучал по городу. По всей той упрямой, осмысленной, рассчитанной из часа в час толкотне, которая там была и которой не было тут, в глуши, в глухомани.

Только однажды, на третьей неделе пути, пробираясь ночью в степях, услышал Мартын голос города. Где-то поблизости пролегал железный путь, и был слышен далекий рев паровоза.

После двух недель кудлатых деревенских шумов, непролазной какой-то бестолочи, отчаянной с нею борьбы и сознания, минутами, своей беспомощности — вдруг услышать могучий и мелодичный рев железа, — что может быть чудеснее?..

Четырнадцать верховых, как по команде, натянули повода. Четырнадцать голов, насторожившись, влипли в густой мрак.

Весь в пламени, в шуме, в грохоте, величаво и неустрашимо подминая под себя оглохшие поля, мчался поезд. Подвозил ли он эшелон бойцов к фронту, спешил ли с ометами свежих, прямо из-под молота, еще горячих снарядов, или, выполняя чью-то неукротимую волю, нес на своих стальных крыльях новые богатырские, еще не разрешенные здесь, в степи, загадки?.. Что бы ни таил в себе этот бешеный караван из железа и стали, все они, все четырнадцать, были его соучастниками, его слугами и повелителями!

Чувство благодарности, гордости, восторга охватило Мартына. И, как бы откликаясь ему, матрос-балтиец с диким хохотком, с упоением волка, учуявшего по ветру самку, выглотнул:

— Эх, разъять твою ять!..

А вскоре случилась новая радость: опять дохнул на них город, протянул им руку, заговорил голосом самого Михаила Иваныча.

На границе участка, третий месяц находившегося под белыми, в логах, под буераками, в деревушке из полутораста едоков, почти с физическою ощутимостью пережил Мартын близость Черноголового: был Черноголовый за сто верст и был здесь.

Ватага мужиков, расположившихся на общественной завалинке, щупала по очереди непослушными пальцами полулист печатной бумаги. Бумага была читана и перечитана, и теперь люди брали ее наощупь, как бы удостоверяясь в реальности ее.

А заключала бумага извещение губисполкома о распределении земледельческого инвентаря.

И тридцать плужков значилось в оповещении, тридцать плужков для Голосновской волости!..

А мужики были голосновскими.

Завтра переберутся они за вражью черту и будут рассказывать там сватьям и кумовьям своим о плужках.

И тридцать плужков, желанных, но невозможных здесь, под пятою врага, поведают о себе, о Михаиле Иваныче, о городах, о Кремле и Ленине больше, чем триста лучших агитаторов!

И об этих плужках Голосновская волость сложит веселую и скорбную частушку, и, ухмыляясь в бороды, старики будут вздыхать много и долго по славным молодым бойцам, быть может, уже сложившим за волю буйные свои головы.

Взял Мартын бумагу у крайнего на завалинке, пощупал, как тот, заглянул: да, Черноголовый!

И так же, как тогда ночью, в степи, слушая далекий рев паровоза, матрос-балтиец, выглядывавший из-за спины Мартына, с диким горловым хохотком выкрикнул:

— Эх, разъять твою ять... В самый срок бумага!..

В том-то все великолепие и заключалось, что, подписанное Черноголовым три месяца назад, оповещение это попало сюда как раз к прибытию отряда. Будто еще три месяца назад Черноголовый знал, что Мартын со своими ребятами явится в Голосновскую волость, и позаботился расчистить путь.

IV

Случилось нелепое, бессмысленное, невероятное: город готовился к эвакуации. За городом, в десяти верстах, гудела артиллерия. По улицам тарахтели двуколки с ранеными. Проходили сумрачные, в повязках, в бинтах, изнуренные, как после тяжкой болезни, армейцы.

Еще когда Мартын приближался к городу, стали нарастать тревожные слухи: прорыв восточного сектора, какие-то конные полки белых, обрушившиеся на тыл, какой-то во главе их генерал, идущий на Москву.

Сдав свой отряд, куда следовало, Баймаков бросился в исполком. В исполкоме, в залах, было пусто, глухо. За белыми колоннами, у пальмовых метелок, высился знакомый, похожий на гардероб, стол, но за столом никого не было.

Из полуоткрытой в коридор двери врывался шум. Мартын заглянул: люди вокруг темного стола, все в военной форме, чужие. Армеец с винтовкою преградил путь у порога.

— Совещание штаба... Не велено!..

Мартын повернул в глубь коридора, к крайней двери: угловая комната, бывшая губернаторская приемная, с окнами на две стороны, — любимое место Черноголового. Не тут ли он сам?..

— Можно?

Вошел.

Михаил Иваныч стоял у стены, подле телефона, и кричал в трубку. У стола сидел Губарев, предгубпрофсовета, скуластый, лохматый. Тяжелыми невидящими глазами встретил он Мартына, ничего не сказал, кивнул головою.

И Жданов из коммунхоза, с лицом цвета лимонной корки, топтался подле Черноголового: ожидал, волновался, сгорал темным огнем.

— Нет, этот номер не пройдет! — сказал, кидая трубку Михаил Иваныч. — Попробуйте сами, лично!..

Губарев поднялся, стул под ним крякнул, Жданов боком, козырьком к виску, напяливал на голову серую свою фуражку.

— Идем!

— Надо позвонить до автомобиля...

— К чорту! Провозимся...

И вышли оба, не глядя на Мартына. Один — долговязый и легкий, с темными, горящими извнутри глазами; другой — грузный, скуластый, в бурых лохмах, свисавших на лоб, на виски, на уши.

С порога Губарев крикнул:

— В ответе ты, Иваныч!

Черноголовый махнул рукою. Дверь захлопнулась.

— Проходи, Мартын...

Михаил Иваныч говорил обычным своим матовым голосом, но влажные глаза его под толстым стеклом не светились, как всегда, буйной зеленью, а вяло, недвижно и покорно, как травы, скошенные по осени, мутнели в глубоких впадинах.

— Давно прибыл?

— Три четверти часа назад...

— Благополучно?

— У меня — да!..

Встретив настороженный взгляд, Михаил Иваныч неопределенно свистнул.

— А у нас тут, как видишь, сверх-неблагополучно!..

Он подошел к мягкому дивану и, не владея собой, опустился на него. Мартын видел, как почти в ту же минуту все тело Черноголового распустилось в вязком томлении, и под стеклом очков померк, замер последний отблеск жизни.

— Иваныч, что же у вас случилось?..

За стеклом пошевелилось, глянуло и опустело снова.

— Случилась гадость, Мартын... Но ты прости меня, я третьи сутки без сна... А, что?..

Мартын молчал.

Голова Михаила Иваныча, как подтаявший снежный ком, склонилась на грудь, а грудь, прикрытая линючим ситцем, знакомым Мартыну еще по ссылке, вдруг поднялась, глубоко всхлипнула и затаилась. Медовая ребячья истома разлилась на розовых щеках, губы отпали и взмокли, и в правом углу их вспыхнул крошечный пузырик.

Мартын на цыпочках прошел к окну (ему стало душно), распахнул обе створки и опять обернулся к Черноголовому. И вдруг, глядя на недвижную фигуру Михаила Иваныча, почувствовал страх. Это колючее, тошнотное ощущение, прилившееся к самому сердцу, продолжалось не более двух — трех секунд. Но и их было достаточно. Мартын опустился в кресло. Вязкий озноб пробежал у него по спине. Потом стало жарко; воздуха не хватало; ноги казались чужими, тяжелыми. „Кажется, у меня лихорадка,— подумал он.— Очень кстати!“ В раскрытое окно глухо, но мощно, вздувая воздух, вливался пушечный гул. Точно кто-то огромный, подмятый тяжестью, густо вздыхал и отдувался.

— Ты здесь?..

Михаил Иваныч глядел со своего дивана на Мартына, прежний, невозмутимый, и в глазах его уже не было жухлых, осенних, изжеванных трав.

Он встал, потянулся, сдержал позевоту. На пунцовых его губах заиграла сторожкая улыбка.

— Мартын! Ты не болен?..

— Кажется, нет... Но что же у вас произошло, Иваныч?..

Черноголовый достал папиросу.

— Курить хочешь? нет? Я и забыл, что ты не куришь... Мы просчитались, Мартын! — Он сказал это жалобно и стыдливо, тоном, какого еще ни разу Мартын не слышал. — Глупо, досадно... Все величины были в наших руках, но какого-то икса мы не учли... Понимаешь, не досмотрели!..

— А икс оказался генералом с кавалерийским корпусом?..

— Нет, не то! Икс был у нас, под носом — в нашем нищем интендантстве, в наших пустых боевых складах... Мартын! Наши отряды разуты, раздеты, не имеют снарядов... У нас даже нет столько динамита, чтобы взорвать железнодорожный мост. Мы мост обстреливаем из артиллерии... Слышишь?..

— Так это... наша артиллерия?..

— Да! Банды перехватили под Орешиным броневик и рвутся к вокзалам.

Мартын встал.

— С меня хватит, Иваныч... Что за люди в штабе?.. Я хочу предложить себя!..

— Поздно, Мартын! Штабу не до отдельных стрелков... — Он помолчал. — Вот Губарев только что просил ударить тревогу по всем заводам. Гудками! Но я отговорил...

— Ты?

— Чему удивляешься? Какие силы можно было взять, взяты и находятся там, за городом, в песках! Концерт гудков, кроме новых и напрасных жертв, ничего нам не дал бы...

Мартын с недоверием взглянул на Михаила Иваныча.

— Как можно рассуждать так? Это же...

Он запнулся.

— А что сделал бы ты, Мартын?.. Впрочем, можешь не говорить... Знаю! Но, верь мне, ты оказался бы в проигрыше...

Мартын встретил ясные, с зеленоватым огоньком, глаза.

— Да, ты проиграл бы... У тебя были бы ненужные жертвы... Кладу голову на отсечение: эта банда не в состоянии просидеть у нас более суток!

— Ого! Но за сутки она натворит столько бед...

— Этого мы ей не позволим!..

Мартын приподнял брови, выражая вновь удивление, но в эту минуту затрещал телефон.

Михаил Иваныч торопливо взял трубку.

— Слушаю! Ты, Кудрявцева? Так, так... Очень хорошо, товарищ... Так, так... Отлично... С кем? М-м... Сейчас решим... Ожидай на вокзале... Держи своих баб начеку... Ладно... Пока!..

Услышав имя Зины, Мартын поднял глаза на аппарат. Он как бы ожидал увидеть где-то тут, близко, девушку. Но ни особого любопытства, ни, тем более, радости он не почувствовал, и удивился этому сам. Там, в степи, встреча с Кудрявцевой казалась ему целым событием, но сейчас имя ее, только что произнесенное, прозвучало в сознании как что-то полузабытое, далекое.

Михаил Иваныч заторопился.

— Слушай, Мартын. На вокзале стоит эшелон с эвакуируемыми. Женщины, дети, старики! С этим же составом отправляем наличие наших касс, все наши ценности... При ценностях — Туляков! Полная его ответственность... Но нужен комендант поезда. Охраны, кроме пары штыков, дать не можем, а путь... чреват всякими неожиданностями! Мы даже не знаем, удастся ли эшелону проскочить через станцию Боровики... Словом, я прошу тебя, Мартын, стать во главе поезда!..

Из глаз Мартына глянула пасмурь. Губы его перекосило. Краска залила ему щеки и лоб.

— Что ж! — произнес он сдержанно. — Я готов... Но мне кажется, что Баймаков заслужил более ответственной роли, чем эта! Комендант женского поезда...

Михаил Иваныч перебил торопливо:

— Оставь, пожалуйста! В минуты опасности всякая роль хороша... Кроме того, ты не дооцениваешь ответственности! Тут требуется чрезвычайная сметка, находчивость, мужественность... Может быть, поезд придется остановить в степи... Может быть, обстоятельства вынудят свернуть к Дону... Итак?..

— Ты знаешь, я не откажусь!

— И отлично!

— А что будете делать вы?..

— Вероятно, также выедем, но сутками позже. Кое-кто, впрочем, останется... Со смирительными рубашками для гостей!..

Михаил Иваныч дымчато улыбался. Мартын умоляюще поднял на него глаза.

— Иваныч! Я бы тоже остался...

— Верю, но ты не останешься!

Мартын хорошо знал Черноголового. Спорить с ним было бесполезно.

— Пока, Иваныч!

— Поспешай! Подробные инструкции у Кудрявцевой на вокзале.

— Слушаю.

Уже взявшись за ручку двери, Мартын оглянулся и увидел чье-то обрюзгшее, вялогубое, с полузакрытыми глазами лицо. Это не было лицом Черноголового. Это было бесконечно измученное лицо старика.

Он открыл дверь. Из коридора навстречу шел человек в военном.

— Предисполкома здесь?

— Здесь.

Мартын отступил. Около самого его лица проплыла изжеванная папироса, бездымная, давно остывшая. И глянули (небрежно, вкось) огромные бархатные глаза. Мартын поморщился. Он узнал Клепикова из совнархоза. Он не любил этого товарища за надменность, за постоянное какое-то любование собою. И почему человек этот в военной форме?..

В коридоре, как и прежде, было пусто. Под белым потолком что-то невидимое с грохотом падало, но у двери в комнату штаба недвижно и спокойно стоял часовой с винтовкой.

„Зачем они держат этот штык при себе, когда он так нужен за городом!"

Эта мысль метнулась в сознании Мартына как соломинка, вырванная из омета ветром: поднялась, описала дугу и пала. Мартын поймал себя: похоже, что он не доверял штабу, хотя и не имел к тому оснований. Правда, этот Клепиков... Но ведь Клепиков мог постигнуть военное искусство в старой армии. И притом Михаил Иваныч всегда считался с ним, как с очень дельным человеком. Нет, он, Мартын, явно несправедлив к товарищам, и в этом ничего нет путного... Впрочем, не было справедливости и у них к Мартыну! Разве, в самом деле, Мартын — последняя спица в колеснице, чтобы встречать его сторожевым штыком у порога: „не велено пущать". А сам Черноголовый! Не считал ли он Мартына все еще за подростка?.. Ой, нет хуже работы с людьми, знающими тебя, что называется, с пеленок!

На улице светило солнце. Горячие его лучи коснулись лица и рук подобно дыханию жаркой печи, и Мартын опять ощутил озноб и опять подумал с тревогой: неужели подхватил лихорадку? Но надо было спешить. Поровнявшись с пыльным, пожелтевшим от зноя сквером, он остановился.

„Этак, пожалуй, и через час не попасть к месту!“

Вокруг было солнечно, пустынно, немо. Только глубокие вздохи пушки там, за городом, тугими волнами прокатывались среди домов, и всякий раз окна в домах на мгновение и беззвучно запахивали свой вытаращенный зрак.

Солнце светило покойно и ровно, и в этом спокойствии была невозмутимая радость земли, теперь ненужная и оттого жестокая.

Ломовой извозчик вывернулся из-за угла. Его жилистые руки, вцепившиеся в вожжи, казались слепыми: вожжи бестолково трепались то в одну, то в другую сторону, и взмыленный жеребец, оскалив зубы, топтался на месте.

— К вокзалу... Нажимай! — крикнул Мартын, вскакивая на грядушку.

Неожиданный крик этот возвратил жилистым рукам разум. Извозчик еще соображал про себя, как быть, но его руки сами собою колыхнули вожжи, хлесткий шлепок по крупу заставил жеребца рвануться вперед, телега с грохотом двинулась.

На кровле большого каменного дома (бывший окружный суд) Мартын увидел людей. Похожие снизу на карликов, они осторожно пробирались от трубы к трубе и что-то там устраивали. У крайнего карниза, из темной дыры слухового окна, высовывался пулемет.

Извозчик также заметил людей на кровле. Он поглядел, сплюнул и вдруг натянул вожжи.

— Слезай... ты! — закричал он, обдав Мартына мутным взглядом ненависти и страха.

— Ну, ну!.. — огрызнулся Мартын.

— Слезай, тебе говорят! Ишь, фря какая, рас...

Он не успел закончить. Мартын круто повернулся к нему и взмахнул руками.

— Прохладись!..

Сброшенный на мостовую извозчик остолбенело глядел вслед удаляющейся телеге. Затем он молча сорвался

с места. Бежал набычившись, терпеливо и емко, на бегу подвязывал у живота полы армяка. Это был высокий, широкоплечий детина с непомерно маленькой головою. В бегу он напоминал верблюда.

На вокзале было безлюдно. Армеец, вооруженный винтовкою (держал ее на ремне за спиной), с лениво-мрачным видом вышагивал по перрону. Пожилой, тучный кондуктор, рыжеусый, с тугим багровым загривком, выкатился из двери комендантской и, путаясь в полах шинели, направился в сторону путей. Мартын крикнул вслед, но кондуктор даже не обернулся, и это задело Мартына. Перед его глазами снова всплыли—человек со штыком там, у порога штаба, чужие и холодные лица самих штабников и невидящие глаза предгубпрофсовета. Было похоже на то, что решительно никому не было дела до Мартына!

На путях рядами громоздились товарные вагоны. Где-то, среди серого потока вагонных крыш, с гулом подвигался паровоз. Другой, высунув из-за брезентового омета черную, как бы осмоленную, трубу, нетерпеливо отфыркивал в мутное, знойное небо клубы дыма.

Где же эшелон с эвакуируемыми, и почему нет Кудрявцевой?

Армеец с винтовкой поровнялся с Мартыном. Мартын раскрыл было рот, но сдержался. А вдруг и от этого человека он услышит бесцеремонный, равнодушный возглас, в роде: „Не знаю, проходи!“

Чувствуя странную сиротливость, Мартын направился в комендантскую. В сумрачной комнате с огромным, но слепым от пыли окном было шумно и дымно. С первого же взгляда на людей Мартын понял, что собрались мастеровые: темные, засаленные распашонки, сажа и масло на потных лицах, широкие вольные жесты и какой-то особенный, крепкий, как лязг буферных цепей, говор. И еще понял, вернее, почувствовал Мартын, что тут он может занять любое за столом место, говорить, кричать

и вообще делать все, что подскажет ему сердце. Он снял кепку, встряхнул пшеничными своими кудлами и спросил у ближе к нему стоявшего рабочего — не видал ли тот Кудрявцеву из губкома, губкомовского секретаря. Рабочий, настороженно слушавший кого-то за столом, ответил не сразу. Он зычно прокричал свое, жаркое, торопливое, и потом уже повернулся к Мартыну:

— Какую тебе Кудрявцеву? Видишь, заседаем!..

И тотчас же, напружив жилы на красной матерой шее, двинулся к столу.

— Молодец, Сухоруков... Правильно!..

И только теперь Мартын увидел за столом новенькую кожаную фуражку Сухорукова.

Сухоруков, Илья Ильич, был комендантом станции. Всего лишь полгода назад он покинул станок, но и за этот срок имя его успело стать самым желанным не только на станции, но и далеко за ее пределами.

Илья Ильич стоял, отмахнув на затылок фуражку, выпятив из распахнутой кожаной тужурки грудь, и шлепал ладонью о стол: к порядку!

Постепенно, подбирая в себя крики и смех, комендантская немела.

Илья Ильич, молча, вразвалку направился к телефонному аппарату, и глаза всех следили за ним.

— Станция? Давай губком... Губком? Давай самого!..

Илья Ильич, не отрывая от уха трубки, взглянул на товарищей и даже подмигнул кому-то: послушаем, мол, как там запоют.

Вдруг его широкое, начисто выбритое лицо подтянулось, напряглось. Он переступил с ноги на ногу и, приставив к трубке ладонь ковшиком, закричал:

— Здорово, Иваныч! Это я — Сухоруков! У нас экстренное заседание делегатов по депу... Единодушно принято решение... Ну да, об том об самом!.. Чаво? Лично? Где там к чертям лично!..

Илья Ильич оторвался от трубки.

— Личный доклад требует, ребята!.. Опасается, не подслушали бы...

Комендантская вспыхнула возгласами:

— Заливает!..

— Кому слухать?..

— Свои кругом!..

— Валяй, Сухоруков!..

Комендант стукнул каблуком о каблук по-военному: „есть“, и снова во все легкие закричал в трубку:

— Некогда докладываться, Иваныч! Слушай по трубке... Дело проще пареной репы: раз, два и капут! Десяток вагонов с балластом, паровоз сзади на полном ходу и... валяй в самое пекло! Чаво?.. Любой броневик под насыпь спустим... Чаво?..

Сухоруков смолк, слушал, скорчив хмуро лицо. Вокруг нетерпеливо придвинулись к телефону. Дышали тяжело и хлипко, со свистом, как одно большое тело насторожившегося, готового к прыжку зверя. Сухоруков отвел трубку, прикрыл рожок ладонью.

— Он говорит — не годится! Тс-с... Надо, говорит, всю такую операцию ночью, а до ночи, говорит, моготы не хватит... Как же теперь?..

Рабочие молчали. Илья Ильич махнул рукою.

— Аллю... — поднял он снова трубку. — Ужли нельзя продержаться до ночи?.. Да что ты говоришь? Ах, так их этак... М-м... Чаво? Шрапнелью?!

Он покинул аппарат и поднял, прислушиваясь, голову.

— Ребята! Никак и впрямь шрапнелью жарят?..

Люди шарахнулись к двери. Над перроном стояло гремучее эхо. По перрону все так же лениво и равнодушно расхаживал армеец с винтовкою.

— Так и есть! — воскликнул Сухоруков. — Значит, „он“, дьявол, через мост перебрался... Куда!? — внезапно взвыл

он в сторону рабочих, бросившихся по панелям врассыпную. — Забыли, где вы, матери вашей... Айда к депу!..

И в эту минуту Мартын увидел Кудрявцеву. Она бежала от вагонов через рельсы, что-то кричала, взмахивая рукою. На ней была короткая коричневая юбка, как у гимназистки, и кожаная тужурка по колена, и эта юбка делала ее похожей на подростка. Увидел Зину и Сухоруков. Он стукнул себя ладонью в лоб и разразился ругательствами.

— Сидоров! Сидоров! — заревел он. — Сидоров... будь ты проклят... Давай сигнал номер пятому!..

Зина взобралась на перрон. Смуглое лицо ее пылало, тонкие ноздри вздрагивали, будто принюхивались.

— Мартын! — кинулась она, порывисто дыша, к Баймакову. — Что же ты? Мы сидим тут больше часа... У нас женщины, дети!..

Мартын поморщился.

— Не вопи, пожалуйста... И... здравствуй!..

— Нельзя держать эшелон в таком положении!..

— Слышу!.. Где поезд?..

— Идем!..

Она потянула его за полу тужурки.

— Идем скорее!..

Голос у нее был сипучий. Не оглядываясь, она побежала. Мартын в два прыжка нагнал ее.

— У вас там все готово?

— Эшелон на пятом пути. Все готово! Как твоя поездка?..

— Полный успех! Я даже не ожидал...

Они пробирались среди вагонов, порою вскакивая на площадки и перемахивая через них, а вверху, над самыми, казалось, головами, с гулким треском разрывалась шрапнель, и звон от нее катился по рядам вагонов, как по заброшенным пустым залам. Зина то и дело останавливалась, приседала и возбужденно смеялась.

— Ты бледен, Мартын! — крикнула она на одном из поворотов. — Что с тобою?..

— Меня лихорадит. Простыл в дороге!

Она подхватила на бегу его руку, пожала, приткнула к своей щеке.

— Рука как огонь... В поезде есть аптечка, Мартын!..

— Она мне не понадобится, Зина!..

Теперь она бежала и все поглядывала на него, и уже не приседала и не смеялась под грохот разрывавшейся шрапнели.

Перебравшись через площадку крайнего вагона, они оказались подле самого паровоза. Паровоз пыхтел, кашлял, дрожал.

— Получай, Мартын, мандат... Маршрут: Боровики — Ясеньки — Липки... Путь пока свободен... Думаю, что в наставлениях ты не нуждаешься?

Она заглянула ему в лицо смеющимися, в узком разрезе, глазами и прихмурилась.

— Фу, какой ты! Гляди, не свались в дороге...

В этой ее заботливости что-то начинало раздражать Мартына. Он отвел ее руку, снова коснувшуюся его руки, и направился к вагонам. Она следовала за ним. Первый за паровозом вагон оказался новеньким, пассажирским, за ним тянулись товарные. Из товарных выглядывали перепуганные лица женщин, слышался детский плач. Подросток бежал вдоль вагонов, и ему вслед неслись женские крики: „Пашенька, убьет! Пашенька, Пашенька!“ С площадки пассажирского Мартына окликнул глухой голос:

— Баймаков, лезь! Трогаем...

Мартын поднял голову и увидел Тулякова. Туляков стоял, свесившись к порожкам; в глазах его было бело, водянисто.

— Ну, прощай!..

Зина взяла руку Мартына. Он торопко взглянул на девушку.

— Как! Разве ты не с нами?..

— Он еще спрашивает! Мое ли место среди матерей и чад?..

Мартын смешался. Ее ответ, снисходительный и насмешливый, уколол его.

— М-да... А я вот еду! — произнес он с нескрываемою горечью.

— О, это статья иная! Ты ведь единственный оплот здесь...

Но ее слова не согнали с его лица тени. Он рассеянно держал ее руку в своей. Вдруг она потянула его в сторону, к паровозу.

— Мартын!..

На скулах у нее проступили белые пятна.

— Мартын... Может быть, мы уже не увидимся... Прощай, Мартын!..

Он уловил, как она, дрогнув, стремительно подалась к нему, но не понял ее желания.

— Будь здорова, Зина! Как жаль, что нам не удалось поговорить... Я так долго не видел тебя!..

Она молча отступила и выпустила его руку. Он не двигался.

— Садись! — кинула она. — Сейчас поезд тронется...

Он ступил на подножку вагона.

— Береги свою кладь! — крикнула она и неожиданно залилась смехом. — Не растряси дорогой!..

— Постараюсь! Уходи, Зина... Тут небезопасно!..

Взрывы шрапнели становились непрерывными. Все небо, как стеклянный полог, ломалось на части, и осколки с глухим звоном осыпали пути. В соседнем вагоне кто-то, кого Мартын не видел, тянул тоненьким протяжным воем: „Пашенька — Пашенька — Пашенька!“ С вокзала, как со дна глубокого колодца, донеслись удары колокола: три!

Паровоз взревел, Мартын вздрогнул (так странен был этот крик паровоза в звонах шрапнели), вагоны тронулись.

— Беги, пожалуйста! — закричал Мартын в сторону Зины.

Но она не трогалась с места до тех пор, пока мимо нее не проплыли первые вагоны.

Высунувшись с площадки, Мартын видел затем, как она побежала к вокзалу. И только тут ощутил волнение, точно навсегда прощался с девушкой. Постояв с минуту в проходе, он с силою отдернул дверь и тут встретился с глазами Тулякова, бесцветными и холодными, как северное небо.

V

Выбравшись из-за вагонов, Зина перебежала платформу, миновала желтый, исклеванный зноем станционный сквер и огляделась.

За сквером она оставила мотоциклетку. Мотоциклетка стояла на месте, а шофера не было.

— Ивлев! — закричала она и увидела своего шофера. Он прижался к стене в каменном углублении амбара. Глазами, крылатыми от страха, озирался по сторонам.

Это был молодой грудастый парень с бритыми, розовыми, как бы надутыми изнутри щеками.

— Ивлев! Живо.

Крадучись, угнувши в плечи голову, Ивлев отделился от стены, но, сделав несколько шагов, бросился обратно: над сквером с сухим кашлем разорвалась шрапнель.

Зина расхохоталась.

Шофер злыми глазами взглянул на нее, поежился, потоптался на месте и, решившись, перебежал от стены к своей машине. Руки его прыгали, но все же ему удалось завести мотоциклетку. Зина вскочила в люльку. Шум машины на минуту приглушил глухое эхо снарядов. Люлька

рванулась и полетела вперед, как большая быстроногая птица, собирающаяся подняться в воздух.

Скорость была предельная, мостовая метелицей вилась по обе стороны, дома, ворота, тополя у ворот, шатаясь, проскакивали мимо, воздух с упругим свистом бил в лицо.

Зина вспомнила, какой это жуткий и торжественный день в ее жизни! Сердце замерло, напряглось и с силой вытолкнуло к голове алую хмель. Она дико, пронзительно закричала:

— Мартын! Мартын! Мартын!..

Захлебываясь в воздушной буре и приподымаясь на сиденье, как бы готовясь выпорхнуть из люльки, она выкрикивала это единственное слово, и шофер, вцепившись в ручки руля, бросал в жаркое ее лицо свои потемневшие от ужаса глаза.

Мотоциклетка летела, моментами отделяясь от булыжника, и все вокруг прыгало, шаталось, присвистывал снежный воздух, и солнце, рыжее, похожее на огромного степного паука, перебирало в тревоге огненные свои лапы.

Да, отныне Зина Кудрявцева знает, что такое борьба, революция, коммунизм! Ведь это так же просто, как то, что она, Зина, не боится смерти, влюблена во вселенную и готова на все самое героическое... Никто не скажет, что она до сих пор мало работала для победы! Но она сделает еще больше. Она не будет спать все ночи, она отмахнется от всего на свете ради работы, и она уже теперь, сейчас, сию минуту, готова умереть за дело революции.

Жгучие видения, овеянные необычайной музыкой крови, вставали из глубин ее сердца. Вот она перед толпою вооруженных рабочих, с ее уст срываются незабываемые прекрасные слова, и тысячи голосов вторят ей. Вот она, изнемогая от жажды и голода, идет в боевой цепи товарищей, идет по степи, по холмам, в перелесках... Вот она впереди всех выбегает на поляну, кричит. „Да здравствует

пролетариат!“—и... падает, пораженная пулей. Но нет, это не смерть! У ее постели дежурят товарищи, ее ночи— ночи в муках, в бреду — сторожат милые, родные товарищи... Первый, после долгого недуга, проблеск сознания... Бледное, восковое лицо с огромными лихорадочными глазами... Она поднимает тяжелые веки и видит над собою в рыжей чаще чужих ресниц восторг, преданность: Мартын! Он долго молчит. Ему ли говорить о личном счастье, о какой-то любви, о долгом совместном веке? „Ты молодец!“ — говорит он, и его голос звучит как гимн... „Я готова на все! — шепчет она в ответ. — Я готова умереть... Я буду еще лучше, чем я есть... Мое сердце никогда не замрет от страха за свое крошечное счастье!..“

Мотоциклетка неслась, прыгала, и прыгали, отступали по сторонам белые оглохшие дома. Там, за камнем, за железными жалюзями, прячутся перепуганные насмерть люди, те самые, что, как мыши, сыты жалкими крохами жизни и не знают иной радости, кроме радости пищеварения и ползучей любви... Возможно ли их пробуждение, и кто пробудит их, если гул пушек вызывает в них только страх! Завтра, если над зданием исполкома уже не будет развеваться красное знамя, завтра, обманутые молчанием улиц, люди эти выползут из своих щелей, будут улыбаться солнцу и своим спасителям... Завтра! Но за этой чертой, за этими двадцатью четырьмя часами, в грозе, в буре, следуют тысячи, миллионы часов, и все они принадлежат людям иным, жизни иной: бесстрашным — бесстрашной жизни.

— Стоп!..

Шофер соскочил первый и, не оглядываясь, побежал к каменному подъезду, а она, сдерживая каждое свое движение, встала в люльке, оглянулась, выпрыгнула. И, отойдя несколько шагов, увидела: что-то обрушилось на мотоциклетку, перевернуло ее, бросило каретку в одну сторону, а колесо с рулем — в другую.

Дрожа от счастья, Зина вошла в вестибюль.

В этот самый час Мартын сидел в вагоне и тянул из щербатой чашки горячую жижу. По левую его руку — дверь в решетке; у двери, на лавке, развалились двое в рубахах цвета хаки.

Туляков пристально всматривался в лицо Мартына, так бесцеремонно пристально, будто перед ним находился не живой человек, а зеркало, в которое он разглядывал себя.

— Едем к чорту на кулички да еще баб тащим! — проговорил он глухим голосом и перевел глаза на руки Мартына.

Мартын промолчал. Он с наслаждением глотал горячую жижу, глуша, заливая томительный озноб в теле.

Туляков встал от стола.

Был он сутул, летнее пальто на нем, туго перехваченное ремнем у пояса, топорщилось на широких костистых бедрах пышными складками. „Точно барыня в кринолине“, — подумал Мартын и косо улыбнулся.

За окном проплывали бурые, зыбучие под вечерним солнцем степи. Мартын хотел встать, чтобы заглянуть в окно, но почувствовал, что сделать это ему так же трудно, как взобраться на высокое дерево. В то же время колючий озноб охватил ему спину и грудь, и в голове поднялись шумы.

— Нездоровится! — произнес он вслух. — Кажется, я подхватил лихоманку...

Туляков покосился на него, промычал что-то.

Мартын добрался к своей скамье, лег и накрылся с головой пальто. Едва он протянул ноги, как все большое его тело задрожало в жгучем ознобе. Прикусив нижнюю губу, он весь напрягся, как бы справляясь с внезапно навалившеюся на него тяжестью. Все это было так неожиданно и так нелепо, что, сбросив с себя пальто, Мартын злобно расхохотался.

— Надо бы остановить поезд! — поворачиваясь от окна крикнул Туляков.

— Зачем? — икотным от дрожи голосом отозвался Мартын.

— Надо бы остановить! — повторил Туляков, торопливо открывая окно.

Мартын собрал силы, шатающимся шагом дополз к окну и, навалившись на спину Тулякова, высунулся наружу. Ветер ударил в глаза. Сморгнув слезу, Мартын увидел впереди, на повороте, кучу людей: они возились на самом полотне, как воронье на пашне. Паровоз заревел отрывисто, гулко. Люди шарахнулись с насыпи в сторону. Кони, стоявшие под насыпью, взнялись на дыбы, и кто-то около коней, юный и бравый, в фуражке с алым околышем, сдернул из-за плеч винтовку.

Они поймали друг друга одновременно: Мартын — в раскрытом окне вагона, и человек — под насыпью. Туляков рванулся из-под груди Мартына, сполз к полу; Мартын, не двигаясь, глядел встречу винтовке, направленной в него: винтовка приближалась с бешеною быстротой вместе с человеком, в нее вцепившимся. Внезапно по всему телу Мартына разлился благостный покой. Выстрел звоном ударил в стену вагона.

— Промазал!.. — захмелевшим голосом проговорил Мартын, отходя от окна. — Я, можно сказать, таежный человек, а на лету ни одного лешего не подстрелил...

И он изумленно засмеялся, чувствуя, как все в нем ликует: не было озноба, не было этой проклятой дрожи, выворачивающей внутренности.

Туляков с злобным, раскосым испугом следил за ним снизу, из-под окна. Поднявшись на колена, сказал:

— Ты, Баймаков, мальчишка!

Он прошел к столу, сел и некоторое время молчал. В белесых его глазах, как огоньки в степном сухостое,

вспыхивали затаенные колючие мысли, и руки, туго сцепленные, дрожали. Наконец он снова заговорил:

— Я попросил бы тебя, Баймаков, дурака не валять! На каждом из нас лежит ответственность перед партией... Не думаешь ли ты, что находишься в цирке?

Мартын влюбленными глазами следил за ним.

— Кончил? — пропел он басовито. — Скажи, пожалуйста, какая муха хватила тебя?..

Туляков махнул рукой, встал и пошел к окну. Постояв, обернулся к Мартыну.

— Дело, конечно, твое! — произнес он негромко, но все еще с раздражением. — Я хотел бы только... указать тебе, что на моей ответственности лежит казна, а на твоей — весь поезд с людьми!..

— С удовольствием поменялся бы! — отозвался Мартын. — Хочешь?..

Туляков побелел и закрыл глаза: так бывает с людьми в моменты глубочайшей сердечной нежности или нестерпимого гнева.

— Я с тобой не желаю...

От волнения он проглотил конец фразы. Мускулы в сером его лице подергивались, как у животного, преследуемого таежною мошкарой. А на костистых бедрах пышными складками лежало новенькое, нарядное пальто. Мартын отвернулся, ему стало скучно, и тут же вновь почувствовал он озноб в позвонках.

— Туляков! — позвал он тихо. — Ты не сердись... сделай милость! Давай-ка обсудим, как быть... Кажется, станция недалеко?..

— Кажется! — процедил Туляков сквозь зубы.

— А на станции нас могут встретить белые...

Туляков небрежно отмахнулся.

— Если бы белые захватили станцию, им незачем было бы разбирать здесь рельсы...

— Пожалуй!..

Они больше не проронили ни слова.

Поезд пожирал степные пустоты, и его грохот железными клубами катился в степной зной, в марево, в дымчатую глухоту перелесков.

Двое в рубахах стояли у двери, курили и переговаривались вполголоса. Оба были очень молоды, на безусых их лицах светилась бездумная простота, и слова их были просты, пахучи и круглы, как яблоко.

Мартын сидел, прислонясь к стене, с полузакрытыми глазами, и чувствовал, что его сознание моментами проваливается в иной, нездешний мир.

— Эх ты, человече! — услышал он над собою глухой голос и, приподняв липкие ресницы, увидел белесые глаза Тулякова.

— Ну, что еще? — произнес он нехотя.

— Выпей-ка вот...

Мартын с трудом приподнял голову, необыкновенно большую и грузную, покорно занес над ртом бумажку, стряхнул, отхлебнул из чашки и судорожно вздрогнул.

— Фу... Хинин, что ли?... — проговорил он, укладываясь на скамье.

Туляков не откликнулся. Его лицо колыхнулось и поплыло в сторону, к окну, навстречу мутно-зеленым кругам.

— Нет, нам без моря нельзя! — резко, точно над самым ухом, прозвучал от двери голос красноармейца. Мартын поднял руку, как бы защищаясь, и ощутил на пальцах прохладное касание чужой ладони.

„Товарищ Зина, ты? Нельзя ли без бабьей нежности?“

Эти слова произнес он беззвучно, но Зина Кудрявцева его услышала.

„Нет, Мартын, без нежности нам нельзя!“

„А без моря можно?“ — беззвучно спросил он.

„И без моря нельзя!“ — отвечал за Зину Черноголовый, поблескивая из-под очков зеленью.

— Вот так штука! — сказал вслух Мартын.

Туляков услышал его.

— Станция! — проговорил он откуда-то издалека.

Мартын поднял тяжелые набухшие веки и в сизом, сумрачном тумане, прямо над собою, поймал чьи-то глаза.

— Мне... встать? — произнес он, но огромные и холодные, чужие глаза глянули на него с презрением.

„Нет, ты полежи... Тебя пускать не велено!..“

— А я все же встану,—прошептал Мартын.

„А я не пущу! — отвечал голос. — Здесь заседание штаба“...

Тогда, помолчав, с горечью в сердце, Мартын отвернулся к стене. Но стены не было. Была серая суконная спина, перегретая солнцем. „Отодвинься, пожалуйста!“ — попросил Мартын. „Сам отодвинься! — отвечала спина. — Здесь заседание штаба!“ — „Плевать мне на штаб! — безгласио закричал Мартын. — Я — Мартын Баймаков!“ — „А я — Губарев, предгубпрофсовета, и ты не смеешь“... — „Смею!“ — „Не смеешь!“

Кто-то качал Мартына за плечи, он отбивался. Взбешенный, с хрипом в горле, приподнялся на локте и увидел Тулякова, а за Туляковым — скачущее в сумеречи окно.

— Станция?—спросил он, опуская со скамьи ноги (ноги казались чужими, бескостными).

— Проехали!—вздохнул Туляков и сел на скамью рядом.—Путь свободен, но город... занят, Мартын!..

Мартын тупо уставился на него.

— Не... не может быть...—проговорил он смятым голосом; Туляков промолчал; Мартын поднялся и, вытянув перед собой руки, направился к окну. Окно было раскрыто. Мартын незряче просунул наружу голову и захлебнулся в упругом, жилистом потоке. Отдышавшись,

навалился грудью на подрамье, все его истомленное жаром тело тянулось в свежую сумрачную пустоту. Нас степями догорал смуглый, алый воздух; ночь мощным разливом надвигалась с севера; над дальними почерневшими топями, в туманах, поднималась рыжая луна.

Окутанный музыкальным гулом, с терпеливой поспешностью (день и ночь, день и ночь) летел поезд, и оттогод, что впереди и позади его была все та же неоглядная мглистая степь, казалось моментами, что весь этот гулкий мчавшийся вперед караван давно отделился от земли и висит над бездною.

— Туляков!—позвал Мартын, оборачиваясь от окна.— Если город взяли сегодня, то из него никто не ушел! Никто, кроме нас...

Туляков недвижно сидел на скамье. Его бельмастые северные глаза целились в потолок.

— Туляков!—продолжал Мартын, пошатываясь на ногах.—Революция истекает кровью, а эти... эти женщины прячутся в наших вагонах... Кому они нужны?..

Глаза Тулякова дрогнули.

— Ты бредишь, Мартын!..

— Нет, зачем же! Стань, пожалуйста, к окну, загляни назад, на эти коробки... Ох-хо... Куда мы тащим их?.. В какой край? Кто поджидает нас?..

Он пробрался к своей скамье, лег, и неожиданный смех, разрываемой икотою, забурлил в его глотке. Туляков резко подался к нему.

— Успокойся, пожалуйста... чорт тебя!..

— Я покоен, Туляков!—захлебывался Мартын.—Я гораздо покойней тебя! Я даже рад без памяти... У меня в товарных—бесценная кладь. Выйдем на рынок Востока и Запада... Будем расценивать на вес долларов каждое женское филе... Вздуем цены на каждого губошлепа... За грудных потребуем вдвое... За девственниц—вдесятеро!..

Он уткнулся лицом в пальто, в свое изголовье, огромные его плечи вздрагивали могуче и бурно. Потом он затих, поднял кудлатую голову (щеки его пылали, а светлая копна волос казалась холодною) и нежданно ровно, озабоченно произнес:

— В последнее время Черноголовый... стал сдавать... Ты не замечал?.. Когда я последний раз видел его, он был дряхл, как столетний...

Туляков ждал. Но Мартын ничего не сказал больше.

— Ложись, прошу тебя! — проворчал Туляков, подымаясь на ноги.—Тебе следует подкрепиться...

— А тебе?

— Э!

Он махнул рукою и направился к двери.

Степь наливалась мраком, холодела. Луна прояснялась. Немотный, тяжкий зрак ее источал тишину, и в этой стылой призрачной тишине, как в диковинных паучьих тенетах, беспомощно барахтался поезд.

VI

На рассвете, еще не открывая глаз, Мартын прислушался к себе и почувствовал свое тело попрежнему крепким и сильным. Голова была еще туманна, во рту горчило, но на сердце уже зачиналась властная музыка молодости. Позевывая, он открыл глаза. Армеец, дежуривший у двери, искоса следил за ним и видел всю эту безмолвную и, вместе с тем, удивительную картину пробуждения. По бледному, истомленному лицу Мартына пробежала дрожь, отмечающая момент возвращения сознания. Затем легкое озарение, похожее на улыбку, тронуло просторный лоб и густые губы. Что-то, похожее на румянец, только несравненно более тонкое и мягкое, проступило на скулах. Задрожали и распахнулись ресницы: из синевы пахнуло вчерашним зноем, бредом; белки были мутны и

розовы, зрачки темны и огромны. Но вот еще усилие, и — вслед за улыбкой, принявшей выражение радости, вспыхнули в глазах, из-за гари и пепла, хрустальные родники.

— Как дела, товарищ? — сырым голосом проговорил Мартын, обращаясь к армейцу.

— Благополучны!—сказал тот, охотно откликаясь на ту бездумную заражающую радость, которая волною шла к нему от Мартына.

В вагон за ночь лунные степи надышали прохлады. Синеватый рассвет сочился за окном золотом. Отлично, чудесно! Но, обнаженные под первым утренним светом, холодели на полу, как прах пережитого, окурки, и было в них что-то общее с серым помятым лицом Тулякова. Лежал Туляков на голой скамье, запрокинув на руки голову. Губы его были тонки и темны, брови белесы и редки, как всходы на тощем поле. И эти брови порою вздрагивали, и губы морщились, точно какую-то горечь глотал во сне Туляков.

Мартын сел, опустил голову. Город! Город! Первою мыслью была мысль о Михаиле Иваныче, о Синицыне, о Зине (да, и о Зине!). Не то чтобы он забыл всех других, близких ему по борьбе... Нет! Мысль о городе была полна ощущения многих человеческих страданий, но эти страдания сливались в единое, близкое, особо чувствуемое: белоснежная голова, внимательный взор из-под очков и, рядом с этим, теплота смуглых женских рук, насмешливая улыбка, глаза серые, в узком разрезе. Невозможно жалеть, мстить, бороться за город (кружок на географической карте), но нельзя не жалеть, не мстить, не бороться, если в этом городе тысячи родных, близких по духу, и среди них — особо близкие, особо понятные сердцу!

Мартын взглянул на Тулякова. Почему он спит? Как можно спать теперь? Мартына раздражало это мертвое

лицо. Он как бы вовсе забыл, что сам спал всю ночь, что сам только что поднялся на ноги.

— Станция скоро, товарищ?—обратился он к часовому у двери, и тот все так же охотно и весело отозвался. Мартын не решался спросить о городе, о вчерашнем сообщении Тулякова. Может быть, Туляков еще прятал страшную правду от других.

А вагон подрагивал, стучал и дзинькал, и мимо окон, за стеклом пыльным, перламутровым, проносилось утро, звонкое, в студеных золотых разливах. Поезд летел упрямо, терпеливо; он был в движении еще в то время, когда Мартын спал, он будет мчаться вперед бесконечно, равнодушный к людям, терпеливый, упрямый, похожий на подъяремного раба со стиснутыми челюстями, с сердцем, не знающим прошлого, с волею, не имеющей собственных глаз.

Мартын швырком спустил у окна раму, опрокинулся грудью, заглянул вперед, назад. Легкие захлебнулись в ядреном воздухе; сердце пьянело, мускулы наливались звонким светом, силою... А за паровозом стучали, повизгивали, гнались друг за другом вагоны: два, три, четыре... без конца! И в каждом, наглухо прикрытом, в теплых одеялах, на подушках, на корзинах, узлах, на всякой рухляди, кутаясь в нее, лежали в сладостном, бездумном забытье молодые и старые женщины, дети—у груди матери, подростки—за теплыми надежными спинами: чьи-то жены, ребята, сестры, для кого-то бесценные, единственные, кому-то еще вчера необходимые, как воздух, как хлеб. Они все досыпали последний предутренний час, самый пьяный и сладкий, и едва ли кто-нибудь из них видел страшные сны. А между тем у многих из них жизнь была уже сломана, и к прошлому не было возврата!

Мартына тянуло навстречу утру, близкому солнцу, степному, омытому свежестью, раздолью. Ноздри его жадно всасывали терпкий арбузный воздух, глаза упивались

потоками прозрачных красок. Хотелось двигаться, прыгать, кричать песни и ни о чем не думать... или думать о своей прекрасной, большой жизни и о загадочном, не менее прекрасном будущем. Но нельзя было ни двигаться, ни прыгать, ни петь, потому что нельзя было ни на одну минуту забыть о городе, о разгроме, о крови и об этих вагонах, наполненных детьми и женщинами.

Ах, эти женщины, эти сонные чавкающие рты, эти груди, наливающиеся молоком, эти колена, ищущие в полумраке привычной ласки.

Мартын резко повернулся от окна. Он не хотел, не мог терпеть. Он направился к Тулякову. Но Туляков сам открыл глаза. Сначала в глазах его метелицей кружилось лазоревое окно, затем, захолодев, они сузились, наполнились злым белесым огнем. Туляков встал, откашлялся, сплюнул в угол, сказал Мартыну:

— Очень хорошо, что ты на ногах! А я думал, что с тобой придется повозиться...

И вслед он обратился к армейцу:

— Разъезд проехали?

Слушая ответ, он прошел к окну, заглянул, повернулся обратно.

— Что же теперь делать, Баймаков?

И по этому его вопросу, произнесенному глухим напряженным голосом, Мартын сразу понял, что вчерашнее сообщение о городе не было бредом.

— А разве можно что-нибудь делать? — воскликнул он с внезапным приливом раздражения. — Разве мы с тобой можем что-нибудь делать?.. Ведь мы связаны по рукам, по ногам!..

Туляков с тревогой взглянул на него.

— Не мудри, Баймаков! Мои нервы не лучше твоих!..

Мартын отвернулся, стараясь сдержать свое волнение. Он понимал, что Туляков ни в чем тут не виноват, и все же не мог отделаться от странного чувства неприязни к

нему, к женщинам, ко всему эшелону. То, что происходило теперь у него на сердце, напоминало Мартыну далекое прошлое. Был в детстве случай, сближавший тогдашнее его настроение с тем мучительным, что переживал он теперь. Ему только что поровнялось восемь лет. Он с неделю, радостно волнуясь, готовился с отцом к отплытию на рыбалку. И вдруг на рассвете долгожданного дня умерла старая бабушка. Меньше всего в этом происшествии была виновата сама бабушка. Но Мартын весь день не мог преодолеть глухой вражды к покойнице, а затем и к отцу и даже к посторонним людям, к соседям.

Заметив, что Туляков уже не обращает на него внимания, Мартын вышел за дверь, пролез наружу, уселся на подножках. Он сидел, сложив на груди руки, стараясь ни о чем не думать. Стремительный полет у самого полотна, хлесткий, свежий ветер, как бы поддерживавший на весу все тело, и сознание, что одно неосторожное движение может опрокинуть его под колеса, постепенно возвратили Мартыну спокойствие.

Перед глазами плыла, кружилась желтая, выжженная за лето степь. Открывались балки с синим туманом над ними. Янтарем светились соломенные хутора на горизонте. У шпал тяжелела седая от ночной росы трава. Трава сухая. Дорога в пыли, в шматках дегтя: здесь дождя не было ни вчера, ни сегодня.

Поезд подходил к станции. На площадке, за спиной Мартына, показался Туляков.

— Надо будет здесь собрать точные сведения! — покричал он.—Сделаешь?..

Деревянные постройки станции тонули в потной сутеми, а над кровлями, в тонкой сетке старых тополей, пылала крепкая матовая заря.

Из двух — трех вагонов выползли, кутаясь в шали, женщины. Одна держала на руках ребенка, хмурилась в небо.

Ночной холод положил на ее лицо печать: тусклая тень на щеках, краснота вокруг ноздрей, пупырышки на коже, там, где руки были обнажены. У станционных дверей, под колоколом, тяжелел начальник станции. В его глазах, жирных, на выкате, крутилась усмешка, и было еще что-то, заставившее Мартына насторожиться.

— Скажите: на Липки путь свободен?—подходя к нему, заговорил Мартын.—Мы у вас стоять не намерены!..

У начальника был двойной подбородок, бритый, холенный, а голос крикливый, порывистый, как у старого фельдфебеля, и голова подрагивала в такт голосу.

— Путь свободен!—отвечал он, разглядывая Мартына.— Пока свободен, гражданин!—повторил он.—Но из Липок передавали, что у них там, за буераками, казачьи разъезды. Вчера к нам с северо-востока доносило пулеметную пальбу...

— Чью, с кем?

— Этого сказать не могу!

И он просунул подбородок в твердый обшлаг, отчего на челюстях образовались мясистые тугие складки.

Мартын помолчал.

— Какие сведения из города?—спросил он, стараясь глядеть беззаботно.

— Никаких! Телеграф молчит со вчерашнего дня.

— Что же... попорчены провода?—воскликнул Мартын.— Городу, когда мы его покидали, ничто еще не угрожало!..

— Не могу сказать!—отвечал начальник, выкатывая на Мартына глаза, и вдруг улыбнулся.—Вы очень долго подвигались к нам... Вероятно, стояли в пути?..

— Да, мы стояли! И теперь торопимся... Примите меры!..

— Сделайте одолжение! Второй день живем вне расписания...

Поднялось солнце. Тени осинели, стали хрустальными. В небе было тихо, ясно, просторно. В воздухе, свежем и упругом, как вода, носились стрижи. Первая, еще робкая и необыкновенно прозрачная дорожка вылегла на асфальте, и, переходя ее, Мартын ощутил на лице горячее касание солнца.

От вагона шли двое. Один низкорослый, в широкой темной накидке и широкополой шляпе, другой в кожаной тужурке, опоясанной желтым ремнем. Тот, кто был в накидке, слегка отставал, как бы прячась за спину кожаной тужурки.

— Товарищ Баймаков?—остановившись на шаг от Мартына и вздваивая свои отлично вычищенные сапоги, спросил человек в тужурке.

Мартын хмуро, сверху вниз, глядел на него. Человек в тужурке потрогал пальцами свежий, туго поскрипывавший пояс.

— Вы удивляетесь! — заговорил он. — Я здесь при поезде на всякий случай. В охране! Имею приказ губкома!..

— Письменный?..

— Нет, устный...

Мартын усмехнулся.

— Так вы в охране?

— Готов, чем могу!—переступил с ноги на ногу человек в тужурке, и вдруг темное, в черной курчавой бородке, лицо его вспыхнуло.—Вы меня, Баймаков, должны знать... Я из совнархоза... Арштейн!

— Не помню что-то!—небрежно откликнулся Мартын и перевел взгляд на накидку.

Маленький человек все время ласково, почти влюбленно посматривал на него трогательно-голубыми, как у куклы, глазами.

— Наш коммунистический педагог! — отрекомендовал Арштейн, с нескрываемым пренебрежением взглянув на

товарища. — Внушает политграмоту на красноармейских курсах!..

— Петр Уткин!—поклонился человек в накидке. — Сопутствую эшелону по нездоровью... Туберкулез во второй стадии...— Он улыбнулся, ощерив темные гнилые зубы.— Нас в поезде трое: товарищ Арштейн, я и наробраз Добрынин... Только товарищ Добрынин в другом вагоне, с семьей!

Мартын сложил губы трубочкой (как делал это Черноголовый) и свистнул.

— Э, сколько вас! Куда же вы направляетесь?..

— То-есть, как это?— вскинулся Уткин.— Туда же, куда и вы!..

— Уткин — член партии! — заметил Арштейн, и в его глазах, больших, медленных, напоминающих коровьи, проступила досада.

— Ах, товарищ Уткин—член партии! — желчно, уже не скрывая насмешки, протянул Мартын. — Ну, если так, то вам обоим можно сказать правду...

— Неужели есть опасность?—воскликнул Уткин, взметнув крыльями своей накидки, и уцепился за руку Мартына своею, холодною и влажною.

— Несомненно!—подтвердил Мартын, испытывая странное удовольствие при виде растерянности этих людей.— Мы катимся, так сказать, в гости к казакам.

— Вы это серьезно? — произнес Арштейн, облизывая свои полные смуглые губы. — Я не совсем понимаю...— он не закончил и беспомощно огляделся по сторонам.

— Мы сами не совсем понимаем, что творится! — подхватил Мартын. — Но у нас нет иного выхода...

Арштейн вдруг как-то весь завял. Его военная выправка исчезла, он засуетился, крупные его губы взмокли и распались, в больших и темных, слегка увлаженных глазах его помигивал страх.

— Нет, нет... Быть не может! — заговорил Уткин и умоляюще уставился на Мартына голубыми своими бусами.

Мартын понимал, чтó скрывалось за этим протестующим „нет, нет!“ Уткин, несомненно, любил жизнь, любил ее с жадностью полевого крота; все его щуплое тело, издерганное недугом, не хотело и не могло верить, что оно как-то вдруг, ни с того ни с сего, перестанет дышать, двигаться. Подобно нищему, цеплялся этот человек за каждый кусок, за каждую крошку радости, и его жизнь, питающаяся жалкими остатками с пышного стола, готова была к самозащите, более отчаянной, чем это могло быть у самого сильного зверя.

Чувство брезгливости охватило Мартына. В то же время он заметил женщин, прислушивающихся издали к их разговору.

— Шучу!—сказал он, направляясь к вагонам.—Я пошутил, товарищи... Путь безопасен!..

— Да?..— воскликнул Уткин и снова вцепился в руку Мартына.—Я так и знал... Но вы, товарищ Баймаков, напрасно шутите... У меня чрезвычайно плохие нервы... Эту ночь я почти не спал... Мне мерещились всякие ужасы... И не думайте, что я волнуюсь только за себя... Ведь у нас женщины, дети... Это было бы ужасно!..

Он бежал рядом с Мартыном, как стригун подле матки, и говорил, и улыбался, и светился весь голубым обрадованным светом.

— Это было бы ужасно, ужасно!..

Арштейн остался на месте. В его тучном, влажном взгляде полыхала злоба.

— Товарищ Уткин!—приостановился Мартын.—Оставьте меня, прошу вас... Можно, а?..

Уткин покорно смолк и побежал назад, размахивая крыльями своей накидки, и на бегу кричал кому-то ущербленным от волнения голосом:

— На водопой! На водопой!

Мартын неторопливо шел в сторону паровоза. Он видел все, что делалось в вагонах. В вагонах было утро. Женщины, озабоченные и заспанные, возились среди корзин и узлов, звенела всюду посуда, слышались детские голоса. Матери готовили завтрак, степенно вытягивая из узлов и узелков хлеб, молоко в бутылках, стаканы и многое другое, что еще день назад украшало домашний буфет хозяек. Кое-где на чемоданах, заменявших теперь столы, белели салфетки. Даже пестрый бухарский ковер красовался, в виде портьер, над одной из раздвинутых дверей. И выплескивались там и сям из полутьмы вскрики и смех. Старуха с белою, как бы выточенною из мела, головою, задыхаясь от усилия, тащила к вагону тяжелый обрубок. Трудно было догадаться, зачем он ей понадобился, но, несомненно, этот добытый ею кусок грязного почерневшего дерева был здесь весьма нужен: несколько пар женских глаз с улыбчивым нетерпением следили из вагона за старухой. А еще через вагон кто-то, повернувшись к двери согнутою спиной, старательно скреб пол охапкою трав, и у самой двери, свесив ноги, обтянутые розовыми чулками, сидела молодая мать, с ребенком у обнаженной груди. Она даже не взглянула на Мартына, вся уйдя в свое занятие. И трое подростков гонялись с визгом друг за другом у крайнего вагона. Было шумно, хлопотливо, беззаботно. Люди с удивительной алчностью, подобно ползучему растению, цеплялись за обломки привычного своего существования, и вагоны, приютившие этих выброшенных за борт женщин, очень непрочные вагоны на очень зыбком, ненадежном пути, с каждым новым часом обрастали неистребимым бурьяном забот и хлопот.

— Галки...

Мартыну вспомнилась мельничная труба на окраине города. Днем и ночью выбрасывала она дым, удушье, клубы

горящей сажи и только в редкие дни больших праздников остывала. Но как ни коротки и ненадежны были эти часы затишья, стаи галок с бездумными криками облепляли притихшего каменного великана, и уже к следующей заре охапки гнезд чернели вокруг трубьей короны.

Мартын представил себя, себя—одного, среди женской толпы, в окружении казачьего эскадрона... Вот это и впрямь будет сражение! Вот это впрямь арена для героической борьбы!.. Сомкнуть на груди руки, запрокинуть гордо голову и... беспомощно умереть... Нечего сказать—завидная доля!..

VII

На станции Мартыну дали неправильные сведения. Казаки городом не овладели, но пути к нему были отрезаны, и потому телеграф не работал. Генерал, командовавший казачьим корпусом, не ожидал встретить со стороны города сопротивление, а когда наткнулся на окопы и потерял пол-дня, чтобы смять красную пехоту, отдал приказ к отходу. Он сделал это, стоя у городских ворот, когда один лишь эскадрон мог занять окраины. Но генерал опасался борьбы на улицах, а у него не было времени: он знал, что с востока надвигается вражеская кавалерия, ему надо было спешить на юг, к фронту, чтобы соединиться с главными силами.

Еще около четырех часов дня, когда поезд Мартына готовился к отходу, кавалерия густыми эскадронами подалась назад и стала обтекать город перелесками. Броневой поезд, отвлекая внимание красного штаба, продолжал обстрел с линии, из-за разрушенного моста, но в то самое время, когда в здании исполкома готовились к встрече с врагом на улицах, головные казачьи отряды, перебравшись через реку, подвигались уже к станции Боровики.

Поезд Мартына проскочил к Боровикам на глазах вражьих разъездов. За разведкою, по пятам ее, следовал весь корпус белых; он подвигался вдоль железнодорожного пути, по обе его стороны, и там, где еще несколько часов назад пробегал поезд с эвакуируемыми, теперь пылали будки, товарные вагоны, штабеля шпал.

Около семи вечера по полевым проводам в исполком сообщили, что связь с белыми потеряна, а еще через два часа весть о бегстве генеральской кавалерии облетела весь город.

Рабочие из паровозного депо вышли на улицу с пением „Интернационала", к ним присоединились рабочие соседних заводов и ротозеи, час назад прятавшиеся в подвалах.

Над городом еще рвалась шрапнель, но теперь никто не обращал на нее внимания, и улицы, набухающие мраком, полны были веселого людского шума.

Когда совсем стемнело, отряд из смельчаков, волоча за собою легкое орудие, зашел во фланг броневому поезду и принялся в упор обстреливать его. Броневой смолк, рванулся назад и скрылся на глазах преследователей. И вот над городом разлилась благостная тишина, расцвеченная пылающими звездами; ни крики людей, ни грохот полковых кухонь на мостовой не могли нарушить этого радостного покоя вечера.

Люди захмелели, и было отчего! Ведь всего несколько часов назад они стояли перед неизбежностью кровавой уличной стычки, готовились к смерти и уже переживали то состояние, когда последние зовы упирающейся жизни отзвучали, и все тело охватывает тошнотное спокойствие.

Первый почуял возвращение бывалой радости старый, оставшийся от губернаторского камердинера кот. Он вдруг появился в белом коридоре исполкома и, задрав хвост, тыкался людям под ноги, кричал у закрытых дверей. Молодой армеец, стоявший на часах у кабинета штаба, поймал

кота и начал тетешкать его на руках. Адъютант штаба, только что выслушавший последнее донесение с фронта, проходил в эту минуту из штаба в кабинет Черноголового, остановился на пороге, увидел кота.

— Ну?..—сказал он, строго взглянув на армейца, и когда тот, вытянувшись, уронил кота, адъютант пошел дальше, но кот подкатился к его ногам.

— Ну?..—повторил он, обращаясь на этот раз к коту, нагнулся и подхватил его на руки.

И едва адъютант с котом на руках скрылся в конце коридора, двое вестовых, оглашая стуком тяжелых подошв своих сумеречную тишину, пробежали из вестибюля наверх. Они только что возвратились с другого конца города, сдали свои пакеты и теперь спешили наверх, в столовую. Там встретила их пожилая тетка Степанида Афромеевна. Позванивая ключами, достала она из шкафа каравай хлеба и отрезала по ломтю каждому, и парни, глотая хлеб по-змеиному, не прожевывая, принялись толкать Степаниду Афромеевну с двух сторон, пока она, вдруг по-молодому раскрасневшись, не убежала прочь.

В залах собирались отряды, усталые, голодные, но жадные до балагурства и веселой матершины. Винтовки коекак притыкали к стене, распоясывали подсумки и валились на паркет, как на пуховики.

В кабинете штаба, в канцелярии, в отделе снабжения — всюду, где были люди, разгорался певучий, бездумный шум. И кто хотел спать — укладывался на кушетки, на составленные кресла и прямо на пол; кто хотел есть — бежал на кухню, в столовую, через улицу — в советскую пекарню, и кто хохотать хотел — хохотал до упаду. Казалось, что только теперь почувствовали люди цену жизни и спешили, как угорелые, к ее утехам.

Час назад Черноголовый говорил речь с балкона к рабочим, собравшимся на улице толпою. Штабники, и люди из отряда, и вестовые, и Степанида Афромеевна,

ключница столовой, учтиво ловили каждое слово Михаила Иваныча.

Но — кончил Черноголовый, разошлись рабочие, потемнело, заиграло звездами глубокое, синее небо, и все, кто находился в здании исполкома, обратились к своему будничному, привычному миру, и мир этот был теперь для них самым важным и самым чудесным во всей вселенной. Вспыхнули тайные, несытые желания, поднялись потоками из скрытой глубины сердца. Все вокруг казалось близким, доступным и возможным, и сами люди глядели друг на друга, как на радость, цветущую в садах их жизни.

И, что всего важнее, каждый думал, что он заслужил право на всякое свое желание, и что сейчас эти его желания естественны и прекрасны, как крик новорожденного.

Клепиков из совнархоза, член штаба, послушав деловые споры в кабинете Черноголового, заскучал, потянулся всем телом и прошел на балкон. Отсюда, с высоты, звезды казались близкими, а голубая темнота над городом пахучею, как степь в мае. Тугой и теплый ветер доносил из-за реки неясные шумы военного лагеря, а под самыми ногами, в лучистом мареве фонарей, проходили люди, и среди них наметчивый глаз Клепикова еще издалека распознавал женщин. И не только распознавал, но и тут же определял, какая из них могла бы доставить ему новое, еще не испытанное наслаждение. Он давно потерял веру в вечную любовь и, окруженный дешевыми женскими ласками, лениво глядел на мир, как капитан со своего мостика на изъезженную и опротивевшую донельзя реку. Он не был умен, этот Клепиков, но не был и глуп настолько, чтобы его глупость замечали другие. А в делах, ему поручаемых, Клепиков обнаруживал особую какую-то смекалистую хватку. И в партии его ценили именно за деловитость. В партии он состоял с прошлого

года, но в анкетах писал: „Участвовал в революционном движении с 1913 года". В этот 1913 год Клепиков был раскрыт губернатором, как участник майской пирушки, устроенной либеральными земцами, и отведен со службы земского техника. Был Клепиков одинок, но в его трех комнатах, оставшихся ему от отца, железнодорожного чиновника, никогда не было пусто. До революции собиралась сюда конторская молодежь, кассирши и машинистки, и многие из них заночевывали в малиновой спальне, под голубым у потолка шаром; после революции, в уютных трех комнатах, вырываясь из бездны хлопот и забот, находили себе приют молодые партийцы, и не мало летучей и дымной любви отцветало тут.

Клепиков постоял, поглядел на звезды, наглотался свежего воздуха и пошел коридором. Порою он, подрагивая икрами, останавливался у двери, тихонько открывал ее, заглядывал и направлялся к новой. Наконец он скрылся за крайней. То была небольшая комната, служившая когда-то гардеробной, а теперь сплошь уставленная никому не нужной мягкой мебелью. Из единственного окна, распахнутого настежь, вместе со свежестью вливалась сюда голубая пыль уличного фонаря, и в этом неясном сказочном свете Клепиков с трудом отыскал Кудрявцеву. Зина лежала на плюшевой софе, засунув под голову руки. При входе Клепикова она подняла голову.

— Можно? — произнес он негромко и, не ожидая ответа, прошел к софе и уселся у ног девушки. — Ух, как я устал...

— Ложись на тот вон диван и вздремни! — посоветовала она.

Голос у Зины был теплый и сонный, напоминал ребячий, еще не вполне сложившийся.

— Зачем же на диван? — отозвался он лениво. — Подвинься... В тесноте, да не в обиде!..

И осторожно, но властно положил руку на ее колено.

Она взяла его руку, отбросила.

— Ловкий какой...

При этом улыбнулась, и в неверном свете, под тонким изгибом ее губ, четко проступили белые, ровные, как на подбор, зубы.

— Пожалуйста, не мешай мне! — сказала она кротко.— Ты знаешь — в эту ночь я не смыкала глаз...

Он снова, но осторожно, как бы сам того не замечая, коснулся рукою ее колена и почувствовал (а может быть, ему так показалось) легкую дрожь под своими пальцами. Тогда внезапно опавшим баском он запел:

„Спи, младенец мой прекрасный“...

Затем, помолчав, сказал:

— Я двое суток без сна, но и в эту ночь мне не доведется!..

— Почему же? — откликнулась она еле слышно.

— Потому! Через час я должен быть на восточном секторе... Банды схлынули, но кто поручится, что они не вернутся?..

Она подняла голову.

— Знаешь что, Клепиков! Ложись здесь, а я пойду к нашим и ровно через час растолкаю тебя... Ей-богу!..

— Нет, чего там! — недовольно произнес он и, касаясь руками ее плеча, откинул девушку назад. — Я крепок, как тигр... Я могу держаться еще неделю...

— А я вот не могу! У меня близится мигрень...

— Мигрень? Какая срамота, Зинок! — игриво подхватил он и стал крепко гладить упругое ее колено. — А знаешь, отчего ты такая... невыносливая?..

— Отчего? — снова отстраняя его руку, спросила она сонным голосом.

— Оттого, что ты...

Он колебался.

— Знаю! — торопливо, как бы угадывая в его словах что-то дурное, сказала она. — Это оттого, что отец очень

меня баловал... Ты знаешь, Клепиков, мой отец уходит на работу с зарею, и так тихо, что я даже не слышу... А вечером, едва я появляюсь, укладывает меня в постель... И сам ее стелет... ей-богу!..

— Вот пустяки какие!

— Нет, верно! Отец меня очень жалеет... Мне было всего семь лет, когда умерла моя мать... Он заменил мне мать, бабушку, няньку...

Клепиков позевнул, в его больших бархатных глазах, казавшихся на бледном лице особенно глубокими, вспыхнули холодные лучики. Слова Кудрявцевой об отце, о матери не нравились ему: они как бы связывали его. Он сказал сухо:

— Папа, мама, бабушка... Ты говоришь, как купеческая дочка!..

Зина с недоумением взглянула на него и замолчала, и почти вслед он почувствовал, как близкое к нему бедро девушки опало и ослабело.

— Не хочешь, не слушай... И... иди отсюда!..

Голос ее доносился издалека. Было видно, что у нее не хватало сил, чтобы бороться с дремотою.

Он молча боком прилег на ее ноги, прислонил голову к стене и закрыл глаза. Полуоткрыв свои, Зина увидела в голубом отсвете фонаря иссиня-бледное лицо его. Что-то похожее на жалость к этому много трудившемуся человеку, щевельнулось в ее сердце. В то же время ее удивило, что у него такие необыкновенно черные и тонкие брови. Она невольно подалась ногами к стене, чтобы не мешать ему. И едва сомкнула веки, ласковая дремота охватила ее. И вот услышала милый струнный голос Мартына, но, как ни напрягалась, не могла разобрать слов. Он держал свои руки вдоль ее бедер и говорил нечто такое, что без слов наполняло все ее тело светом. И было жутко и радостно от того неиспытанного, волнующего, что шло к ней вместе с голосом Мартына.

Было страшно и грустно, как в тот день, когда мать ее лежала на столе, а она, девочка, стоя у ее ног, не могла оторвать глаз от удивительного голубого неба, простертого за окном.

„Мартын, милый! Я же люблю тебя... У тебя бледное, суровое лицо, но я люблю тебя больше себя, больше своей жизни“...

Мартын слышит ее, склоняется к ней. Его глаза сини, как дали в степи, и в них та же, что у степного простора, манящая ласка. И его руки травами обвивают ее. Его дыхание, горячее, как полуденный зной, касается ее щек.

— Нет! — проговорила она, еще не подымая тяжелых век, но уже вся настораживаясь. — Нет, не надо!..

Клепиков дышал ей в лицо порывисто и жарко. Его руки крепко сжимали ее у поясницы. Приходя в себя, она на одно мгновение ощутила острую в груди радость. Но тут же закричала:

— Уйди!

Почувствовав, что его руки, вздрогнув, безвольно отпустили ее, она смолкла, уколотая неизъяснимой печалью, и молча, ожидающе заглянула в бледное, искаженное испугом лицо его.

— Какой... противный! — прошептала она затем.

И, отстраняя его, все еще покорного и молчаливого, приподнялась, откинулась спиною к стене. Дремота исчезла, но в теле чадила усталость, непереносимо серая, старческая, и слова рассыпались на ее устах, как зола:

— Как тебе не стыдно, Клепиков... Ты, видно, привык к дешевым заработкам... Ну, вставай, пожалуйста!.. Или у тебя отнялся язык?..

Он поднялся, прошел к окну, постоял и, обернувшись, произнес злым хриповатым голосом:

— Ты так завопила... Здесь кругом люди!..

Она взглянула на него, отвернулась.

— Фу, какой ты трус, Клепиков!.. Впрочем, все мелкие воришки трусливы...

— Послушай! — перебивая ее, поднял он голос. — Ты не имеешь права...

— Ах, брось, пожалуйста! — отмахнулась она и встала на ноги, привычно оправляя платье. — Я же тебя вижу насквозь...

— Ничего ты не видишь... Раскричалась, будто посягнули на ее кошелек!..

Эти слова были так глупы и так неожиданны, что она не сразу заговорила.

— До чего ты пошл! — произнесла она наконец и вдруг, вся вспыхивая, закричала: — Уходи! Сейчас же, слышишь!..

— Не шуми, сделай милость... Иду!..

Подавшись к двери, он еще что-то добавил, но уже про себя.

Оставшись одна, Зина подошла к окну и долго глядела в темное, спокойное небо. У нее начиналась мигрень. И на сердце было противно и жутко, словно, заглянув в пропасть, она никак не могла справиться с какою-то тоскливой, дурманной тошнотою.

— Одно слово!.. — проговорил, снова появляясь на пороге, Клепиков.

Рослый, стройный, он казался теперь беспомощным и жалким.

— Можно?..

Она не отвечала, стоя к нему вполуоборот. Он продолжал почти шопотом, приближаясь к ней:

— Я прошу простить меня, Зина... У меня не было ничего дурного в помыслах... Но я мужчина... а ты... не только товарищ!.. Я давно следил за тобою... В тебе есть что-то такое... Кажется, я люблю тебя!..

Она быстро обернулась к нему и вдруг нервно рассмеялась.

— Кажется? А не кажется ли тебе, что ты... негодяй?!..

— Товарищ Кудрявцева! — предостерегающе поднял он руку.

— А что, неправда? — голос ее дрожал от гнева. — Я много слышала о тебе, Клепиков, но до сих пор старалась не верить... Теперь же...

— Да что же, наконец, случилось? — перебил он ее резко. — Что случилось, сударыня?..

— Ой, ты еще спрашиваешь?

— Да! спрашиваю... И хочу сам отвечать... Ты... ты имеешь намерение разыграть со мною сцену невинной барышни... Между тем, кто же поверит твоей невинности?..

Он во-время поймал угрожающий жест ее руки. Схватив за локоть, он с силою привлек ее к себе.

— Пусти! — бросила она, задыхаясь. — Я буду кричать...

— Кричи...

Порывистым натиском прижался он к ее рту своим. Она отбивалась, но ему удалось перехватить ее руку, и так, барахтаясь, как враги, в отчаянной схватке, оба они упали на софу. Она уже не кричала, но пальцы ее свободной руки рвали, царапали его щеки, горло. И в последний момент, чувствуя, что мускулы ее опадают и гнутся, как трава под ветром, а из глубины тела жарким ключом бьет буйная и сладостная хмель, она невнятным плачущим голосом простонала:

— Мартын!..

Клепиков отшатнулся, но ее руки, живущие сами по себе, на одну коротенькую минутку, вцепившись, держали его.

Он освободился, шагнул в сторону, едва не наступил на что-то живое и, дико вскрикнув, упал, опершись о паркет руками.

Зина не двигалась. Она не пошевелилась и потом, когда пружинистый и цепкий комок прыгнул ей на грудь

и заурчал, опахивая ее лицо пухом. Глаза ее были закрыты. Она страшилась увидеть свои руки, но и невидимые, холодея в темноте, они продолжали наполнять ее всю нестерпимым стыдом.

Клепиков встал с четверенек, огляделся, заметил старого кота и, не произнеся ни слова, направился, пошатываясь, к двери.

В коридоре было пусто, но из-за дальней двери доносился людской гам. Клепиков на цыпочках, угнув в плечи голову, прошел к черной лестнице и по ней торопливо спустился в старый липовый сад. Здесь он стал у черного корявого ствола, лицом к нему, и долго, подергивая плечом, оставался неподвижным.

Первый раз в жизни сгорал он в стыде за себя. Совесть его была чиста. Только что лишний раз он убедился, что ни одна женщина не может устоять перед его мужскою ласкою. Ведь эта девчонка была на грани... Мучило его другое: то безотчетное, нелепое и безобразное, что оторвало его от женщины, и ведь не опасность, не дуло, приставленное к виску, а всего-навсего старый кот, подвернувшийся под ноги, свалил его на четвереньки... Видела ли она это? Поняла ли, в чем дело? Конечно, видела, конечно, поняла и, конечно, никогда не простит ему... Он по-своему понимал женщин и теперь был уверен, что не за дерзость, а за этот пронзительный заячий крик его, за испуг его, за безумно-смешной псиный вид его на полу будет он презираем этой девушкой.

Он готов был плакать от злобы на себя, и если не плакал, то лишь потому, что еще более, чем себя, ненавидел Кудрявцеву.

Несколько успокоившись, Клепиков вспомнил о табаке, нащупал в кармане папиросу и, попыхивая ею, принялся вышагивать вдоль аллеи. Пахло здесь прелым листом, грибною плесенью, и было тихо, как в заброшенном овраге.

Далекое цоканье верхового по булыжнику привело его в себя. Он оправил прическу, опахнул платком лицо свое (оно еще горело) и неровным ломким шагом направился вверх по черной лестнице.

А через четверть часа, неуклюже угнувшись и прыгая в седле как большая кукла, Клепиков мчался рядом с адъютантом штаба к восточным окопам.

И на бегу зычно выкрикивал в темень:

— Жалко, удрал генерал! Но мы с ним еще посчитаемся...

Черноголовый только что отпустил товарищей и одиноко сидел в своем притихшем кабинете, когда к нему вошла Зина. Он мельком взглянул на нее, сказал улыбаясь:

— Эге-ге! А ты, кажись, храпанула?..

И вслед, прихватив ее пальцы и потянув к себе, заговорил:

— Видишь ты эту линию дороги?.. Банды свалились сюда... Связь с Боровиками прервана... Повидимому, генерал ведет свою сволочь на Липки!..

Зина невидящими глазами следила за карандашом Михаила Иваныча. Тонкие ее губы прыгали, нижнюю она прикусывала. И пальцы ее были холодны, как у мертвой.

— Понимаешь, там поезд с семьями... Ну что, если Мартын не догадается повернуть на восток?

Она стояла подле его кресла, ссутулившись, и едва ли понимала, что ей говорили.

Михаил Иваныч блеснул в лицо ей стеклами своих очков.

— Ты что это, матушка?

Она скосила глаза.

— Ничего особенного... Мигрень!..

Черноголовый неожиданно встал, взял со стола фуражку.

— Пока!

— Куда же, Михаил Иваныч?..

— В казармы... Ты слышала: эта часть, сколоченная из дезертиров, бузит!..

Зина в тревоге подалась к нему:

— Но как же с Липками, с нашим поездом?..

Он махнул рукою.

— Выберутся!..

На столе затрещал аппарат. Михаил Иваныч кивнул на него и ждал у порога. Она захватила трубку.

— Слушаю! Кто у телефона?..

Михаил Иваныч видел, как дрожала ее рука.

— Сейчас! — Она опустила трубку и умоляюще взглянула на Черноголового. — Клепиков, с восточного сектора...

Голос ее шепелявил, губы корчились, как у ребенка, которому поднесли микстуру.

— Чего ему? — не двигаясь, проговорил Михаил Иваныч.

И, наморщив туго лоб, она снова подняла трубку.

— Слушаю! Предисполкома занят... Что?.. Так! Отлично! Передам немедленно.

Она осторожно опустила трубку, поправила шнур, и пока проделывала это, держала голову низко, а нижнюю губу — прикушенной.

— Клепиков сообщает, что на восточном участке спокойно... Сторожевая охрана на месте... Что же касается себя, то он считает необходимым направиться в казармы...

— Вот это молодец! — откликнулся Михаил Иваныч. — Хвалю! Расторопный, ловкий парень, не без дарований...

У Зины сверкнуло на остриях зрачков, и пальцы ее впились в складки столового сукна.

— Очень может быть... — произнесла она негромко.

Михаил Иваныч заторопился.

— Послушай, Кудрявцева! Будет хорошо, если ты останешься здесь. Последи за телефоном. В случае какой-либо неожиданности, звони ко мне в старые казармы...

— Молодец и не без дарований...— повторила вслух Зина, когда за Черноголовым стукнула дверь.— Молодец... и не без дарований... И очень расторопный!..

Она подошла к столу, закрыла лицо руками.

И когда вновь затрещал аппарат и она поднесла к уху трубку, голос ее был крикуч и холоден.

— Слушаю! Ты, Яглом?.. Отлично... чего? Хлеб будет доставлен завтра утром... Чего?.. Нет, не раньше! Никак не раньше. Галдят? А пошли ты их... куда подальше!.. Дело революции в опасности... Терпят старики и дети... Чего? Ах, вот как! Ну, так они понюхают у нас, чем пахнет трибунал...

VIII

Поезд остановился среди степи, в версте от Липок. Была ночь, из черных степных прорех задувало; натыкаясь на досчатые стены вагонов, ветер мотался вокруг, выискивая дыры, тихонько скулил.

Мартын заглянул в окно. В темноте, среди звезд, пылал багровый бычий глаз.

— Семафор на отказе!..

Сальный огарок трепал по стенам вагона лохматые тени. Красноармеец, лежавший на скамье, вдруг сорвал шершавый свой храп и поднял из-под шинели стриженную голову. Другой уныло и недвижно стоял у двери, опершись на винтовку. Штык дырявил темноту, кровавые капли отсвечивали на острых гранях.

— В чем же, однако, дело?— произнес Туляков скрипучим, настороженным голосом.

Вдруг в затененных глазах Мартына блеснули горячие лучики. Он склонился к щеке Тулякова и защекотал ее порывистым своим дыханием.

— А что, Туляков, не угодим ли мы...

Не договорил. Ноздри его приметно вздрагивали. Туляков холодно отвернулся.

— Ну-ка, товарищ! — крикнул он в сторону армейца.— Занять свое место...

И пока, позевывая и покряхтывая, подымался тот со скамьи, Туляков вышел на площадку. Ветер сквозил тут и присвистывал.

— Идем к паровозу! — кинул Мартын, спускаясь к насыпи.

Едва оба они вступили на землю, ночь и степь навалились на них черным ветреным простором.

— Экая чертовщина! — говорил Туляков, стараясь не отставать от Мартына. — Вечные непорядки...

Паровоз, выставив под ветер горячую свою грудь, нетерпеливо отфыркивал пламенем в звездную темень.

— Посвистать, что ли? — раздался из будки голос машиниста.

— Нет! — запрокинул голову Туляков. — Нет, не надо!

Машинист молча втянул в окно голову, и тут неожиданно Мартын начал разминать ноги: он топотал о гравий, как конь, готовящийся в путь, приседал на корточки, воткнув кулаки в бока, вновь выпрямлялся и крутил, выворачивал колени.

Туляков хмуро вглядывался в темноту.

— Ну?

— Вот тебе и ну!..

Оправив пояс и нащупав в кармане браунинг, Мартын весело сказал:

— Ты, Туляков, побудь-ка здесь, а я смахаю на станцию... Идет? — и, не ожидая ответа, он крупным шагом полез в темноту.

Туляков следил за ним, пока не потерял из виду, взобрался к будке паровоза, сказал тоном приказа:

— Сигналов не надо!..

Затем он направился в сторону вагонов, откуда уже доносились тревожные женские окрики.

Оставшись один на насыпи, среди ветреного простора, Мартын почувствовал во всем теле напряженное волнение. Он огляделся, послушал и сбежал с насыпи. Тотчас же ночь охватила его и скрыла от людских глаз, если только они тут были (чудилось, что были). Он шел целиною, размеренным шагом, не глядя по сторонам, но настороженным слухом ловил каждый шорох. На одно мгновение ему представилось, что он в тайге, что за плечами у него двустволка с тяжелым зарядом, и что в кустах отсвечивает фосфор волчьих глаз. Он даже привычно зашаркал ногами (как на лыжах) и издал тот воркующий горловой звук, которому научился у крестьян-охотников:

— Ыг-г-э...

Рассмеялся.

Что такое волки в сравнении с казаками, и разве можно измерить теперешнее положение былыми опасностями в тайге на охоте!..

Он шел, запрокинув, как всегда, голову, но ноздри его необычно дрожали, и зрачки жадно отсвечивали в темноте.

Кругом было немо по-ночному, только, неустанное, где-то звенело перекати-поле, да ветер посвистывал у самого уха. Вскоре из-за голого степного холма затрепетали далекие огни, взметнулись по небу багровые крылья. Но ни единого звука не доносилось со станции.

Если там были враги, то почему же вокруг столь обычно, и не слышно даже тех шумов, которые сопутствуют военному лагерю?

Внезапно до слуха Мартына донеслось конское ржанье. Он приостановился. Буйною хмелью застучало сердце. Теперь он крался, стараясь держаться низины. Мускулы его ног напряглись, но грудь дышала вольно, и в голове,

притупляя настороженный слух, крылато бились мысли... Мысли были о городе, о Черноголовом, о победоносных толпах рабочих и о Зине Кудрявцевой — среди них. И совсем как наяву, за спиной своей Мартын слышал ликующие песни освобождения. Незримые нити тянулись от него, Мартына, к друзьям его, от этой вот страшной минуты в степи — к большим годам счастья, к будущему, еще не измеренному, к светлым, еще не исхоженным дорогам.

Что такое жизнь, если она не согревает изумленного сердца? И к чему эти долгие дни размеренного желания, если голова в бурьяне, а кровь в плесени? Если нельзя одним прыжком разорвать стеклянный день, раздуть тихие, солнечные угревы в пожарище, сложить из обычных и терпеливых слов труда безумный призыв к подвигу?

Мартын давно уже, едва ли не с отроческих лет, втайне думал, что пришел он на землю не затем только, чтобы взять свою скромную дань от жизни. Он знал, что, рано или поздно, час его пробьет, и — все вокруг поймут, наконец, какая необычайная жизнь сгорела на их глазах... Да, именно, сгорела!..

Мартын не представлял себе, что́ и как сделает он, если и впрямь на станции окажутся враги. Но он уже не колебался. Он знал, что сделает многое и не напрасно. И он рисовал себе, какой восторг охватит его друзей при первой о нем вести. О, эти жалкие банды не унесут ног, кровь, ими пролитая, окажется динамитом в его, Мартына, руках.

Обрывки горячего, захлебывающегося бреда томили Мартына.

Вот он подкрадывается к вражьему пулемету, набрасывается на стража и обращает смертоносный огонь против сонного царства казачества. Вот он, неузнанный, входит в штаб, отводит в сторону генерала, всаживает в него пулю, выбегает на платформу, стреляет в воздух и

кричит: „Спасайтесь, кто может!“ Вот он... Но нет! Все это — риск, действовать же не наверняка он, Мартын, не может.

Голова его горит, ночь укладывается у ног послушным чернобурым котенком, ветер гудит по степи сигнальными трубами.

Да, он знает, что ему делать! Он пройдет, как тень, к эшелонам врага. Отыщет там горячий, под парами, паровоз (утром банды двинутся на юг, к фронту). Проникнет на паровоз, в будку машиниста, пробудит, зажжет сознание старого рабочего и наутро, в пути, вместе с ним взлетит на воздух. Но вместе с паровозом разлетится прахом и весь вражий эшелон,—люди, артиллерия, снаряды...

Так, околдованный жаркими видениями, Мартын незаметно для себя оказался у самой станции, перед стенами длинного бревенчатого барака. Отсюда он слышал отдаленное погромыхивание вагонных цепей, чьи-то выкрики и тот ровный, глухой шум, который обычно наполняет людные вокзалы. Пахло жженым углем, маслом, ржавым железом. У ног своих Мартын нащупал в беспорядке сваленные рельсы и какие-то полуразрушенные части паровоза; все это заросло бурьяном, стыло в ночи и наполняло воздух острою гнилью давно заброшенного железа.

Мартын припал к железному вороху, прислушиваясь.

И вдруг прозвучал высокий, крикучий голос:

— Эй, бисова твоя душа, куда захилился? Товарищ Бармачук кличет...

В ответ, совсем близко, рассыпался молодой смешок.

— А, лях его возьми, твоего Бармачука! Нешто не видишь — с кралей я...

Люди некоторое время переругивались; их голоса постепенно угасли за углом барака.

Мартын вышел из своей засады. Переход от напряженного ожидания к полному покою разрядился у него

нервным смехом. Он увидел за вагоном человека и закричал ему:

— Эй, э-эй!..

Человек, справлявший свою нужду, неторопливо одернул рубаху, сделал шаг вперед, спросил:

— Чего орешь?..

Туляков стоял у своего вагона, под ветром. Вокруг было попрежнему тихо. Из вагонов никто не решался вылезть, так как был страх, что паровоз может двинуться каждую минуту. Но минуты текли, а семафор оставался закрытым. Один за другим вспыхивали вдали огни. Доносился рваный собачий лай. Степь чернела, дичала. Женщинам, выглядывавшим из вагонов, чудилось, что из темноты вот-вот откроют стрельбу: никто ведь не знал толком, в чьих руках станция. А тут еще это ничем не объяснимое поведение коменданта: Баймаков пошел вперед, на разведку, и не подавал о себе вести.

— Свинство! — говорил Уткин Арштейну, прохаживаясь с ним вдоль вагонов. — Ушел и — никаких!..

— Мальчишка! — откликался угрюмо Арштейн. — Залез в буфет и попивает чаишко! Очень мы ему нужны...

Из вагонов слышались тревожные голоса:

— Скоро, товарищи, едем?..

В небе пылал звездный костер, на земле становилось чернее, а ветер — крепче, назойливее. Подростки, выпрыгнув на насыпь, присаживались на карачки и боязливо поглядывали то в сторону черной степи, то на свой вагон — не тронулся бы.

Наконец Уткин потерял терпение.

— Безобразие! — произнес он громко и жалобно, тиская в руках полы своей накидки.

Его услышали и поддержали женщины. Они ненавидели Уткина всю дорогу, видя в нем существо более слабое и еще более напуганное, чем они сами. Но тут, волнуясь,

они готовы были итти рука об руку с кем угодно, лишь бы не молчать, не томиться в одиночку страхами.

Добрынин, заведующий наробразом, человек тяжелый, грузный, оплывающий, прошел в степь, огляделся, послушал и решил, что поезду ничего не грозит. Он постоял, достал папиросу, но закурить не решился. Скомкав папиросу, он пошел к своему вагону. Его жена Любочка стояла под насыпью, с грудным ребенком на руках. Она была много моложе Добрынина. Сошлась с ним по влечению к иному, загадочному для нее миру, и до сих пор каждое мужнино слово, слово старого революционера, было для нее откровением (ведь она всего лишь народная учительница).

— Ну, чего вытаращилась? — проворчал Добрынин, подходя к молодой женщине вплотную. — С вашей особой ровно ничего не случится... Все в порядке!..

Недвижные ресницы Любочки взмокли.

— Еня! — произнесла она едва слышно. — Если ты... если я... если я тебя компрометирую, переберись в другой вагон!..

— А поумнее чего-нибудь не скажешь?..

Он полез за новой папиросой.

Пожилая женщина Анфиса Семеновна, подруга губпродкома Синицына, высунув из вагона тяжелый, круглый живот (она ходила беременной чуть не ежегодно), с нетерпением поглядывала на Добрыниных.

Добрынин заметил, махнул ей рукой.

— Все благополучно...

Анфиса Семеновна показала ему язык и отвернулась в вагон:

— Милые! Все благополучно...

В сумрачном вагоне, освещенном коптилкою, всполошенно возились пассажирки. Одна натягивала на белобрысую и бледную девочку пальтецо, та рвалась к выходу, мать шлепала ее в спину. Старуха в ярком пестром

сарафане стояла на коленях и рывками укладывала на простыню юбки, кофточки, платки, коробочки из-под чая и еще что-то, что непослушно сползало на пол. Она всхлипывала. Чей-то встревоженный голос метался по вагону:

— Марья Петровна! Симочка! Где же мои башмаки? Груня! Ты не видала моих башмаков?..

Услышав спокойный басовитый голос Анфисы Семеновны, женщины побросали свое тряпье.

— Благополучно?!.. Так что же они среди поля стали, людей беспокоят?..

Анфиса Семеновна дернула за рукав старуху, уклюнувшуюся в узел.

— Брось, бабушка! Ничего такого...

Старуха вслушалась, закрестилась, но всхлипывать не перестала.

— Милуются! — сказала Анфиса Семеновна и мотнула наружу черноволосою, приглаженною и примасленною головой. — Голубочки!..

Та, которая искала свои башмаки, высунулась за дверь, вгляделась в темноту, горько фыркнула и, шлепая босыми ногами, пошла в угол.

— Это что же такое? — заговорила она высоким, крученым голосом. — Нашим мужикам в огне-полыме кипеть, а этому борову с молодицей кататься? Да пусть он к нам на глаза не показывается... со шлюхой со своей! Да я ему всю рожу расцарапаю... Да я и кутенка их отсюда выброшу!..

— Потише, потише, товарищ! — подал кто-то с нар голос. — Нельзя этак... Ему же разрешили!..

— Кто ему разрешил?..

— Кому полагается, тот и разрешил! Видите сами, не молоденький... И заслуги у него... Школами управляет... А жена его вовсе даже ни при чем!..

— Да ты почто в заступницы-то лезешь? — вскинулась к нарам старуха. — Ай кумою доводишься?..

Голова у нее дрожала, ревматические, в шишках, пальцы беспомощно цеплялись за нары.

В вагоне стало шумно. Неожиданно снаружи послышался охрипший, но ярый голос Уткина:

— Спокойствие! Сейчас двинемся...

И почти вслед паровоз рявкнул, буфера залязгали. Поезд тихонько, ощупью, то и дело спотыкаясь и дергая, двинулся к станции.

Станция оказалась огромною. Она вся была загромождена вагонами. Одни из них были полны пеньки и хлеба, в других возились люди. Одинокий паровоз маневрировал где-то в темноте, толкал вагоны; буфера лязгали, звенели цепи.

Двери станционного здания то и дело повизгивали и шлепали со звоном. Стекла в просторных окнах были потны, незрячи. Тени, ломаясь, осеняли извнутри матовые квадраты окон. Под длинным и узким навесом, идущим вдоль всего перрона, тускло светили три лампочки.

На вновь прибывший эшелон никто не обратил внимания, и женщины, выглядывавшие из вагонов, не знали, что с собою делать.

Наконец к паровозу прошел человек, должно быть, судя по осанке, начальник станции. Его сопровождали двое путевых рабочих и еще кто-то, ростом на целую голову выше других. Арштейн, стоявший у двери своего вагона, узнал Баймакова.

Все четверо там, у паровоза, спорили, переругивались. Вокруг собралась куча людей. Вдруг паровоз, отделившись от вагонов, поплыл вперед.

— Нас в тупик! — кричал Уткин, пробегая вдоль вагонов. — Не вылезайте! Нас в тупик...

Мартын и Туляков прошли вслед за комендантом станции в дежурную.

Здесь пахло густым людским потом, но людей не было.

— Полчаса назад в Гремячье путь был свободен! — заговорил комендант, становясь у стола. — Но ручаться нельзя!..

У него было бритое оранжевое лицо с набухшими от бессонницы глазами.

— А в городе, товарищ, как?..

— С городом никак! Никакой связи...

— Провианту мы здесь найдем? — спросил Мартын, отступая от стола.

— Кое-что, в селении!.. — отвечал комендант, усталым, привычным жестом руки делая под козырек. — А что новенького слышно из Москвы?

— Да мы, товарищ, сами ничего не знаем!.. — проговорил Туляков и подался к столу. — Еще вопрос! — сказал он, склонившись к коменданту. — Можем мы повернуть наш паровоз и держать его на магистрали?..

— Паровоз, или весь состав?..

— Хотя бы паровоз... со служебным при нем вагоном?..

— Можно... Да вы не беспокойтесь... пока все тихо... Во всяком случае, до утра ничего особого ожидать нельзя!..

— Охрана на станции есть? — поинтересовался Мартын.

Комендант махнул рукой.

— Я просил бы повернуть паровоз теперь же... — снова, но уже решительно сказал Туляков. — У нас там, понимаете ли, ценности!..

— Как угодно... Повернем!..

Тут комендант, прикрыв ладошкою рот, шумно позевнул.

— Вторую ночь без сна...— проговорил он сипло. — Придется, как-никак, прилечь!..

— Для чего тебе паровоз? — заговорил Мартын, выйдя с Туляковым на перрон.

Туляков сухо откликнулся:

— Я отвечаю за вверенную мне казну и должен принять меры!..

Они шли по перрону. Ночь катилась над станцией звездными волнами. Свежело.

— Значит, будешь стоять под парами? — спросил Мартын с нескрываемым пренебрежением в голосе.

— Мартын! — Туляков остановился. — Ты это, пожалуйста, брось! Понял? — Помолчав, он, как бы про себя, сказал: — Есть ли тут исполком и прочее?.. Надо бы узнать, слетать в поселок...

Мартын махнул рукою и пошел отыскивать свой эшелон. У вагонов кое-где светились костры. Под их багровым пламенем женщины устраивались на ночь, готовили ужин. Мартын подошел к одному из костров. Тут разместилась целая семья. Древний старик с лысиной, отсвечивающей кровью, стоял у огня и железным прутом помешивал угли. Полная женщина в пестром капоте, придерживая рукой груди, держала над огнем с помощью рогачика большую сковородку. На сковородке урчало и потрескивало. Вокруг устроились подростки с накинутыми на плечи жакетами. Крошечная девочка, с черными провалившимися щечками, жадно поглядывала на сковородку, всасывала губами слюну, говорила:

— Маруся, смотри, подгорит! Да подгорит же, тебе говорят...

Заметив Баймакова, все повернули к нему головы.

— Ну как, товарищ комендант? — спросил старик.

— Ничего! — ответил Мартын, готовясь итти дальше. — Все в порядке!..

У следующего костра он застал Уткина. Сняв свою крылатку, Уткин накидывал ее на плечи Любочки Добрыниной, та не хотела принять. В руке она держала столовую ложку; капли коричневой жижи стекали с ложки в чайник.

— Ах, да оставьте вы, пожалуйста! Мне и так жарко...

Добрынина не было. Зато были тут все остальные: и жена губпродкома Анфиса Семеновна, и ее подруга в кацавейке, и та самая старуха, которая, при остановке поезда среди степи, так зло говорила о заведующем наробразом.

На лицах женщин теплилось довольство, будто после грозовой бури добрались, наконец, в тихие, укромные и безопасные места.

Мартын шел дальше. Эти люди, с их птичьею успокоенностью, шуточками и смехом, снова начали раздражать его. Он круто свернул за вагоны и направился в сторону светящихся вдали огней. За луговиной лежал поселок. Его единственная улица погружена была в сон, но коегде еще мерцали окна, а у ворот большого кирпичного дома торчала человеческая фигура. При приближении Мартына фигура скользнула в калитку, щеколда звякнула, в глубине двора залаяли собаки.

— Эй, кто там? — крикнул Мартын, подходя ближе.

— А чего надо? — откликнулся за калиткой мужской голос.

Голос этот поразил Мартына: в нем слышались страх и злоба, и в то же время был он необыкновенно певуч и светел.

— Далеко ли до совета? — спросил возможно мягче Мартын.

— А ты кто такой будешь? — снова пропели за калиткой.

Мартын помолчал, не зная, что отвечать. Калитка полуоткрылась, в нее боком пролез человек. Огромные глаза его даже в потемках поблескивали. Человек был в исподнем, с его плеч до самой земли спускалась овчинная шуба.

— Ты кто такой? — переспросил он, держась одной рукой за калитку.

— Я, дядя, проезжий! А до совета у меня дело.

— Какое?

Этот неожиданный вопрос озадачил Мартына.

— А ты укажи-ка лучше, где он, совет ваш! — откликнулся Мартын. — Болтать мне некогда!..

Человек закашлял, сплюнул, отер рукавом бороду.

— Чудак! — пропел он. — Кто же в ночь-полночь по делам шатается? — И, помолчав, добавил: — Никого нету теперьча в совете... Да ты кто сам-то?..

Мартын объяснил. Человек покачал головою.

— Так, так... Зря подались сюда! — сказал он, на этот раз без страха и злобы.

— Почему же?

— Потому!..

И приблизившись к самому лицу Мартына, человек негромко заговорил:

— С часу на час казака ждем... У нас молодые ребята, какие были, в степя с отрядом подались... Отряд тут стоял товарища Беспалова! Слышал, может? Из матросов сам, с Невы-реки...

— А ты кто же будешь, товарищ?

— Я-то? — Человек снова взялся за калитку. — Я из простых, по мужичьему делу сижу... А что до моей должности, то она на меня в роде как по обязательству наложена... всем миром!..

Мартын не понял, но человек сунулся в калитку, калитка скрипнула, загремел засов.

Мартын постоял, послушал и пошел назад к станции. Но пройдя за околицу, он неожиданно для себя повернул в сторону, попал к обрыву с шумящей на дне речонкой, обогнул овраг и вышел в степь. Впереди, между небом и степью, на много верст залегла черная немота. И само небо, трепетавшее холодным синим жаром, было немо, угрюмо и загадочно. Мартын шел осторожно, цепко вглядываясь перед собою. Ничто не указывало на присутствие вблизи живой души. Лишь в одном месте, при повороте от холмика к перелеску, Мартыну почудился глухой шум, похожий на шум обвала. Горячая волна

возбуждения охватила его, он поник на колени и напряг слух. Но в следующий момент рассмеялся.

„Быть бы тебе, Мартын, следопытом!“

И взглянув на себя со стороны, с изумлением узнал в себе волжского отрока, крадущегося ночью, кустарником, к страшной молельне старца-удавленника.

За поселком, у самых Жегулевских лесов, стояла древняя часовенка староверья. Она была заброшена. Кто-то из стариков, будучи разбит на всенародном споре о вере, просидел у кивотов до ночи, а ночью повесился. С тех пор не только в поздний вечерний час, но и при ярком солнце обходили молельню за версту. Во вторую летнюю побывку Мартына на родине (он тогда учился в городе), парни, честясь за околицей перед красавицами, порешили биться на смелость: кто проберется ночью в молельню и засветит свечу там. Вызвался Мартын, и не из-за девичьих ласковых глаз, а единственно потому, что, представив себя ночью в молельне, сжался весь от жути и разозлился на себя за это.

Он в ту пору уже много перечитал запретного, охолодел к старым священным книгам деда и ни в бога, ни в чорта не верил. Но вот когда, в положенный час, отделившись от толпы молодежи, зашагал он в темноту, встречу стародавних тайн, сердце его немо запрыгало. Он шел в корявом ушастом кустарнике, старался не оглядываться и думал о том, что человек — господин среди мертвых вещей. Но подстерегающая темнота, молчание леса и множество переслушанных в детстве страшных россказней, вдруг теперь зазвучавших в мозгу, связывали невидимыми нитями волю. Хотелось беззаботно закричать, а сил не было. Ухо ловило каждый шлепок ветки. Роса на листьях была студена и обжигала руки. Травы упруго, как тело жизни, ворочались под подошвою. На прогалине как будто стало легче, но, сделав несколько шагов, Мартын почуял себя тут, на открытом месте, совсем

беззащитным: весь на виду, один на один с враждебно затаившейся ночью. Чтобы подбодрить себя, Мартын начал смеяться над своим страхом, но от этого голого смеха стало еще хуже; тогда, обозлившись на людей (стояли теперь оравой за околицей и жадно ожидали), он закусил губы и в несколько прыжков достиг лесной опушки. Участь молельни была решена.

В поселке ударили в набат. Но, разглядев в полыме старую, всем опротивевшую часовню, оставили колокол в покое. А наутро, за завтраком, отец, плечистый, желтобородый, с глубокими бороздами в темном лице, но все еще удивительный своей особой дикой красотою, долго и мрачно глядел на Мартына. Наглядевшись, сказал:

— В затеях ты — мать, а вершишь — по-мому!

Это походило на одобрение, кажется, единственное, когда-либо слышанное Мартыном от отца.

С тех пор прошла целая жизнь, а он, Мартын, все тот же.

Как будто между черною ночью в Жегулях и этой не было многих лет, не было Маркса, над которым просиживал Мартын долгие дни, не было революции. И как тогда, столкнувшись с мрачною ночью Жегулей, готов был Мартын одним безумным напряжением воли смять все препятствия, так и теперь вдруг захолодел он весь от ненависти к тайне этой степи.

Поискав глазами огней и не найдя их, он пошел наобум, спорым шагом, путаясь в травах, к станции.

Он почти бежал, не сгоняя с губ едкой улыбки. Он улыбался над собою, над пустячными своими затеями и думал, что лучшею наградою ему за эти его затеи могла бы оказаться какая-нибудь неожиданная беда.

Наконец, прямо перед ним всплыли из пустой темноты и смутно вычертились в остуженном и ярком от звезд небе силуэты станционных зданий. Поблекший, тонкий свет фонаря мелькнул где-то за осмуглевшими вагонами.

Обогнув главное здание, Мартын ступил на асфальт и невдалеке от себя увидел паровоз и вагон при нем. Паровоз стоял лицом к далекому городу и бесшумно дымил.

„А Туляков не зевает!“ подумал Мартын, и тут же решил: завтра с утра он подымет на ноги все живые силы, какие найдутся на станции. Надо организовать охрану, а если возможно, то и разведку. Нельзя же, в самом деле, сидеть тут, сложа руки!

Чьи-то торопливые шаги по перрону привлекли внимание Мартына. Он оглянулся. Вдали послышались звоны дверей, грохот падающего железа и шаркающий топот ног. Вслед за тем все это смолкло, и кто-то из-за амбаров хлестко закричал:

— Петров!

Мартын оказался лицом к лицу с Туляковым.

По тому, как прерывисто дышал Туляков, и по осунувшемуся его голосу Мартын почуял тревогу.

— Где пропадал? — заговорил Туляков, подхватывая Мартына под руку и таща его за собою.— В телеграфной мне только что сообщили...

Он не закончил, замер на месте, крепко сжав локоть Мартына.

— Вот!..

И тут Мартын услышал далекий гул, похожий на тяжкий железный стон приближающегося поезда.

Туляков бросился к паровозу.

IX

В этих местах, по чернозему, осень подкрадывается незаметно. Вдруг как бы что-то сдвинется в природе, и тогда воздух над городом становится прохладным и ясным, а за полями с утра до сумерок тревожно мерцают дали. До слякоти и дождей еще далеко, но по ночам в лунных просторах уже бродят серые и хмурые тучи, и там, где

долголетние липы свисают грузными своими ветвями к воротам, всю ночь слышатся тоскливые старушечьи стоны.

С тех пор, как поезд с эвакуируемыми выбрался из города, прошло не более недели, и еще не все семьи возвратились домой, и не было самого Мартына, а над городом уже заосеняло, в студеных росах рассветали утренние зори, и заречные степи дышали на закатах сизыми туманами.

Уныл и печален был в эти дни монастырский звон. Он навевал думы о долгих осенних вечерах, о душных залах с наглухо закрытыми окнами, о вонючих коридорах, о тараканьем запечье. И возвращаясь к себе в сумерках с работы, Зина Кудрявцева всякий раз с раздражением думала о том, как темна старая Россия, верующая в колокола и молитвы.

Только она, Зина, в свои девятнадцать лет, успевала замечать перемены в природе: и то, что делается за городом в степях, и то, каким стало над городом небо. Другие же все, от исполкомского курьера до Черноголового, не интересовались вовсе, идет ли на улицах дождь, или светит солнце. Они все жили под властью особой стихии, и у этой стихии было свое солнце и свои времена года. Только что в исполкоме праздновали освобождение от генеральских банд, и эти дни были более прекрасными, чем цветущий май в степях. Но вот донесения с фронта опять стали тревожными, и уже не было мая, задувало в сердце сквозняком, и мысли жалили остро и зло, как осы по осени.

Больше всего хлопот и забот было у губпродкомиссара Синицына: городские закрома стояли пустыми, в деревнях продолжалась бестолочь, хлеб собирался туго, не хватало сил, чтобы подтолкнуть по-настоящему дело продовольственной разверстки. Синицын почти не показывался дома, жена его, Анфиса Семеновна, возвратившись из Липок, готовилась к родам, старший, Сергунька, хворал

скарлатиной, — Синицын думал, что Анфиса Семеновна сумеет родить и без него, губпродкомиссара, а Сергуньке он все равно ничем не мог помочь, даже если бы и имел для того время.

Синицын дни и ночи просиживал в губпродкоме и, кажется, через каждый час бегал в исполком, к Черноголовому. И чем труднее становилось с разверсткой, тем чаще посещал он кабинет предисполкома. Окружающие начали выражать неудовольствие — и Жданов из комхоза, и Губарев из профсовета, и Добрынин из наробраза, и сам предчека Лузгин — все они понемножку ворчали на Синицына: когда не явишься к Михаилу Иванычу, а Синицын тут как тут со своими ведомостями, сводками, эстафетами. Только одна Зина Кудрявцева, самая молодая из молодых и от того самая терпеливая, без воркотни ожидала своей очереди в кабинете предисполкома, даже уступала ее губпродкомиссару, и тут обнаруживала она мудрость не по летам.

В тот день, около четырех пополудни, зашла она к Михаилу Иванычу по делу о мобилизации на продфронт. И, как почти всегда за последнюю неделю, застала здесь продкомиссара Синицына. Он стоял у кресла Черноголового, развернув на столе карту губернии, и с жаром рассказывал о маршрутах, только что им намеченных для отрядов. Зина присела в конце стола и, ожидая, любовалась Синицыным. Обычно корявое, невзрачное лицо его разгорелось буйною юностью, мышачьи глаза его сверкали.

И в самый ответственный момент, когда принялся Синицын доказывать необходимость широчайшей на этот раз мобилизации, у порога показался Мартын Баймаков.

— Можно?

Зина взглянула и, вспыхнув (вспыхнули у нее уши), приподнялась у стола. Михаил Иваныч закивал головой, и только Синицын, прерванный на полслове, горячими

невидящими глазами смотрел на дверь, и пальцы его не терпеливо прыгали по карте.

— Входи, Баймаков, входи! — говорил Михаил Иваныч, почему-то снимая очки и близоруко-туманно щурясь на Мартына. — Ну как, что? здоров?.. А тут всякие слухи были...

Он прервал себя, смешался.

— Будто бы болел ты и прочее...

Мартын неуклюже, точно связанный по рукам, опустился на стул, пробормотал что-то, захватил пальцами карандаш и, повертев им, снова встал на ноги. И краска, залившая ему лицо до самых корней волос (как это знакомо Михаилу Иванычу!), медленно сошла, сменившись бледно-землистым тоном. У Зины замерло сердце. Перед нею, не глядя на нее, стоял самый близкий, самый родной и... самый чужой ей сейчас человек.

— Здравствуй, Мартын! — не выдержав, произнесла она.

— Здравствуйте, товарищи! — обращаясь к ним обоим — и к Зине, и к Синицыну, — откликнулся Баймаков негромко.

— Ты что — прямо с дороги? — спросил Черноголовый, поглядывая то на него, то на Синицына. — Отдохнул бы... Впрочем, как хочешь... Я сейчас закончу!

— Мы уже закончили! — стараясь не глядеть на Мартына, откликнулся Синицын. — То-есть, мне кажется, что закончили... Ты ведь, Михаил Иваныч, не возражаешь?.. Тут дело такое, что если фронт продвинется...

— Нет, не возражаю! — проговорил Черноголовый, вооружаясь снова очками. — Вон у Кудрявцевой и проект готов, наш, губкомовский! Мы тебя, Синицын, опередили...

— О? Я не в обиде! — улыбнулся Синицын, все еще ни разу не взглянув на Мартына.

— Еще бы тебе быть в обиде...

Зине казалось, что Михаил Иваныч цепляется за слова, за Синицына, медлит, как бы чего-то выжидая.

Мартын нетерпеливо заговорил:

— Я к вам с докладом о событиях в Липках... И попросил бы товарища Синицына задержаться на минутку... Мне очень важно, чтобы все вы слышали меня!..

Михаил Иваныч пристально взглянул на него и медленно опустил голову, белую и радужную под солнечным лучом.

— Кое-что мы уже слышали... Может быть, ты отложил бы?..—неожиданно попросил он.

— Нет!—с испугом вскинулся Мартын.—Прошу вас всех! Это так для меня важно... Я так много пережил за это время!..

Он говорил о своем тяжелом настроении, о чести партийца, о необходимости высказать все, все... Но—заметно медлил приступить к делу. Он как бы собирался с мыслями. Глаза его, оттененные коричневыми кругами, с напряжением разглядывали что-то над головою Синицына. Пальцы продолжали тянуться к карандашу: овладевали им, отбрасывали и снова овладевали.

Михаил Иваныч взглянул на Синицына, потом на Зину. Мартын перенял этот взгляд, разгадал его.

— Да нет же, нет, Иваныч!..—воскликнул он, вдруг переходя на давно знакомое отчество Черноголового.—Товарищи должны остаться... У меня нет секретов ни от кого!..

Михаил Иваныч остро улыбнулся.

— Только не волнуйся, Мартын! Когда человек волнуется, он не может быть справедливым ни к себе, ни к людям.

Ах, этот Черноголовый! Он так любит изрекать стереотипные фразы! Зина облегченно, коротко и скрыто, по-ребячьи, вздохнула: когда Черноголовый не в духе, он не говорит афоризмами.

— Я не волнуюсь!—откликнулся Мартын несколько раздраженно.—Я уже переволновался... до конца!..

— Позволь не поверить тебе!—сказал Михаил Иваныч, отнимая у Мартына карандаш и откладывая его в сторону.—Вижу! Садись и рассказывай.

Мартын заговорил, но все время останавливался на отдельных мелких фактах, казавшихся ему, очевидно, чрезвычайно важными. Михаил Иваныч слушал, изредка поглядывая на Мартына из-под стекол. Синицын слушал исподтишка, погрузив глаза в карту, которую он совсем было свернул, но затем снова расправил на столе. А у Зины лицо было перепуганное и сконфуженное, брови ее то хмурились, то взбирались вверх дугами. Она понимала, что слишком молода и партстажем, и жизнеиным опытом, чтобы иметь право оставаться тут строгою и холодною — в роли одного из судей. А кроме того, ей было нехорошо потому, что Мартын имел растерянный вид (она привыкла представлять его другим, невозмутимым, мужественным). И еще ей не нравилось, что Синицын возится со своей картой, а Черноголовый посматривает на Мартына как-то со стороны. Зина отдала бы многое, чтобы видеть Мартына, впервые после разлуки, с глазу на глаз. Ей казалось, что, после свидания с нею, ему не пришлось бы так волноваться, сбиваться в рассказе... унижать себя перед товарищами!

Михаил Иваныч перебил Мартына:

— Лучше, если ты будешь кратким!.. Итак, когда вы с Туляковым услышали орудийные выстрелы...

— Нет! — в свою очередь перебил его Мартын. — Вначале это не походило на выстрелы... В том-то и штука! Если бы я сразу понял значение странного гула... Если бы я мог подумать...

Черноголовый снова перебил его. Товарищ Баймаков должен отказаться от деталей и, особенно, от описания того, что и как он думал. Необходимы факты, только факты!..

Мартын опустил голову. Факты! Что такое факты? Разве тогдашние его переживания не есть факты?.. Речь идет о чести партийца, о всей вообще его судьбе, о всем будущем... Можно ли, в таком случае, требовать от него

холодного протокольного изложения событий? И что такое сами эти события? По существу говоря, не было никаких событий! Были мучительные моменты, нечто такое, что крепко-накрепко связано с глубокими внутренними переживаниями, может быть, с болезнью, с кошмарами... Нет, он не может оставаться бесстрастным протоколистом! Если только это необходимо, то пусть Михаил Иваныч допросит Тулякова, красноармейцев, женщин, бывших свидетелями этого случая.

— Поверьте мне, — говорил Мартын, — здесь только отвратительное стечение обстоятельств! Случай, в который я, зная себя достаточно, никогда бы раньше не поверил...

За всеми этими сбивчивыми фразами Мартына начинало проступать что-то более скандальное, чем Черноголовый предполагал. Неужели, — думал он, — эти настойчивые разговоры, эти слухи, доходившие до него в последние дни, имеют под собою почву?

„В ту минуту, — писал Михаил Иваныч несколькими часами позже в старой своей потрепанной тетради, — я начал понимать, что бедняга запутался безнадежно. Слушая его, я не жалел времени, но меня, как это ни странно, обескураживало присутствие двух товарищей. Они не были чужими, но тут такая история, о которой, по-человечески говоря, нельзя было слушать сразу же в официальной обстановке, да еще втроем! Я пытался отпустить свидетелей, но Мартын решительно противился. Он как бы даже считал за оскорбление возможность какой-либо с моей стороны потачки. А между тем, я знал этого юношу давно, с первых шагов его сознательной жизни... Я считал его всегда натурою глубокою, безупречно-честною! Правда, в прошлом он имел кое-какие дикости, но достаточно было теперь взглянуть на него, вслушаться в его горячечную речь, чтобы уже не сомневаться, что тут перед нами не простая выходка, не больное воображение молодого самолюбия“.

Привычку излагать на бумаге о пережитом Михаил Иваныч приобрел в годы одиночества, тюрем, ссылок. Но почти всегда в записках своих он был лаконичен, и только особым его отношением к Мартыну объяснялась эта многоречивая запись. Он писал:

„Рассказывая нам о происшествии в Липках, Мартын, повидимому, пытался прежде всего раскрыть психологическую подоплеку своего поступка, но это ему не удавалось. И этому мешал я. Я не хотел и не мог допустить, чтобы его излияния тогда, в присутствии партийных работников, приняли характер истерики... Я знал, что он сам станет потом раскаиваться. Кроме того, это не только не облегчило бы ему его состояния и не только не разъяснило бы самого дела, но окончательно сбило бы с толку и его и нас“.

Обращаясь к Кудрявцевой, Черноголовый с учтивой улыбкой указал на Мартына.

— Ты понимаешь что-нибудь у этого хлопца?..

При обращении к ней, именно к ней, а не к Синицыну, сидевшему ближе, Зина смутилась. Ей вообще было не по себе. Она решительно не могла переносить жалкого вида у этого плечистого, рослого волжского богатыря.

Она сказала негромко, запинаясь:

— Мне кажется, что товарищу Баймакову надо отложить свой доклад хотя бы... до завтра!..

Мартын с хмурым упреком взглянул на нее, но Михаил Иваныч, продолжая непринужденно улыбаться, поднял руку:

— Кудрявцева права! Молодость всегда права, а порою и более мудра, чем...

Он не подобрал конца для своего изречения. У Мартына в глазах выступили слезы, и все поняли, что это у него от крайней горечи.

— Ты, пожалуйста, не подозревай чего-нибудь такого! — поспешил оправдаться Михаил Иваныч. — У нас, видишь ты, неотложные дела... А твое дело уже пережито, и оно

обождет до завтра... Иди, голубь, отдохни, сосни и прочее...

Мартын помолчал.

— Отлично! — воскликнул он. — Ты прав! Мое дело не настолько важно, чтобы в нем разбираться немедля! Пока, товарищи...

И, не оглядываясь, вышел. На губах Михаила Иваныча стыла улыбка. Зина украдкой следила за дюжей спиной Мартына, пока тот не скрылся.

— На чем мы остановились, Синицын?..

Синицын сказал: „Мы кончили“, и попробовал заговорить о Мартыне, начав с того, что жена, Анфиса Семеновна, недавно возвратившаяся из Липок, передавала ему об этом человеке такие вещи, что... Черноголовый резко прервал его:

— Оставь, Синицын! Мы имеем возможность слышать об этой истории из первых уст...

Выбежав из исполкома, Мартын крупным шагом направился вдоль улицы. Голова его, как всегда, была слегка запрокинута. Губы крепко сжаты. Глаза холодно и пристально вглядывались в даль. Светило солнце в белесом сентябрьском небе, улицы были сухи и звонки, армейские кухни, проезжая стороною, слышны были на весь город.

Когда, вслед за Мартыном, ушел Синицын, и наступила очередь Зины, Михаил Иваныч пытливо заглянул ей в глаза, но ничего не сказал. Слушал он рассеянно и нетерпеливо барабанил пальцами по столу. Вдруг, перерывая беседу, взял он телефонную трубку.

— Может быть, окончим? — подымаясь, предложила Зина.

И он поспешил согласиться:

— Да, родненькая! Дело твое яснее ясного.

Зина направилась к выходу. Она шла сутуло, что было у нее всегда, когда чувствовала себя неловко. В коридорах, через которые только что прошел Мартын, она

встретила на себе глаза многих людей. Но Баймаков с холодным вызовом принял эти взгляды, а Зина, неведомо почему, потупилась. И один из толкавшихся здесь пошел следом за нею. Она слышала позади себя шаги, но не оглядывалась, пока, наконец, ее не окликнули:

— Товарищ Кудрявцева! На одну минутку.

Она сразу узнала голос Клепикова и торопливо отпихнула дверь. Он настиг ее за порогом.

— Мне надо кое-что сказать тебе, Кудрявцева...

Она подняла голову и с нескрываемою брезгливостью взглянула на него.

— Отваливай, Клепиков... Но!..

Глядела на него, ожидая исполнения своего приказа, и медленно от шеи к подбородку и дальше — по смуглым овальным щекам ее разливался жар. Вспыхнули и нахмурились серые ее глаза, и губы распались, показывая злобно настороженные зубы. Клепиков решительно подался к ней.

— Какая ты... красавица, Зина! — проговорил он с неподдельным изумлением.

Как все не владеющие собою, привыкшие удовлетворять свои желания во что бы то ни стало, он и тут готов был сделать все, чтобы завоевать расположение девушки. Он готов был пойти на любую уступку и даже унижение, лишь бы задержать ее подле, лишь бы пойти с нею, взять ее под руку, увести за город, в степь... Теперь же, немедленно!

Он стоял на пути, как цепкий куст бурьяна: его надо было оттолкнуть, пригнуть к земле подошвою, или — обойти. И, не произнося ни слова, Зина повернула на мостовую, на ту сторону улицы. Клепиков поколебался, но не выдержал, двинулся вслед. Он догнал ее у решетки сквера. Под ногами, на панели, шуршали пожелкнувшие листья клена; ветер, высвобождаясь из-под тенет все еще жаркого и нелегкого солнца, подхватывал листья, гнал их к чугунной решетке, укладывал вокруг стопками.

Слыша за собою Клепикова, Зина круто обернулась.

— Если ты не оставишь меня в покое... — начала она и запрокинула голову.

Кепка съехала у нее на затылок; волосы пушистыми прядями падали на круглый лоб; около рта образовались дрожащие складочки. Как бы защищаясь, она подняла перед собою затасканный холщевый портфель.

— Ну, что тебе?

Клепиков сделал шаг дальше.

— Идем, Кудрявцева, у меня дело!

И когда, повинуясь безотчетной тревоге матери, у которой не все благополучно в семье, Зина пошла с ним рядом, он, не глядя на нее, заговорил воркующим и почти печальным голосом:

— Я хотел поделиться с тобою некоторыми своими впечатлениями... Только что встретил Баймакова! Этот товарищ внушал мне всегда глубокое чувство! Мне всегда казалось, что Баймаков — большой, незаурядный человек! Он еще очень молод, но его ум, искренность, воля уже теперь говорят о себе...

Голос Клепикова креп, на бледной его щеке, обращенной к Зине, заиграл румянец, в глазах, когда он заглядывал ей в лицо, светилось восхищение. Он продолжал:

— И этому человеку, Кудрявцева, сейчас, несомненно, грозит беда! Ты еще не знаешь всего, что стряслось с ним, но ты только послушай, о чем болтают вокруг его доброго имени... Ты только послушай!..

Она резко, не поднимая головы, откликнулась:

— Не слушала и слушать не буду!

— Ну, да! ну, да! — подхватил Клепиков. — Я сам не придаю значения... Тем не менее, всяким сплетиям имеется предел, а тут говорят старики, женщины, дети... все, кто был с ним тогда в злосчастном поезде!..

— И больше всех, конечно, товарищ Уткин и товарищ Арштейн?.. Это я слышала...

— Да, и Арштейн, и Уткин! Может быть, они — особенно усердно.

— Но ведь этот Уткин... Он же такой жалкий!.. — не выдержав, заволновалась Зина.

— Больной и жалкий! — подтвердил он, незаметно усмехаясь. — Но его болезнь нисколько не мешает ему говорить о вещах самых ужасных...

Он замолчал, ожидая, косясь на нее.

— Мне кажется, — произнесла она негромко, — почему-то мне кажется, что, в действительности, ничего ужасного не было!..

Теперь она взглянула на него просто, но чуть-чуть с тревогой, готовая принять всякое новое его замечание, но не замечая его самого, как бы вовсе забыв о нем.

И по этому ее взгляду, безразличному и холодному, Клепиков понял, что не существует для нее, и что если она и говорит с ним, то вовсе не ради него.

Он потрогал языком извнутри щеку и поднял глаза.

— Понятие ужасного относительно для нас, марксистов! Что такое две—три раненых женщины? Однако, понятие чести, классовой, партийной, близко нам всем!..

Она насторожилась.

— То-есть?..

Он придержал свой шаг, заставил ее сделать то же и слегка склонился к ней. Теперь его бархатные глаза, казалось, отливали ворсом, зубы были в оскале.

— О, я не так глуп, товарищ Кудрявцева, как вы полагаете... Может быть, я даже умнее многих! Поняли?.. И все! И точка... Желаю наилучшего!..

Он приподнял фуражку, повернул назад. И только отойдя на некоторое расстояние, оглянулся, охватил фигуру девушки с ног до головы, замедлил шаг, еще оглянулся и выругался, с досадой щелкнув пальцами.

Зина почти бежала, раскрасневшаяся дотемна, с глазами более злыми, чем у Анфисы Семеновны, супруги губпродкомиссара, вечно недовольной жизнью.

Этот Клепиков, этот удивительный человек, второй раз, безнаказанно для себя, коснулся ее и — как!..

Что же такое, в конце концов, представляет собой она? Не кроется ли в ней какой-то темный недуг, какие-то заведомо извращенные инстинкты? Этот вечер в исполкоме, на софе, когда она впервые почувствовала себя отвратительною, гадкою, ненавистною! И теперь, после всего, что тогда позволил себе Клепиков, она слушала его, вникала в его слова, готова была верить ему! Правда, речь касалась Мартына (для Мартына она готова была терпеть). Но где же ее рассудок, где ее чутье, то простое, примитивное, которое позволяет людям по одному самому легкому запаху отличать искренность от лицемерия... А ведь в этом Клепикове все человеческое смердит! И она его слушала... Грубым, фальшивым напевом он подманул ее к себе, как глупую перепелку! Нет, ей следует решительно заняться собою. Так дальше невозможно! Такая, она не достойна ни партии, ни... его, Мартына!..

Но что же такое случилось с ним, с Мартыном? О чем говорил, на что намекал Клепиков? О какой чести разглагольствовал он (это он-то о чести!), и что вообще надо людям от Мартына? Почему, с какой стати перешептываются в коридорах? Неужели в том, что она слышала через третьих лиц, есть хоть какая-нибудь доля правды?..

Она торопливо шла бульваром, не замечая окружающего и уже не думая о Клепикове. Все в ней сосредоточено было на Мартыне, и совсем маленькими, ничтожными казались ей личные ее горести.

X

О наших героических годах расскажут в будущем, несомненно, много торжественного и чудесного. Но старики, участники этих лет, не узнают себя в песнях молодежи. Только немногие строфы, неудавшиеся поэтам, дойдут до старого сердца. И по этим незадачливым, серым строфам, зараженным воробьиною жадностью, только по ним припомнят старики давнюю свою явь. Припомнят свое маленькое человеческое горе и свои незабываемые надежды на счастье — простое, как праздничный ситец на плечах ребенка.

И не узнают, не узнают они себя на червонных страницах истории. Разведут руками, как над неудавшимся пасьянсом, и обида смочит глаза их: отнята у старой памяти последняя вешка, принижено гордое сознание, обесчеловечено высокое терпение!

Ну, дивно ли драться на баррикадах, если с парадною песнею? Если нет никаких сомнений, если зовы жизни перегорели? Если — вышел, как богатырь, решил, как математик, взглянул в глаза смерти, отдался ей и — победил?..

Земля безгрешная, населенная неподкупными рыцарями! Не ты ли поворачиваешь бока свои то на восток, к юному солнцу, то на запад, во мрак вечерний? И не из миллиона ли семян, развеянных по тебе ветрами, только одно всходит и защищает себя до полной зрелости?.. Почему же не видят тебя, земля, какая ты есть? И почему вырывают тебя из-под ног героя? И почему украшают его, героя, бумажными розами, в руки ему вкладывают бестрепетный меч и сердце его человеческое подменивают львиным?..

Ах, эти поэты, питающиеся героями! Они не видят маленьких людей на большом деле и принижают это дело до своих многосильных героев.

Ой, богатыри вы звездоалые, не верьте поэтам! Оттого вы и богатыри, что — малые, что тянулись за вами проклятья прошлого, опутывали вас дурманом седые века, падали вы и — поднимались: за пятьсот лет жили одним днем и из всех смертных грехов не знали только одного — не оглядывались назад вы, как жена Лота.

Так, или почти так, думал Черноголовый, возвращаясь во втором часу ночи с заседания губкома. И почти так в потрепанную свою тетрадь записал он, ворочая в мозгу перед сном весь этот минувший день: фронтовая пехота, чекисты, люди от станка и многие другие, большие и малые, босоногие, завистливые и жадные, как шакалы, более страшные, чем древние праведники.

Мобилизация на продфронт, осенняя, вторая в этом году, была решена.

Черноголовый еще спал (заснул он на заре), а Зина Кудрявцева уже металась в губкоме от телефона к телефону. И только к полудню, покончив с оповещением, вспомнила она, что голодна до чорта, достала припрятанный кусок овсяного хлеба и опустилась в огромное мягкое кресло. Она проворно, до боли в салазках, прожевывала этот кусок и не могла оторвать глаз от старого липового сада за открытыми дверями балкона. Пустая аллея, опрысканная яркими осенними листьями, походила на старую деву в румянах, в пудре, но над полуоголенными ветвями голубело молодое небо. Было что-то загадочное и тревожное в этой умирающей пестрой аллее и в этом беззаботном, неувядаемом небе. Зина подобрала с колен последние крошки, встала и еще раз начала проверять список мобилизованных. Кажется, никого не пропустила, позвонила всем. Но что делается с Мартыном, почему второй день не показывается он на люди, и почему Михаил Иваныч вычеркнул его имя из списка?..

В дальних залах затянули „Дубинушку“. Зина встала, прикрыла плотнее дверь, взялась снова за трубку

телефона, чтобы позвонить к Черноголовому, но вспомнила, что Михаил Иваныч должен был по срочному делу выехать в уезд. Отложив трубку и не зная, что делать с собою в этот пустой, безлюдный час, она подошла к зеркалу. В холодном и сумрачном просторе встала высокая темная фигура девушки, с плечами, несмело округленными. Отходя прочь, Зина поймала в зеркале круглый и выпуклый свой лоб (он ей нравился) и глаза свои, наполненные стыдливостью (глаза ей не нравились: ей хотелось бы иметь суровые, проницательные глаза). Склонившись к столу, к бумагам, она опять, помимо желания, принялась думать о Мартыне. Томительная тревога обволакивала ее сердце, и мысли липли, подобно кусачим осенним мухам. Как всегда, когда в чем-нибудь упрекала себя, она поднесла палец ко рту и прихватила его зубами. Но — палец заныл, а сердце продолжало биться тревожно и часто. И она обрадовалась, когда в комнату вошел первый из мобилизованных. Он явился прежде всех, этот Упит, по-обычному хмурый, но вежливый в каждом своем движении. Он был белокур, его вьющиеся кудри опутывали широкий лоб, как спелый хмель — белую стену. Молча присел человек этот у стола и вопросительно поднял свои необыкновенно свежие, голубые глаза. И почему-то не сразу заговорила приготовившаяся к сухой и краткой беседе Кудрявцева.

Упит не выдержал.

— У меня в совнархозе дела! — произнес он негромко. — Зачем звала?..

Говорил он с акцентом, слегка картавя, и оттого казался большим ребенком.

Зина объяснила.

Упит опустил глаза, на бритых его щеках вспыхнул рваный, цвета клюквы, румянец. Зина отвернулась. Она знала, что за спиной Упита — жена, двое ребят, подросток-сестренка, а там, в уезде, его ожидают деревенские сполохи, бандитизм, быть может, смерть.

— Скольких забрали? — спросил он, не поднимая глаз.

— Пока — семнадцать!

Он помолчал.

— А губком о моем семействе информацию имеет?

— Да, Упит! Но что ты хочешь сказать?..

Он поднял голову и одно мгновение глядел на Кудрявцеву глазами подстреленного волка. Потом, поправив сползавшую на затылок кожаную фуражку, равнодушно спросил:

— Кому я должен сдать дела?

— По усмотрению вашей коллегии, товарищ!

— М-да... Придется сдать Клепикову.

У Зины холодно дрогнули глаза.

— Клепиков в числе мобилизованных!

Вдруг по истомленному лицу Упита разлилась улыбка, и Зина поняла, какими чудесными были когда-то у этого человека глаза.

— Хорошо, я еду! — проговорил он, протягивая Зине руку. — Упит всегда знал свои обязанности... Прощай!..

Едва он успел выйти, в кабинет влетел, хлопнув за собою дверью, Повалишин — из губздравотдела, тщедушный и вертлявый, как белка, с очень высоким, покатым, как бы срезанным лбом и очень маленькими, девическими руками.

Он присел на кончик кресла и заговорил, поглядывая умными смеющимися глазками на сторону.

— Товарищи! Это же невозможно! На мне половина отдела! И мы только что начали разворачивать работу... Наконец, еще не прошло и полгода, как я выбрался из уезда... Несправедливо, нецелесообразно, глупо!..

У Зины сузились глаза, и острые усмешливые завитушки ее губ распрямились, отчего рот ее вдруг состарился.

— Повалишин! В чем дело? Я еще ничего не сказала тебе...

— Знаю!— махнул он своею розовою ручкою.— Все знаю, палач мой! Но надо же разбираться, товарищи! Ведь есть же у нас люди... совсем без дела?!..

— Повалишин!— остановила она его.— Губкому лучше знать, кто и что делает...

— Ой, знает ли?— вскочил он с кресла.— Если бы знал, то не отваживался бы беспокоить занятых по горло... Да, да! Ты, пожалуйста, не гримасничай... Мы ведь тоже не лыком шиты и кое-что видим!..

— Товарищ!..— снова подняла она голос.— Брось ты свои разглагольствования... Это же, в конце концов, недостойно партийца...

Он взглянул на нее острыми, умными глазками и внезапно рассмеялся. И, не переставая смеяться, подбежал к креслу, присел, потер пальцами переносицу, сказал хлипким от смеха голосом:

— Значит, ехать? Ехать, ехать... „Поехали!“ — сказал попугай, когда кошка тащила его за хвост из клетки...

— Над кем смеешься?— еще раз спросила его Зина.— Над собой?

— Над собой, Кудрявцева... Только над собой!..

И он выпрыгнул из кресла, забежал с другой стороны стола, встал на цыпочки.

— Я обженился, Кудрявцева! И, кажется, буду отцом... И, кажется, готов сбеситься от вашей затеи выкурить меня в столь критический для меня момент! Слушай, друг!— Он взобрался, присел на стол.— А нельзя ли, в самом деле, кем-нибудь меня подменить... а?.. Ты понимаешь, такие обстоятельства, такие необычные дела: здравотдел, жена, будущий ребенок!..

Он опять залился смешком, проворным и едким.

— Не ломай шута, Повалишин!— вышла из себя Зина.

— Я? Шута?! Нисколько! У меня душа болит, Кудрявцева, и... трещит шкура!.. Я ведь шкурник, Кудрявцева!

Этого-то вы, губкомовцы, и не досмотрели... Хе-хе-хе... Что?..

— Довольно...

— Не желаете... терять... времени?

— Не желаю терять... тебя!..

— Врешь! Если бы ты не желала, то сочувствовала бы... Ты что думаешь? Я ведь обязательно пропаду в этот раз! Я это очень хорошо знаю... И я зол, как бес... Зол на себя, прежде всего! О, если бы в свое время Повалишин не покинул медицинского факультета, Кудрявцева не видала бы его теперь и — не командовала бы им! Я был бы за Троцким... в лазаретах... понимаешь? — Он потряс рукою. — Жена моя тоже медичка... Жаль, что ты, Кудрявцева, не знаешь ее... Она беспартийная... Но на меня, представь, совсем не похожа... Рвалась все время на фронт, в бой, в лазареты... Влюблена в красную звезду, в Троцкого и в меня, революционера... А я вот возьму и брошу, назло всем вам, революцию... Заявлю кратко: „Не желаю быть мобилизованным!“ И — капут... А рожу-то все же не корчь, Кудрявцева!..

— Опротивело слушать!

— А ты все же не корчь! Наберись терпения... Впрочем, чорт и леший с тобою!.. Когда выезжать, гражданка?..

— Послезавтра, Повалишин!

— О, еще целый день — целая вечность! Значит, беспрекословно, а?..

Зина молча покусывала губы.

— А если наша коллегия всем сонмом, всем синклитом возбудит ходатайство?

— Что ж! Коллегия получит выговор, а ты все же поедешь.

— Кудрявцева! Когда ты успела научиться такому тону?..

— Повалишин! Когда ты отучишься от своего?..

Вдруг он сполз со стола и начал бегать от угла к углу, постепенно замедляя шаг. И совсем медленно подошел в последний раз к столу, протянул руку.

— Прощай, Марат в юбке!..

В острых, умных глазках его светилась прозрачная детская печаль.

— Не сердись! Противился и буду противиться всякому заговору против моей божественной личности... Ибо я — потомственный почетный интеллигент... Существо высшее, сложное, лишенное слепых инстинктов классового самосохранения... Запиши это у себя в альбоме!.. Verba volant, scripta manent...

Зина проводила его глазами до самого порога, и как только скрылся он, чувство нестерпимой тревоги охватило ее.

Она склонилась, облокотившись на стол, к аппарату.

— Дайте чека! Дайте кабинет председателя. Лузгин, ты? Прости за беспокойство... Что слышно из уездов?..

Двое, ввалившись в кабинет, молчаливые, но шумные (гремели сапоги, хрипел кашель, скрипели кожухи), прервали ее беседу по телефону.

Оба, по очереди, протянули ей негнущиеся наждачные руки, сняли, как по команде, фуражки и сели у стола, один против другого.

Были они в ветхих заржавленных кожухах, лица их, обветренные угольным жаром, казались тяжелыми и неповоротливыми. И неповоротливою была их улыбка.

— Ну, девка, излагай!— сказал один и подмигнул другому.— Зачем кликала?..

Она начала объяснять, а они все улыбались, и улыбка их наливалась бесслезною растерянностью, застывала на лицах толчками, грядками.

Один был бритый, другой — в сивых космах, стремившихся потоками на грудь. Бритый, с непривычки к

голому своему подбородку, гладил дрожащими пальцами кончик хрящеватого носа.

— Так! — сказал волосатый, вспотел и отвернулся.

— Такеи-то дела! — проговорил бритый, роняя руку на край стола.

Зине стало тягостно. Странное ощущение неловкости запеленало ей язык. Преодолев себя, она сказала:

— Ничего, товарищи! Это — не надолго... Самое большее на полтора—два месяца!

Волосатый с недоумением вскинул на нее глаза, желтые, в темных крапинках.

— Чего? Вот чудачка! Да нам хоть на год... абы баб наших кормили бы!..

— А при бабах — ребят! — досказал бритый.

Зина обрадовалась.

— А как же иначе? — воскликнула она. — Ваши пайки останутся семьям... Обязательно!..

Волосатый кивнул головою.

— Что полагается, то полагается! — сказал бритый и поднес к подбородку дрожащие пальцы. — Это мы знаем... — Он встал и опустил руку на стол. — Тут дело не в пайках... Жалованье как?

Зина обиделась.

— Товарищи! Это же язык торговли... Совестно!..

— Кому совестно, тот отвернись! — произнес бородач спокойно. — Заявку-то куда подавать?..

— О чем?..

— Насчет жалованья!

Зина вспыхнула.

— Пора бы знать, что никаких заявок не требуется... Содержание во всех таких случаях остается за вами!..

— А ты не распадайся! — заметил бритый. — Мы люди простые... Опять же долгов у нас за Республикой много... Весною-то кто с Баймаковым по деревням рыскал? Мы! Иван Байдученко да Петр Пятачок... Забыла?..

— Позвольте, товарищи!— вскинулась Зина.— Да разве вы уже ходили по мобилизации?..

— И ходили, и ездили, и на животах ползали! — Бритый снова подмигнул бородачу.— Все было... А как явились обратно, бабы нас — за это место: „Что ж вы, сукины сыны, обманывали? Мы тут за два месяца ни единой полушки не получили".

Бородач ухмыльнулся.

— Ну, это зря, Ваня... Не получали-то из-за фронта: подвоза кредиток не было!..

— Да вить и посейчас не получили!— огрызнулся бритый.

— Стой-постой! А намеднись кто у кассы стоял?..

— Так вить то̀ за текущий месяц!..

— А не все ли едино, за какой?..

— Позвольте, позвольте! — перебила их Зина.— Тут какое-то недоразумение... Если вы уже подвергались мобилизации, то можно было бы поискать...

Бритый сощурился.

— Ищи, не ищи — лучше не найдешь!— совсем весело сказал он.— Список-то кто составлял?..

— С утверждения губкома!

— Знаю, что губкома... А Михайло Иваныч при этом деле был?..

— Был.

— То-то и есть! А Михайло Иваныч нас обоих, как облупленных, знает... И никакого тебе недоразумения тут нету!

Бородач махнул рукой.

— Недоразумение!— протянул он.— Михайло Иваныч нам по имени-отцу родня... Доверяет, вот и вписал!.. Поняла?..

— Губком, товарищи, всем партийцам доверяет...

— Всем-то всем, а кому на особицу!— наставительно заметил бритый.— А насчет жалованья, так ты ноздрю-то

не дери... Для порядку сказано... На своих на двоих отправимся али конными?..

Зина не знала.

— Об этом, товарищи, в губпродкоме сговоритесь...

— С Синицыным?— Бородач махнул рукою.— Значит, пешими!..

— Э, брось ты!— одернул его бритый.— Нашел о чем толковать... Нам только бы до первого селения довалиться...

— И то верно! Мужичок, товарищ Кудрявцева, как завидит нас, так в тую же минуту лошадей в упряжь: „Садись да кати с глаз долой!..“

Они переглянулись и захихикали, при чем бритый закрыл пригоршнею рот.

— Нас, товарищ, на трех тройках тыщу верст мчать будут, только бы по закромам не шарили...

— Это вот и есть... Ну, пошли, что ли?

— Пошли, Пятачок! Прощай, товарищ Кудрявцева! Гляди — насчет семей без обману чтобы...

— Космы повыдерем, ежели опять надуете...

И, туго улыбаясь, погромыхивая тяжелыми подошвами, тронулись оба к выходу.

Но тот, кто никак не мог привыкнуть к голому своему подбородку и все ощупывал его пальцами, остановился.

— Кого во главе-то шлете?— придерживая за полу товарища, обернулся он к Зине.— Баймакова опять, али другого кого?..

Вопрос был задан деловым спокойным тоном, но Зина, неожиданно для себя, взволновалась.

— Не знаю, право!— проговорила она, кося глазами и краснея.— Кажется, Баймаков... болен, товарищи!..

— Да что ты!— подался вперед бородач.— Ай где „голодный“ схватил?..

— Вот это худо!— откликнулся бритый.— С Баймаковым мы о ту пору шибко сладились... Пареиь такой;

в роде как у огня стоишь — знай, с боку на бок поворачивайся!..

— Найдутся люди! — неопределенно заметила Зина. — Постарше сыщем... с опытом!..

— Хы! — ухмыльнулся бородатый. — Тут, товарищ, опыт короткий... Тут, главное, установка нужна... Чтобы человек двумя ногами на грунте держался, а не то чтобы — вкось... Мы вот с Ванюшкою на сорок лет от мамкиной титьки ушли, а не будь тогда с нами в отряде Баймакова, не миновать бы нам кулацких вил... Верно, Иван?..

— Э, что говорить! — махнул, отнимая от подбородка руку, бритый. — Я тебе, товарищ Кудрявцева, такой случай передам... Вон он знает! Помнишь, Пятак, как мы с матросом в Нижней Ведуге по яичному делу крутились? Эге-ге! Такая могла быть нам спираль в задницу, что и ног своих не унесли бы... Только и спаслись, что через ухватку Баймакова!..

— Ладно, идем! — перебил его Петр Пятачок, бородатый. — У ней, окромя нас, дела есть...

— Нет, ничего! — торопливо откликнулась Зина. — Всех дел не переделаешь! А Баймаков действительно хороший товарищ!

— Хороший? — опять ухмыльнулся бритый. — Не то что хороший, а если по-настоящему говорить, правильный человек!.. Об том, к примеру, случае... Матрос Пашка — балтийского флота кавалер, а ума в нем на куренка! Собрали это мы в Ведуге среди кулачья зерна из запасов, а ему — яиц подай... Яичное, конечно, место, и для лазарета яйцо — первое дело... Ну, он и пошел в обход!.. А об том, дьявол, не подумал, что нам с яичным делом и возиться-то не пристало... Вот ладно!.. Сидим это мы поздно вечером в избе предсельсовета и в ус не дуем... Только вдруг слышим — крик... Такой крик, в роде как свинью режут!.. Выскочили мы, а на улице — бабья метелица, а середь той метелицы наш балтийский кавалер

вертится, орет, миноноскою в сугробы норовит... Мы, конечно, на помощь!.. Отбили дурака, а тут, глядь-поглядь, мужики летят... И откуда только взялись: видимо-невидимо и при вооружении обиходном... Ну, думаем, капут! Двенадцать нас душ и при винтовках, а как глянули — поджилки заныли: избу нашу в роде как тучей охватило... Тут вот, понимаешь, Баймаков себя и оказал! „Эй,— кричит,— живо во двор, со двора в огороды!..— Это он нам.—Ждать меня у перелесья!..“ Ну мы, конечно, кувырком! Об нем у нас даже и мысли не было... А он, понимаешь, на улицу к мужикам и — пошел глотку драть, обихаживать... Он с ними поперек да вдоль, в прятки со смертью играет, а мы тем временем один за другим в огороды, с огородов — в поле... Собрались у перелеска, ждем... А ночь на дворе!.. Пять минут прошло — нет Баймакова. Десять прошло — нет... Забрала тут нас совесть!..

— Тринадцать душ нас, а он как перст!— заметил Пятачок.— И ружьишко его в переполохе матросня стащил... В мирное-то время матрос, вишь ты, с бомбою хаживал!..

— Забрала нас совесть!..— продолжал бритый, Иван.— И страшно, конечно, а совесть грызет... Друг на друга глядеть тошно... Об себе скажу: не рад был, что от мужиков спасся!..

— Совесть, она кусачая!— вставил Пятачок.— Такое бывает, что и жизни не рад...

— Стоим мы, на манер овец, у перелеска...— продолжал Иван, бритый,— и уж промеж себя раздор заводим... Один на другого спирает, один другого попрекает...

— Это завсегда так!— снова не утерпел бородатый.— Семеро повинных одного безвинно-виноватого ищут... Волчья правда!..

— И уж совсем было тронулись мы к деревне, а тут, глядь-поглядь... ах ты... матери твоей красно яблочко! Сам наш Мартын Палыч, собственною своей персоной, не торопясь шествует... Тут мы его и полюбили!..

— Правда, что ли, болен-то?—круто оборвав себя, спросил бритый.— В больнице лежит, али на дому?

У Зины влажные посверкивали глаза, и уж не было румянца на ее щеках. Бледная стояла перед Петром и Иваном, закинув за спину руки, полуоткрыв насторожившийся рот, готовая слушать рассказ, как самую удивительную песню. И вопрос бритого о болезни Мартына, о больнице не сразу дошел к ней.

— Нет, товарищи, не в больнице он...

Оба, бородатый и бритый, некоторое время подозрительно глядели на нее. Потом Петр Пятачок, трогая свою сосулистую бороду, сказал:

— Ну-к что ж... Будем живы — увидимся!.. А бороду свою, Ванюшка, я того... Ну ее к идолу! Одно неудобство, особенно, когда в отряде, при боевом положении...

— Да и бабе не за что будет уцепиться! Моя, вон, ручкою-то цап-царап, а мне хоть бы что: не то по лицу, не то по энтому месту...

— Нет ей, значит, настоящего прикладу!..

И улыбчиво переглянувшись, повернули, туго ступая, к выходу.

— Прощай, товарищ Кудрявцева! Жди от нас подарку... калачом сдобным!..

Зина помахала им вслед рукою, и в эту минуту (еще погромыхивали на пороге тяжелые подошвы) требовательно и резко зазвонил телефон.

Думая о своем, устремив невидящий взор к старому липовому саду, взяла она трубку.

— Слушаю...

Глаза ее мгновенно охолодели и сузились, и в смуглости щек, словно от щипка, проступили алые пятна.

— Да, Кудрявцева... Что такое?..

Далекий голос, настроенный на низком и капризном тембре, бурлил в трубке.

Говорил Клепиков,

Он не может, к сожалению, явиться лично, да в этом и нет особой надобности. Чрезвычайно серьезные обстоятельства не позволяют ему отправиться в уезд по продовольственному делу... Он не отлынивает... О, нет! Это ему не свойственно, это не в его вообще характере, но... коллегия совнархоза единогласно против! Дело в том, что губвоенкомат, имея в виду приближающуюся зону военных действий, поручил губсовнархозу...

Зина не дослушала: впившись зубами в нижнюю губу и брезгливо подрагивая мускулами щек, она медленно, но крепко, — так когда-то в детстве душила пауков-крестовиков, — опустила, втиснула в рогатки телефонную трубку.

Дверь открылась.

— Прищепчик! Тебя-то мы и ждали...

Она говорила более непринужденно, чем обычно, но ресницы ее были влажны, и руки, как слепые, цеплялись за бумаги.

Тот, к кому она обратилась, подошел к самому столу, спокойный, тонко, одними глазами, улыбающийся, и во всем его обличье, в гордо поставленной голове, в невысоком, но круглом лбу с выпуклостями повыше бровей, и в самом крепком размахе черных его бровей было что-то сильное, покоряющее бессловно.

— Готов, Кудрявцева! Но гляди, чтобы мы с тобой не суетились из-за маршрута...

Говорил он грубовато, упирая на „г", с какою-то простодушною насмешливостью.

— Я уж и от мастерских своих отхилился, но на север, к кацапам, не хочу!..

— Что за выражения, Прищепчик! Делаю тебе предупреждение... А маршрут, сам знаешь, не от нас зависит...

— Ладно, дивчина! Я к слову. Сколько же пудов положено по этой разверстке?.. Не знаешь?.. Ой-ой, как не стыдно не знать этого! А еще секретарь губкома... Да после

такого конфуза ты, просто-напросто, техсекретарь... Пятая спица в колеснице Черноголового! А где сам батько?..

Слушая его, Зина светлела, возвращалась к своим дневным заботам, к своему счастливому, обремененному тревогами, сердцу.

XI

Кудрявцева еще не знала толком истории в Липках, но уже угадывала, что над Мартыном стряслась там большая беда. Однако, она не верила, не хотела верить, чтобы этот честный, мужественный человек так вот, без всяких к тому причин, оступился, пал. Она могла допустить это по отношению к другим... Но... Мартын, ее Мартын!..

Зина не могла забыть одного вечера, проведенного с Баймаковым в конце лета, перед отъездом его в уезды. Возвращались оба с общегородского партсобрания. Шли главной улицей, среди притихших тополей. Он заглянул в ночное небо,— небо было глубоким и синим, каким оно бывает только поздним летом — с звездами ласковыми, прохладными и чистыми.

— Пошляться бы, что ли?— сказал он дружелюбно.— Голова трещит от духоты...

И она охотно согласилась:

— А что ж! Идем к Яру.

Яр — это взлобок. Со стороны города высокая монастырская стена и — ни звука оттуда, из города, а перед глазами — кровли по откосу, река и степь на десятки верст... Шли не спеша, переулками. Добрались к месту не сразу. Был тот час, когда солнце карабкалось где-то над степями Монголии, но уже проникало собою поднебесье, и таяла ночь, и в фиолетовой ее глубине, над густой и влажной чернотою реки, таял срез молодого месяца. А река... Вот уж и не сумеешь сказать о такой реке чего-нибудь путного, просто, и слов таких обычных не

сыщешь, чтобы передать о ней! За рекою же громоздились в степях молочные туманы: горы, дворцы, замки.

Они сели на камень, и от спин их на белую стену полегли тени.

— Смотри, Мартын!— засмеялась Зина.— Наши тени прозрачны, точно мы с тобой бестелесные.

Он круто повернулся, чуть не столкнул ее с камня и придержал, обхватив рукою за спину. Она вздрогнула, затаилась под его рукою и вдруг уткнула голову в колена. Неизъяснимая скорбь, певучая и светлая, какую трудно отделить от радости, охватила ее.

Он отвел свою руку.

— Это же удивительно, что там делается... Зина, гляди!..

Она не откликалась и не подымала головы. Плечи ее вздрагивали, на плечах колыхалась старенькая вылинявшая кофтенка.

— Чему ты смеешься?— удивился Мартын.

Но она все молчала. Тогда, затревожившись, обеими руками поднял он ее голову.

Обильные слезы заливали улыбающееся ее лицо, влажные ресницы сверкали, и глаза были как у сказочной русалки: что ни ресница, то лучик.

— Зина!

Но она уже смеялась.

— Погоди же, Мартын! Закрой свои глаза... Дай мне коснуться их... Тут у тебя рожь в цвету... Ей-ей!..

— Авр!— ляскнул он зубами, и, вскрикнув, она отдернула руку.

— Мартын!

— Ну?..

— Отчего так хорошо и... так грустно жить на белом свете?..

— Отчего?— Он подумал, просторно вздохнул.— Хорошо оттого, что кругом нас буря, а грустно...— Он

взял ее руку ладонью вверх и принялся гладить своею. — А грустно, Зина, от молодости! Я читал где-то, что в юных годах из-за обилия радости тянет даже умереть... У тебя такое бывало?..

— Пожалуй, бывало! Но у меня это скоро улетучивалось... Я вспоминала отца — как он стал бы убиваться по мне... И она отступала, смерть!..

— Ты любила отца?

— Люблю... Он у меня удивительный! Моя мать умерла очень рано... Мне не было и семи лет... Работая в мастерских, отец выняньчил меня собственными руками...

— А я не любил своего отца, — негромко сказал он.— Глядишь, бывало, на него, слушаешь и начинаешь чувствовать в нем кого-то чужого... Понимаешь, Зина, совсем, совсем чужого! Даже жутко иной раз станет... Он скажет что-нибудь, взглянет, а я сравниваю с собою и вижу: нет, не мое, не мое... Он крикнет, махнет рукою, шагнет, — нет, не мое!..

— Это нехорошо! — прошептала она — Мне тебя жаль, Мартын.

— Ну, жалеть-то, положим, не стоит! — вскинул он голову. — Жалеть меня вовсе не следует... Ты знаешь!.. — оживился он, покидая ее руку. — Я ведь очень счастливый... вообще! А впереди... меня ждет такое, такое...— Он запнулся. — Со мною, Зина, обязательно должно произойти нечто необычное!..

— Плохое?

— Не плохое и не хорошее! Особенное что-то... Такое, что, быть может, люди удивляться будут.

— Случая ждешь? — улыбнулась она.

— Обязательно!

— И веришь?

Он молча кивнул головою,

— Браво! — ударила она в ладоши. — Вера в случай... Случай вообще... Да какой же ты, Мартын, после того марксист!..

Он глядел в даль, напитанную молочным туманом. И совсем серьезно сказал:

— Марксист я доподлинный, Зина! И нутром, и знаниями! Тут, понимаешь ли, иное... Ожидание какое-то... Ожидание чего-то чудесного, но обязательного и естественного! Вот мне все кажется, и, заметь себе, давно это, чуть ли не с детских лет... кажется, что совершу я что-то большое, значительное!..

От этих откровенных слов Зине стало неловко, но, взглянув на него, она поняла, что говорит он без бахвальства, почти с испугом и — как о неизбежном.

И теперь, через много недель, Зина не могла забыть ни этих его слов, ни того его испуганного лица.

„Случай... Большое, значительное дело... Нечто такое, отчего все люди удивляться будут!..“

Она с горечью думала о Мартыне. Думала утрами у себя дома, и за работой в губкоме, и поздно ночью, укладываясь в постель.

Особенно тяжело было оттого, что сам Мартын избегал ее, а люди вокруг, а товарищи... только запутывали дело. Ох, эти люди! Какая она была наивная, воображая, что все они — свои, хорошие, чистые, не лживые.

В эти дни Зина разочаровалась во многих, многие встали перед ней новыми, совсем неожиданными, чужими.

Взять хотя бы самого Черноголового! Кажется, для него Мартын был близким человеком. Почему же именно он, Михаил Иваныч, ни слова не проронил ей о Мартыне и об этой проклятой истории в Липках? Черноголовый как бы даже вовсе избегал разговора об этом предмете.

Или взять латыша Упита! Когда вновь зашел он к ней в губком за выпиской из протокола, и она намекнула в

разговоре с ним о Баймакове, Упит как-то по-особому повел желваками скул, взглянул на нее сухо, почти зло и — промолчал.

И он, и Черноголовый, и насмешливый Прищепчик, видимо, вовсе не хотели говорить о Липках и обо всей тамошней истории, точно это их решительно не касалось!

Но были и такие, которые слишком много говорили, у которых каждый разговор сводился на Баймакова. Эти открыто готовы были признать в Мартыне чуть ли не негодяя... И при этом как бы даже радовались. Нельзя было сказать, чтобы все они были плохими партийцами, или злыми людьми, или, тем более, врагами Мартына. Некоторые знали его мимолетно, только по совместным выступлениям на митингах, и тем более было удивительно, что теперь так им интересовались! Точно зачарованные, тянулись они в одном и том же направлении и не могли оторвать своей мысли от Липок, не могли оторвать глаз своих от Мартына. Что-то здесь было похоже на разговоры больных, — лежала когда-то Зина в армейском госпитале... С самого рассвета и до ночи упорно и неодолимо вертелись разговоры госпитальных вокруг болезней, а когда кто-нибудь умирал, все враз и помногу толковали о недуге, которым страдал покойный, и все враз радовались, что болеют по-иному.

Более других „разливался" Уткин, бывший вместе с Мартыном в Липках. Он ловил товарищей на ходу в коридорах, отводил их в сторонку и принимался горячо нашептывать. При этом на бледном его лице было выражение сожаления, даже скорби, но глаза сверкали от восхищения. Зина не сомневалась, что восхищался Уткин тем, что беда случилась не с ним, а главное, что если бы когда-нибудь такая беда и случилась с ним (а она могла случиться с таким!), то все бы знали, что не с ним одним! Он был как бы даже счастлив, встретившись в жизни с происшествием, которое все осуждали, но

возможность которого он чуял в себе, в задатках своей натуры.

И у Зины заколебалась бездумная ее вера в окружающих, и губы ее, подвижные и тонкие, выражавшие ранее только умную усмешечку, теперь нередко дрожали и кривились в студеной брезгливости.

Она была все еще в том юном возрасте, когда не знают границ во взглядах на мир: если великолепен, то восхищаются до забвения, а чуть что, два—три укола в сердце, и вот уже суровая тень окутывает все!

Только раз в тяжелые эти дни Зина почувствовала, что не всегда была права к людям, слишком унижая их и этим самым возвышая себя.

Мрачный Арштейн из совнархоза, разболтавшийся как-то о Липках, вдруг встретил на себе злые глаза Зины, чуть-чуть покраснел и сказал вслух:

— Кудрявцева! Кажется, ты недовольна, что мы обсуждаем эту историю... Но, право, тебе не удастся накинуть платок на уста всей партии!

Это было неумно, скверно, злостно, и Зина даже побледнела под недоумевающими взорами товарищей. Она ничего не нашла сказать, но, отойдя в свой угол, почувствовала густой жар в лице. Неужели даже со стороны начали догадываться о том, что происходит в ее сердце? А главное, неужели, в самом деле, она пристрастна к Мартыну настолько, что вовсе закрыла глаза на происшествие в Липках и, еще толком не зная события, готова защищать Мартына? Если так, то какое же имеет она право осуждать хотя бы того же Арштейна?..

В эти дни что-то похожее на обиду против Мартына поднялось в сознании Зины. Ведь вон он какой... Ходит среди людей, по людным улицам, и держит себя так, точно осуждает всех: совсем как судья, а вокруг него подсудимые. Чертовская гордость, несоразмерная гордость! И, кажется, вовсе не замечает целого хвоста

презрительных улыбочек, за ним тянущихся. Говорит и глядит так, будто ничто его не касается, будто не из-за него, не по его вине, волнуются вокруг товарищи.

И особенно непереносимо было явное нежелание Мартына говорить с близкими, открыть им свое сердце, просить у них помощи. Только раз, тогда, в исполкоме, видела Зина растерянным его, а потом и это ушло. Несомненно, Мартын избегал людей и даже с нею, Зиною, не хотел встречаться.

Третьего дня, в сумерках, волнуясь и сердясь на себя за свое слабодушие, она преследовала его некоторое время на улице, но он, заметив ее, прибавил шагу и скрылся за углом.

Тогда же Зина решила говорить о нем с Михаилом Иванычем, указав, между прочим, последнему на странное равнодушие губкома к истории в Липках. Однако, этот тягостный для нее разговор не состоялся. Михаил Иваныч желание ее предупредил.

После одного бурного заседания губкома, посвященного продовольственному делу, Михаил Иваныч задержал в своем кабинете Губарева, предпрофсовета, Жданова из комхоза и председателя чека Лузгина. Все трое были старыми партийцами, Михаил Иваныч ценил их. Зина поспешила к двери, но и ее остановил Черноголовый.

— Минуту, Кудрявцева!

Он оперся руками о стол, поглядел перед собою поверх очков, поморщился, сказал:

— Как же быть нам с Баймаковым, товарищи?

Зина нерешительно подошла к столу, но глаз своих до конца разговора не подымала.

Жданов сказал, обращаясь к Михаилу Иванычу:

— Я не совсем понимаю, чего ты хочешь! Если тут открытое преступление, у нас имеется ревтрибунал...

Жданов, лет десять тому назад, участвовал в продолжительной голодовке протеста в одной из южных

тюрем. Ему тогда было под тридцать, он голодовку вынес, но следы ее остались на нем до сих пор. Он страдал мучительным катаром желудка и малокровием. Был тощ, кожа на его скулах походила на лимонную корку, и в больших темных глазах его лихорадочно и остро горело страдание. Он был нетерпелив, раздражителен.

Не получив от предисполкома ответа, Жданов ухватился за свою фуражку.

— Не могу! У меня трещит башка...

Но Михаил Иваныч зацепил его за обшлаг.

— Погоди...

Вгляделся из-под очков в скуластое и крепкое лицо Губарева, мельком скосил глаза на предчека. Лузгин как сел в начале вечера за стол, так и остался тут, в мягком кресле. Был землисто-сер, припухшие его веки то и дело опускались; он, видимо, готов был сидеть тут до утра.

— Я знаю Мартына изрядно! — заговорил Михаил Иваныч. — Знаю с лучшей стороны. Верил и верю в него! Но, вы понимаете сами, этот случай... Право, не знаю, что и предпринять. Конечно, в трибунал мы его не пошлем... Это было бы слишком!..

— А в чем, собственно, его обвиняют? — спросил Губарев, отпивая из холодного стакана крепкий настой чая. — И кто обвиняет?..

Зина не выдержала.

— Он сам себя обвиняет! — сказала она, неловко играя пальцами по опрокинутому блюдечку.

На нее никто не взглянул, но Михаил Иваныч подхватил ее слова:

— Вот именно! Прежде всего, он сам себя обвиняет...

Жданов, передернув ртом, махнул рукой. И, на этот раз, никто уже не мог и не пытался удержать его; дверь с силою хлопнула за ним.

— Я все же думаю поставить этот вопрос по партийной линии, у нас в бюро, например...— торопливо заметил Михаил Иваныч. — Выслушаем, обсудим! Не так?.

— Можно и так! — согласился Губарев и поднялся за столом, грудастый, плечистый. Он спешил. Ему было не до Мартына.

Лузгин в знак согласия кивнул головой.

Когда, наконец, остались они вдвоем, Михаил Иваныч спросил Зину:

— Кажется, ты дружила с Мартыном?..

Зина подняла глаза: в них было нехорошо, тревожно.

— В чем дело, Михаил Иваныч?..

— Да ни в чем, милая! — Черноголовый запихивал в свой обтрепанный портфель бумаги. — Я думал, что ты беседовала с ним!

— Нет, я с ним не беседовала!

Михаил Иваныч промычал что-то про себя и вдруг взглянул на Зину, и Зина увидела перед собою другое, никогда ранее не виданное лицо: было оно все в лучиках, мягкое, улыбающееся.

— Диковатый человек — этот Мартын! — сказал он. — Диковатый, но... сильный! Сильные ценны пролетариату...

Зина согласилась, на этот раз — без усилий.

— Да, Баймаков славный!..

— Что такое—славный?.. Славный!.. Откуда у тебя эти ничего не выражающие словечки... Баймаков, как бы там ни было, свой, понимаешь, весь свой!.. Одна беда...— Михаил Иваныч запнулся. — Много у него сентиментального, слишком чего-то старинного, кержацкого, что ли...

— И это плохо, не правда ли?..

— И хорошо и... плохо! — Михаил Иваныч улыбался.— Видишь ли, человек с фантазией — вещь не плохая! Немножечко фантазии — это украшает человека. Но именно — немножечко, не чересчур!..

— А у него?..

— А у него, пожалуй, чересчур! Впрочем, я не осуждаю...— заторопился Михаил Иваныч. — Он ведь очень молод, Зина!

— Дело не в молодости! — насторожилась она. — По-моему, хорошо, что он такой... честный и, как вы сказали, сильный... Но... сильный ли он?.. В нем есть что-то от обреченности!..

Михаил Иваныч усмехнулся. Он стоял теперь в пальто у самой двери.

— Товарищ Кудрявцева!

— Слушаю, Михаил Иваныч!

— Ты, часом, в гимназии не обучалась?

— Да, но... не окончила!..

— А Байроном в классах зачитывалась?..

Зина прихмурилась.

— Да ты не обижайся! — похлопал он ее по плечу. — Знаешь, что я скажу тебе... Идем-ка со мной, подвезу!..

Они вышли в просторный полуосвещенный зал. Человек с винтовкой одиноко стоял у колонны.

— Ты, Кудрявцева, сама маленько смахиваешь на Мартына! В вас есть что-то общее... Но это ничего, ничего! Это даже хорошо у вас, молодых, такое... как бы это сказать? Чуть-чуть идеалистическое, от старой, надо быть, народнической интеллигенции.

— Я никогда народницей не была!

— А разве, чтобы иметь эти качества, надо быть народницей?

На улице было пустынно и ветрено, в гулких ветреных потемках перепархивал дождик. Зина забралась вслед за Михаилом Иванычем в автомобиль. Михаил Иваныч продолжал:

— Признаюсь, я сам рос таким... И меня немножечко беспокоит, что наша смена подымается в слишком рационалистической обстановке!..

— В боевой, Михаил Иваныч!..

— В боевой, да! Но, родненькая моя! Мы ведь побеждали и побеждаем не штыком только... Наша сила, прежде всего, в том, что мы знаем, и знаем точно, куда и как направить нашу волю... Вот этого знания у теперешней молодежи мало... Мало молодежь учится, читает, думает!..

— Время такое, Михаил Иваныч!

— Знаю! И потому рассчитываю на будущее! Но если и потом, добившись передышки, мы не сумеем посадить наших ребят за книжицу, дело будет аховое!

— А Мартын, верно, много учился? — спросила Зина, желая возвратиться к начатому разговору.

— Мартын? — Михаил Иваныч живо повернул к ней голову. — Да он у меня ночи напролет просиживал. Да мы с ним, Кудрявцева, самого Маркса начали было грызть...

— Откуда же у него вот это — идеалистическое?

— Это?

Автомобиль остановился у деревянного домика, Зина встала на мелко подрагивавшем днище машины, взяла руку Михаила Иваныча и ждала ответа.

— Это все — от прошлого, Зина! От тех дней и лет, когда все мы больше мечтали, чем действовали...

Зина выпрыгнула на мостовую, но еще долго следила глазами за удалявшимся автомобилем. Чувство признательности к Черноголовому согревало ее. Сегодня Михаил Иваныч показал себя иным, новым. Удивительный человек! Он сказал: „Когда все мы больше мечтали, чем действовали!“ Невозможно было представить себе Черноголового не действующим... Черноголовый — мечтатель!..

Зина даже засмеялась и повернула к своей двери.

Дергая за ручку звонка, она твердо решила завтра же, во что бы то ни стало, увидеть Мартына и говорить с ним! Почему Михаил Иваныч спрашивал, дружна ли она с Баймаковым? Не хотел ли он узнать от нее больше того, что сам знал?.. Нет, Баймаков положительно

никудышный человек! Иметь другом такого человека, как Михаил Иваныч, и избегать его, когда стряслась беда! Эх, коснись дело ее, Зины, она ни на минуту не задумалась бы открыть мудрому седовласому товарищу свое сердце.

В досчатом коробке (кабинет и спальная), на столе поверх вязаной скатерти, заметила Зина раскрытую книжонку. Догадалась — отец поджидал ее. Тут, рядом, и очки в медной, позеленевшей оправе. Сам он возился теперь в крошечной кухне над самоваром.

— Батька! — крикнула она, просунув голову в кухоньку. — Кипятка не надо!..

— Как же так, Зинушка? Почему не надо? Ты не больна ли?..

Маленький, костлявый старичок, в сером пиджачке и сам весь серый, вскинул на нее мутноватые свои глазки почти с испугом: как могла она отказаться от самовара, от их семейного ночного чая, когда это было годами?

Зина рассмеялась.

— Я совсем здорова, папочка! Но очень устала...

— А чай?..

В хриповатом голосе старика слышалось волнение, он растерянно подтянул штаны и насторожился. Дочь поняла, что не сможет отказать ему в этой единственной для него радости — поить ее чаем в час поздний, глухой, в час, ему одному, старому, по праву принадлежащий.

— Хорошо, будем пить!..

И тотчас же снова зазвенела конфорка, зашуршали угли, послышался треск лучины. Зина торопливо приводила себя в иной, домашний вид. Наскоро стянула она с себя темное свое рабочее платье и кинула его на задинку деревянной койки. Оставшись в исподнем белье и поеживаясь, хотя в комнате было нехолодно, она пошла к старенькому материнскому гардеробу, достала ситцевый капот, вспомнила, что в прошлый раз впопыхах разодрала

оборки, и присела у стола чинить. При взмахах руки с иглою рубашка сползала, обнажая крепкое, смуглое плечо, и, хотя никто тут ее не видел, Зина то и дело вздергивала наплечники.

Отец стоял над самоваром, горел нетерпением.

— Ну как денек, Зинушка? — говорил он из-за досчатой перегородки. — Все ли в порядке?

— Все в порядке, отец!..

— Начальство наше как? По-старому над людьми мудрит?

У старика с дочерью в этом вопросе были нелады. Никифор Семеныч подсмеивался над новою властью, называя ее самодельною, ворчал по поводу гонения на чистую публику и заочно называл исполкомовцев не иначе, как „наши дураки". Он говорил: „Наши дураки опять попов обидели"... Или: „Наши дураки немца против себя подымают"... Или: „Второй месяц наши дураки жалованья не платят!" У него были две большие обиды на революцию. Одна заключалась в том, что, вскоре после Октябрьского переворота, его, по старости лет, перевели с паровоза дальнего пути на станционные маневры. „Привязали, как пса, к одному месту!" — жаловался он, страстно завидуя тем товарищам, которые продолжали кататься в разные стороны, добывали себе на хлебных станциях соли и мяса и получали прогонные.

Другая обида — обида за дочь. За тем ли растил он ее, обучал, лелеял, чтобы она потом стала путаться со всяким народом, пропадать где-то до поздней ночи, быть все время с солдатней и на его, Никифора Семеныча, намеки относительно замужества дерзко смеялась.

Старик, раздувая самовар, продолжал:

— Сегодня опять говорили, будто вам всем скоро капут!..

— А вы поменьше бы слушали! — откликнулась Зина.— Человек вы рабочий, а собираете мещанские сплетни...

— Ну, ну! — огрызнулся отец. — Не везде же разговаривают по-дворянски...

Подобной перебранкой обычно начинался их поздний вечер. Вскоре на столе в кухоньке появился самовар. Зина, выглядевшая в длинном своем капоте более солидною и женственною, не спеша разливала чай — себе в самый обыкновенный стакан, а отцу — в большую, с золотою каймой, чашку — именинный подарок покойницы-жены.

Отхлебывая из блюдечка, Никифор Семеныч украдкою поглядывал на дочь; Зина поймала этот взгляд, нахмурилась.

— Чего фордыбачишь-то? — не выдержал старик. — Поди, не чужой я тебе? День и ночь мысли с тебя не свожу! Вся грудь по тебе изныла...

— Отец! — вскрикнула Зина, подымаясь у стола. — Если ты станешь продолжать, я пойду к себе, и вообще...

Она не докончила, глядя на него злыми глазами.

— Ну что „вообще“? Уйдешь от меня? Бросишь? — Старик от волнения сжег себе губы и теперь потирал их трясущимися пальцами. — Бросай! Известное дело, на что я теперь нужен тебе? Вынянчил, выкормил...

— Замолчи, прошу тебя!..

— Не я начал... Уходи, бог с тобою! Известно, где мне, необразованному, с такою дочкою жить!..

Зина стукнула ладонью о стол.

— Опять „Лазаря“ запел. У, несчастный! Да разве я тебя в необразованности упрекаю? Ты ведь рабочий! Пойми это! А держишь себя, как мещанин, как базарник! Ворчишь, сплетничаешь, недоволен всем... Люди со стороны смеются!..

— Люди?

— Ну да, люди... Мне за тебя пред людьми стыдно!..

Еще когда кончала, увидела Зина, как вдруг побелели его глаза и запрыгали губы.

— Спасибо, доченька, спасибо! Уважила... Утешила на старости лет родителя... Спасибо!

Он хотел еще что-то сказать, но не смог, в горле у него екнуло, он махнул рукою, задел давний подарок жены-покойницы: со звоном пала расписная чашка на пол, разлетелась на кусочки. Даже не взглянув, пошел он, сгорбившись, к себе под занавеску.

Тупо глядя перед собою, стояла Зина у стола, слышала, как скрипела старая отцова постель. Острая жалость сжимала ей сердце, она готова была броситься к старику за занавеску, опуститься у его ног, обхватить руками слабые затруженные его колена. Но что-то удерживало ее на месте, складка залегла у нее между бровей, подбородок отпал; все лицо ее стало неприятным, тупым, одеревянелым. И, крепко ступая по полу чоботами, молчаливо прошла она в свою комнатушку.

Когда шла мимо, отец, сидя на постели, затаил дыхание. Он ждал, что сию минуту занавеска приподымется, дочь молча обхватит его за шею, приголубит, попросит прощения: так бывало не раз. И уже он поднял было голову, приподнялся, но... мягкие ее шаги проплыли мимо, и тогда вдруг, как бы очутившись на дне невылазной ямы, почувствовал старик нестерпимое одиночество. Горечь залила ему сердце. Он положил руки на острые свои колена и так, с раскрытым ртом (точно не хватало ему воздуха), закоченел на месте. Было одно неотвратимое сознание: дочь его — чужая ему,—пропали долгие годы забот, хлопот, неистощимой любви. Он один, один на всем белом свете... Старый, не нужный никому!

Зина наскоро сбросила с себя капот, затушила электричество, кинулась в постель. Но как только положила она под щеку ладонь (так с детских лет засыпала она — под ватным стеганым одеялом матери), сейчас же почувствовала, что глаза ее сухи и не хотят закрываться. Полежав с минуту и чувствуя тяжелую пустоту в груди, она

поднялась, отвернула свет, взяла со стола брошюру, забытую отцом, и лежа стала перелистывать ее. Сначала она не только не всматривалась в строки, но даже и не сознавала вполне, для чего в ее руках эта брошюра и что̀ это за брошюра: мысли об отце, выживающем из ума, мысли о минувшем дне, о Мартыне, о Черноголовом, о мобилизации на продфронт — все это затемняло ей сознание. Но, случайно поймав заголовок брошюры, она поняла, что собиралась читать. Затем что-то ее затревожило. Она скосила глаза на стол, где лежали очки старика, и вдруг поняла... Отец! Ну, конечно же, это он читал брошюру.

„В. Ленин. К солдатам“.

Она ярко представила себе старика за раскрытою страницею: губы его шевелятся, брови вздернуты, на лбу, от усилия мысли, капельки поту.

Ах, старый ворчун! И вчера, и месяц назад она твердила ему, чтобы он почитал что-нибудь из ее книжек, а он отмахивался и еще сегодня утром отверг это, даже сплюнул.

Зина отложила брошюру, прислушалась. Ни единого звука не доносилось из-за перегородки. Заснул! Хорошо, она поговорит с ним утром, выведает о его болячках и, если возможно, сделает все, чтобы, наконец, открыть ему, старому, глаза на правду.

Удивительная вещь! Зина почиталась среди товарищей хорошей пропагандисткой. А вот с отцом, с собственным своим отцом, она до сих пор не справилась! Живет с ним под одной кровлей, изучила каждое движение в его лице и... не справилась! Но, полно, пыталась ли она что-нибудь сделать, чтобы ближе подойти к нему? Много ли времени посвятила она старику? Ведь дальше отрывочных разговоров, разговоров на бегу, на лету, дело у них не шло. Ах, как это все, в конце концов, дико! Ходит она за три версты из центра в рабочую слободку, чтобы там отдать вечер политкружку, а тут под рукою родной и самый

близкий ей человек — бродит слепым и слышит от нее одни упреки!.. Нет, в этом есть что-то неладное! Неужели все, что делала она до сих пор, как пропагандистка, делалось ею по уставу, по чину, напоказ?!

Зина совсем рассердилась на себя, до того, что принялась перебирать всю свою работу по косточкам. И тут вдруг открылось ей, что — да, она никуда не годится, и что если бы о ней рассказать настоящую правду, Михаил Иваныч, Мартын и все другие отвернулись бы от нее. Ведь никто, конечно, и не подозревает, что ей, Кудрявцевой, нравится, просто — нравится роль секретаря губкома, особенно, когда ее замечают окружающие. Ей нравится, например, сидеть на больших собраниях рядом со старыми большевиками. Нравится мчаться в автомобиле рядом с кем-нибудь из губкомовцев, мчаться с холодным и жестким (непременно жестким) лицом. Нравится слышать свое, шопотом произнесенное, имя. Нравится возвысить голос до окрика...

Зина поднялась в постели, сбросила одеяло.

Какая гадость! И никто не подозревает, что она такая тщеславная. Никто и не думает, что она мало чем отличается от самой обыкновенной мещаночки с Дворянской улицы. И потом, и потом... это ее особое, совершенно отличное, длительное, ничем не объяснимое внимание к Мартыну! Разве он единственный в партии? Разве не окружают ее десятки и сотни товарищей, быть может, еще более достойных, чем этот человек? А для нее вся последняя неделя ушла на тайные (да, да, тайные!) заботы о Мартыне. Значит, для нее уже не существует партии в целом? Значит, она может ради него, ради его интересов забыть вовсе о других, более серьезных, более важных вопросах и нуждах организации.

Никифор Семеныч продолжал не шевелясь сидеть у себя на койке. Странные и разноречивые настроения волновали его. С одной стороны, для него было бесспорно,

что дочь не права, что она виновата перед ним, и что он не может и не должен прощать ей. А с другой стороны— что-то крошечное и жалобное, как побитая собачонка, ныло в его груди, и хотелось плакать от жалости к той милой, родной, близкой ему каждым своим пальчиком (с детства изучил старик коротышки эти), каждым своим волосом на шелковой головке! И видело, чуяло старое сердце, что тяжкий терновый путь простерт перед девочкой его, что ждут ее страдания неслыханные, что, может быть, смерть, та, что всегда стоит за спинами отважных, сторожит уже его Зину.

И когда толкнулась и влипла мысль старика в жгучее видение опасностей на пути его дочери — задохнулся Никифор Семеныч, и вдруг взмокли его щеки. Тихонько, стараясь не скрипеть койкой, поднялся он, прошел на цыпочках к двери, стал, слушал, затаив дыхание.

Зина кашлянула; вздрогнул с головы до пят старик, как пойманный вор, и краска залила ему щеки.

Послушал еще немного, убедился, что за дверью тихо, полуоткрыл дверь, просунул голову. В темноте белело на подушке лицо Зины. Неудержимо потянулся вперед. Боком пролез в дверь, прошаркал к столу, замер, прислушиваясь.

— Папа, ты что?

Старик принялся шарить рукой по столу.

— Спи, спи! — откликнулся он шопотом. —Я тут очки забыл...

— А ты отверни электричество, папа.

— Нет, не надо! Я уже отыскал. А ты спи... И на меня, старого, не сердись... Люди мы с тобой свои... И те все — свои... Своих и поругать иной раз не грешно!..

Он стоял у самой ее койки, подтыкал концы одеяла, ухмылялся про себя, как пьяный.

— Забыл совсем сказать тебе, дочка... Перед вечером заходил к тебе один, высокий, кудлатый из себя...

Она насторожилась, захватила в свою горячую руку его старую, холодную.

— Кто, папочка? Как назвал себя?

— А не упомню, дочка! Как его, бишь... Обормотов, что ли.

— Баймаков, папочка?

— Вот, вот! Кудлатый такой...

XII

На другой день Зина была свидетельницей необычайной сцены, разыгравшейся в помещении губкома между Мартыном и Клепиковым. В шестом часу, когда за окном уже плавились в сумерках старые липы, Зина стала собираться домой (сегодня никаких заседаний!). Сложив наскоро свои бумаги, она взялась было за пальто, но услышала из зала высокий, напоенный животным страхом крик и бросилась к двери.

Мартын, набычившись, держал на вытянутых руках барахтающегося человека. Зина появилась в тот самый момент, когда богатырские руки готовы были бросить свою жертву на пол. Если бы это случилось, несчастному пришлось бы, без сомнения, худо. Но этого не случилось. Мартын поймал глаза Зины и вдруг легонько, почти бережно, поставил человека на ноги.

Клепиков (это был он) стоял, шумно дыша, белый, с красными пятнами по щекам, и в его обычно красивых, бархатных глазах металось взлохмаченное воронье крыло.

Коротким движением руки он выхватил из кармана браунинг и вскинул его в уровень с грудью Мартына. Зина вскрикнула, но выстрела не последовало.

Мартын наступал на Клепикова, тот пятился, белый, хлипкий в лице, и вдруг... браунинг выпал: Мартын захватил руку Клепикова в свою, поднял ее вверх, зажал со всею силою — браунинг выпал.

— Научись владеть оружием! — проговорил Мартын глухо и поднял браунинг. — Ты даже не приготовил его.

Он сунул револьвер в карман остолбеневшего Клепикова и процедил сквозь зубы:

— Пошел ты... к чортовой матери!..

Обращаясь затем к Зине, сказал спокойно:

— У меня до тебя дело, Кудрявцева!

И, не ожидая разрешения, он скрылся в кабинете, прихлопнув за собой дверь. Зина не двигалась, вперив глаза в Клепикова, а тот вдруг весь осунулся, сжался, рот его перекосило, в глазах вспыхнул мокрый заячий стыд.

Зина поспешила уйти.

— Мартын! — заговорила она с порога. — Это же безобразие! Что между вами произошло?..

Баймаков стоял у стола, лицом к окну, и пристально разглядывал сумеречный сад.

— Не будем говорить об этом... — произнес он, морщась. — Я готов держать ответ, только... в другом месте. Он оскорбил меня, этот человек...

Зина вспомнила последние дни, сплетни, перешептывания по углам.

— Допустим, Мартын! Но ты действуешь, как дикарь...

Мартын помолчал.

— Зина! Тебе тут ровным счетом ничего не понять...

Это было произнесено холодным тоном. Зина скосила в насмешливой гримаске губы.

— Да, „тут" я действительно ничего не понимаю! Но для меня, тем не менее, очевидно, что когда партиец позволяет себе...

Мартын схватил ее за руку.

— Зина, прошу тебя!..

В голосе его послышалась боль, она невольно смолкла. Он опустился в кресло.

— Может быть, я виноват... Но этот человечишко привязался ко мне, когда я шел сюда... Он завел со мной

такой разговорец о Липках, с такими ужимочками, что... невозможно было выдержать!..

— В последнее время ты неузнаваем, Мартын! — с укором заметила Зина, присаживаясь против него. — Ты избегаешь всех нас... Ты, как будто, ие хочешь видеть даже Михаила Иваныча... Что с тобой, Мартын?..

В полумраке нельзя было разобрать выражения его лица, но по тому, как круто двинул он плечами, девушка поняла, что слишком поспешила.

— Пожалуйста, без выговора! — сказал он тихо, но резко. — Я вовсе не нуждаюсь в сестрах милосердия! А пришел к тебе по делу, как к секретарю губкома... Именно, именно! — Он поднял руку, заметив ее жест протеста. — Я и с Михаилом Иванычем не хочу встречаться один на один... Уверен, что он заведет волынку... — Он встал и начал шагать из угла в угол. — Дьявол вас всех возьми! Партийцы вы или нет? К вам является член партии, требует обсудить его... его... — он запнулся, — его вопрос! А вы отмахиваетесь, тянете, строите гримасы недоумения... Что же вы... за сумасшедшего меня принимаете?..

— Мартын!

— Э, пожалуйста! Я не понимаю такого отношения к товарищу... Во всяком случае, я не заслужил этого! Или — вы уже решили мое дело, не выслушав меня? На основании одних слухов, на основании жалкой болтовни таких товарищей, как Уткин, Арштейн, Клепиков и прочие?!..

Зина встала.

— Стой, Мартын! Ты несправедлив к нам! Иди сюда... Садись, успокойся.

Повинуясь ей, он опустился снова в кресло. Она продолжала, стоя подле него:

— Чудачина ты, Мартын! Никто ничего не решал... И никто ни в чем тебя пока не осуждает... Да, да! Губком не может, — пойми ты это, — не может губком делать

заключения на основании одних слухов... А мы все еще питаемся только слухами, и в этом виноват ты сам!

— Ну, это положим!..

— Не возражай! Представь себе положение хотя бы Михаила Иваныча, который знает тебя чуть ли не с детства... Ведь он, в конце концов, в праве... требовать от тебя объяснений!..

— Ха! А я отказываюсь?.. Готов дать показания всему губкому! Я даже прошу об этом... Я даже требую!..

— Но, Мартын! Как может Михаил Иваныч ставить на обсуждение губкома тот или иной вопрос, не зная досконально, о чем пойдет речь?..

— Но это неправда! — воскликнул он. — Черноголовый знает...

— Да, кое-что из третьих рук! Разве ты переменил о нем свое мнение? Разве ты забыл, что такой человек, такой партиец, как Михаил Иваныч, не может опираться на одни сторонние сообщения, хотя бы они исходили...

— От членов партии? — с горечью усмехнулся Мартын.

Зина замялась.

— Партиец партийцу рознь!

— Вот как?

— А, пошел ты к лешему, Мартын! — вспыхнула Зина. — С тобой говорят, как с товарищем, а ты... мудришь. Слушай! Идем сию же минуту к Михаилу Иванычу... Он будет очень рад, я знаю! Мы найдем его в этот час у себя дома...

— Никогда! — приподнялся в своем кресле Мартын. — Я не хочу и не могу пользоваться в этом деле старой дружбой... По-старому я заговорю с Черноголовым не ранее того, как слово партии будет обо мне произнесено. Я готов пойти к нему, но лишь по его вызову и не иначе, как на заседание... губкома, ревкома, трибунала!..

Зина замахала рукой.

— Ты рассуждаешь, как... как... Во всем этом нет и капли трезвости... От всего этого несет самым неприглядным интеллигентством!..

— Думай, как хочешь, но иначе я не могу... А теперь скажи по правде: займется когда-нибудь мною губком или нет? Или вы... или вам надо писать официальное заявление?..

Зина щелкнула выключателем, вгляделась в Мартына и некоторое время молчала. Ее поразило потемневшее, осунувшееся лицо его. Глаза его в рыжих ресницах казались еще более глубокими, прямой нос заострился, вокруг рта залегли морщины. Он давно не брился и, такой, в белесом пуху на щеках, выглядел много старше своих лет.

Можно было думать, что Баймаков перенес тяжелую болезнь. Только песочно-белокурая копна волос его попрежнему гордо откинута была назад, да могучие плечи все так же будили к себе невольную зависть.

— Ты не болел ли, Мартын?—невольно вырвалось у Зины, и, должно быть, в ее голосе, а может быть, и в глазах было что-то такое искреннее, что угрюмая тень в лице Баймакова дрогнула.

Он улыбнулся, и в улыбке нос его еще более заострился, и острее обозначились скулы.

— Нет, я здоров, как лошадь!—проговорил он.—Но ничего не имел бы, чтобы поболеть... Ведь вот цепляет же других сыпняк, а меня ничто не берет!..

Он с явным огорчением взглянул на Зину.

Зина не верила, не могла, не хотела верить в то, что с Мартыном произошло что-то такое, отчего можно было желать такой страшной болезни. Она представила себе его, могучего, распластанным в огневке, и жалость осветила ей глаза. На этот раз он не рассердился. Молча опустил голову, как бы собираясь с мыслями.

— Мартын...

Голос ее легонько дрожал.

— Мартын, ты немножко знаешь меня, и ты должен верить, что я не хочу и не могу обидеть тебя... Скажи же, что там, в пути, произошло у тебя?..

С испуганным ожиданием она заглянула ему в лицо.

Он долго молчал.

— Длинная история!

И вновь затревожившись, весь как-то подбираясь, заговорил:

— Видишь ли, собственно, вся история может быть изложена в паре слов. Но этого-то я и страшусь! Мне надо, чтобы вы все поняли меня по-настоящему... А для этого мне надо много, очень много, рассказать... И я не знаю, сумею ли, осилю ли, и... поймете ли вы меня!..

— Попробуй, Мартын! Я не ожидаю, конечно, что ты начнешь с меня... Но почему бы тебе, в самом деле, не поговорить с Михаилом Иванычем?

— Опять? — прихмурился он. — Я уже сказал тебе...

— Хорошо, не надо! Не надо с Михаилом Иванычем... Доверься другим!..

— Например?..

Она закраснелась, ей стало вовсе неловко, так как она думала, что довериться следовало бы именно ей, но сказать об этом прямо не решалась.

Мартын встал и опять зашагал из угла в угол. Она искоса следила за ним, отчего глаза ее стали совсем продолговатыми и все лицо тонко-настороженным.

— Помнишь, Зина... — вдруг остановился он около нее. — Помнишь ли ты вечер... весною, у монастырской стены? Я часто вспоминаю... И теперь много отдал бы, чтобы стать таким же, как тогда...

— Каким же? — откликнулась она вполголоса.

Он неожиданно спросил:

— А что делается у нас на фронте?

— Разве ты не в курсе? — осиливая свое волнение, проговорила она.

— Да, я отстал! Всякое личное несчастье отрывает человека от общих интересов... Попробуй повредить себе палец, и ты будешь чувствовать только его!..

— Бывает! Страдание делает нас индивидуалистами и эгоистами...

Она сказала это просто, без задней мысли, но он торопливо взглянул на нее.

— Ну, так каково же на фронте?..

— Неважно, Мартын! Кажется, опять будет жарко...

— Так... А с продовольствием что?..

— Не спрашивай! Ты знаешь — мы провели мобилизацию... Нам предстоит тащить хлеб из-под самого носа врага... Кстати, Мартын, о тебе вспоминали заводские... Байдученко и Петр Пятачок... Они снова мобилизованы и выражали желание видеть тебя во главе отряда!..

— Э, что об этом говорить!..

— Почему же?..

Он прихмурился.

— Я шел всюду, где было особенно тяжело! Но теперь... теперь я только больной палец... Его надо лечить, или... ампутировать!..

Он отвернулся и вдруг, поеживаясь, спросил:

— А Черноголовый, в самом деле, обо мне... заговаривал?..

— Не раз, Мартын!..

Он молча стал над ее креслом, так, что она не могла видеть его лица.

— Чорт побери! Если бы вы все знали, как „это“ произошло, вы не осуждали бы меня... Нет, я не могу больше! Зина... выслушай хоть ты меня!..

Эти слова были произнесены почти умоляющим тоном. От неожиданности Зина не сразу нашла, что сказать. Потом она проворно встала, протянула ему руку.

— Говори, говори, Мартын!

— Здесь?

— Где хочешь! Неужели ты не видишь, что я... ну, да — я... страдаю за тебя?..

Днем позже этой беседы Зины с Мартыном, глубокой ночью прибыв домой, Михаил Иваныч собирался уже лечь, но вспомнил о своей тетради, почувствовал раскаяние (он долго не садился за нее) и взялся за перо.

Между прочим, он записал следующее:

„Не знаю, как быть с Мартыном. Парень выводит меня из равновесия. Я продолжаю любить его. И, может быть, поэтому мне трудно разобраться в его истории! Он честен, — я знаю это, — но его честность порою граничит с глупостью. Но он не глуп, нет! Это так же верно, как то, что он был самым способным из всех моих учеников... Было бы лучше дать ему возможность передохнуть, притти в себя, но я боюсь, что время — плохой лекарь для таких молодчиков: он или съест себя окончательно, или натворит вокруг себя бед. Вчера, например, он чуть не вступил в рукопашную с К., товарищем из совнархоза. Конечно, этому не следовало лезть со своею болтовнею, но нельзя же пускать в ход кулаки... Нет сомнения, что из странной истории в Липках можно создать целый процесс, — чего Мартын и добивается, — но невыносимо здесь то, что главным обвинителем явится он сам, несмотря на все его искреннее и, я верю, заслуженное желание оправдать себя. Однако, дело придется все же поставить, по крайней мере, в губкоме. Иначе с парнем не сладишь! Жаль страшно, так как ничего путного из этой возни не выйдет, а у нас и без того много жертв“.

XIII

Если бы эти строки из затрепанной тетради Михаила Иваныча могла прочитать Зина, она принялась бы горячо успокаивать их автора.

Она сказала бы, примерно, так Черноголовому:

— Мартын хороший и честный партиец! Скорее ставьте его вопрос в губкоме, как он того хочет! И ничего дурного не будет...

Она сказала бы так потому, что весь вечер слушала Мартына и была вне себя от его рассказа. Она была покорена этим рассказом. У нее не было никаких сомнений насчет честности и искренности Баймакова. Больше того. Он даже вырос в ее глазах, и она готова была считать всех остальных окружающих ее товарищей младенцами перед таким человеком, как Мартын.

Однако, когда он закончил свой рассказ и спросил ее, прямо глядя ей в глаза, как бы она назвала случай с ним в Липках, Зина потупилась. Только при новом настойчивом вопросе: не думает ли она, что он трус? Зина вскинула на него глаза и дала ему желанный ответ без слов.

Они забрались из кабинета губкома, с его дверью в шумный зал и телефонами, вверх, в комнату с окнами в решетках, где когда-то хранились архивы губернского присутствия, а теперь было почти пусто: треногий стол, несколько скамей (год назад занимался тут политкружок).

Она уселась за стол. Он против. Яркая лампочка заливала их зеленоватым режущим светом.

Первое время Зина слушала не совсем внимательно. Она даже не понимала некоторых фраз, потому что, пользуясь волнением рассказчика, могла без всякой опаски дивиться его густым ржаным ресницам, отливающим золотом под ярким электричеством. Но вскоре она забыла, что сидит наедине с ним, вдали от всего мира (так, как ей это чудилось в последнее время только в снах). Его ресницы перестали скрывать от нее страдание, таившееся в синих глазах, а его голос, убаюкивающий своею сладкою силою, стал, наконец, проникать в сознание и подымать ответно мысль за мыслью.

С этого момента Мартын мог рассчитывать, что открывает себя чуткому и вполне бескорыстному товарищу.

Зина сразу и во всей глубине представила себе путешествие Мартына с эвакуируемыми семьями: тяжелая и непривычная обстановка, женщины, дети, неизвестность впереди!..

Она даже удивилась про себя, как мог Михаил Иваныч, зная Баймакова, обречь его на это путешествие: тащить за собою ораву беспомощных, жалких, перепуганных людей навстречу всяким неожиданностям, без какой-либо надежды на возможность отпора врагу!..

И ее нисколько не опечалило, когда она услышала в голосе Мартына нотки брезгливости: он говорил о женах ответработников, о паре Добрыниных и об этих двух партийцах, увязавшихся с женским поездом.

Когда он нарисовал вскользь педагога Уткина, у которого даже накидка трепетала от страха, Зина заулыбалась.

Но Мартыну было не до улыбок. Он говорил о женщинах, о стариках, о младенцах.

— Они готовы были цепляться за меня и плакать от страха, но я всех их успокаивал!

— Зачем же? — вырвалось у Зины.

Он с недоумением взглянул на нее.

— Если бы то была рота бойцов, я рассказал бы им все! Для того, кто может защищаться, правда — лишнее оружие! Но сказать правду Уткину, Арштейну, Добрынину, всем этим женщинам с ребятами... Ты понимаешь — это вызвало бы панику!..

— И все же следовало бы сказать правду! — возразила она, незаметно для себя становясь на сторону беззащитных людей, лишенных даже знания истинного положения.

Мартын не понял ее.

— Нет, я был прав, держа их в неведении... Правда была, во всяком случае, не для слабонервных! Уже на первой станции мне и Тулякову стало ясно, что наш

поезд далеко не в безопасности, а в Липках мы в этом убедились окончательно... Но то, что затем произошло, оказалось неожиданностью даже и для нас... Между прочим, на станциях нам сообщали, что город занят белыми, и ты можешь себе представить, Зина, каково было мое самочувствие... Но буду продолжать!.. Успокоив и накормив свой караван (наши женщины, едва мы вкатились в Липки, улеглись спать), я — время было за полночь — пошел бродить по степи... В это время Туляков поднял на ноги машиниста. Паровоз со своим вагоном Туляков держал наготове... Он объяснял это тем, что в вагоне находились эвакуированные ценности... Когда я возвращался из степи и шел перроном, Туляков чуть не сбил меня с ног. Он бежал из телеграфной с последнею новостью и встретил меня бешеным возгласом: „Беда! Мы опоздали"... Вид у него был такой, что я невольно побежал за ним, еще не зная сам, куда и, главное, — какая опасность грозит нам! Мы были уже подле самого горячего паровоза, когда я услышал необычайный шум, в котором, признаться, до сих пор не отдаю себе отчета... Первое мгновение мы оба подняли головы вверх, так как нам почудилось, что над нами аэроплан! Но убедившись в своей ошибке, я насторожил слух в другом направлении и тут услышал быстро нарастающий грохот со стороны увалов...

„Поезд! Эшелон белых!" — крикнул мне Туляков и бросился вперед, к вагону, но я обхватил его рукою, и между нами завязалась борьба. Борьба продолжалась несколько секунд. Туляков понял, что я сильнее его, и закричал мне в упор: „Ты будешь в ответе за все, что вручено мне, за все ценности!" Этот неистовый крик, а главное, упоминание о каких-то ценностях, когда у нас на руках был целый поезд, набитый женщинами, поразил меня так, что я выпустил из рук Тулякова. Помню, близость этого человека, его жаркое дыхание мне в лицо, его искривленный

рот вызвали у меня физическое отвращение. Я выпустил его. Он в два прыжка очутился у паровоза. „Полный ход!“ — крикнул он выглядывавшему из окна машинисту. Вслед за тем я услышал шипение пара и пришел в себя. „Стой!“—закричал я в свою очередь, вскочил на площадку паровоза и сунул в лицо машиниста свой браунинг. Тогда произошло нечто отвратительное. Туляков схватил меня за полу, оттащил в сторону, стал умолять меня. Он говорил вполголоса, бессвязно, но я успел понять, что мы имеем дело с эшелоном белых, прибывшим с ближайшей станции, что никакой возможности для борьбы у нас нет и что теперь дорога каждая минута!..

„Пойми, Баймаков!—неистово бормотал он.—Ведь у нас золото, все наши ценности! Ведь если все это попадет к врагу, нас надо расстрелять! И ты не смеешь вмешиваться... Мне вручено это!“ Он снова рванулся к паровозу, и снова я обхватил его. А шум со стороны, из ночи, нарастал, близился. И вдруг Туляков затих в моих руках, и тут же инстинктом я угадал опасность — короткое движение его руки к карману... Я перехватил его руку в тот момент, когда она уже вцепилась в наган. Тогда я с такой силой сжал эту руку, что услышал хруст, но он... понимаешь ли... этот человек даже не вскрикнул! Он сказал: „Негодяй ты, Баймаков!“ И сказал это с таким убеждением и так спокойно, что я, несмотря на все свое возбуждение, изумился. Ты понимаешь: эти слова должен был бросить ему в лицо я!.. Чувствуя, что мои руки ослабли, он повел плечом, освободился, но уже не пытался бежать. Стоял холодно и спокойно, без слов, и я не видел, что у него делалось в лице. Самое нехорошее было именно это: я не видел, что с ним, и почему он вдруг стал таким... Теперь накинулся на него я: „Туляков, опомнись! Надо дать знать нашим, поднять в эшелоне тревогу!“ Он холодно процедил: „Э, пошел ты!..“ И вдруг опять впал в ярость... „Поздно, поздно! — закричал он

мне в лицо.—Пойми ты — мы не можем увезти их всех. Мы не спасем ни их, ни ценностей!“

Он не убедил меня, но я его уже не останавливал.. Он с криком подбежал к паровозу, и я услышал с тендера ответ: „Сейчас!“ Но паровоз не трогался, Туляков кричал что-то, матершинничал. Паровоз шипел и не трогался. Что-то еще не было в нем готово, — это понял я после. Но тогда мне представилось, что машиниист на моей стороне. Я кинулся в вагон и закричал тем двум, с винтовками: „За мною!“ Я бежал из вагона, не оглядываясь, но, сделав несколько шагов, понял, что караул остался глухим к моему призыву... Тогда я возвратился и почти силою заставил караульных следовать за мною. Я слышал у себя за спиною, как они топотали, но их бег не походил на мой... Я бежал, и встречу мне нарастал гул... Мне было трудно понять, когда именно неясный этот шум прекратился. Кажется, в ту минуту, когда я, поровнявшись с первым нашим вагоном, закричал: „Товарищи!“

Надо тебе сказать, что все время я был невозмутим. Может быть, даже чересчур невозмутим, до равнодушия! Во всяком случае, я совершенно не думал об опасности, о смерти и о себе вообще. В мозгу у меня сверлила до боли одна мысль — о Тулякове, о его подлости. И в то же время я совершенно трезво соображал, что он прав, что спасти всех невозможно! Но, думалось мне, если не всех, то хотя бы немногих, хотя бы тех, кто успеет добраться к паровозу, к вагону... И с этою мыслью я закричал у первого вагона, не решаясь двинуться дальше, зная, что это было бы бесполезно. И, однако, я побежал к следующему! Во-первых, потому, что меня подгоняло нерассуждающее чувство. Во-вторых, потому, что гул со стороны путей внезапно замер, и это зажгло у меня надежду. „А вдруг ничего страшного не будет!“ С криком я успел приблизиться к середине нашего эшелона, и тут увидел вдали, на путях, среди вагонов, темные

фигуры вооруженных. Я сразу понял, что это значит!.. Прибыл казачий поезд, высадил разведку, и вооруженная толпа с минуты на минуту должна будет ворваться на станцию... Оглянувшись, я увидел женщин, выскакивавших из вагонов. Они были в одних сорочках, иные с детьми на руках, иные с какими-то узлами. Они падали на бегу, сталкивались, цеплялись друг за друга... И только тут мне стало не по себе!..

Мартын примолк. Зина осторожно взглянула на него.

— Я понимаю, Мартын. Тут, наконец, и ты почувствовал близость опасности!

Он перебил ее, глядя на нее пустыми глазами.

— Нет, совсем нет! Повторяю, я не дорожил жизнью. Я не думал об опасности. Во всяком случае, смерть меня не пугала... да, да! Тут было другое... Ты понимаешь: они все бежали, падали в потемках, что-то тащили с собою, очевидно, не сознавая, что именно, и все это делалось в глубоком молчании. Ни одного крика я не слышал, не было слез, не было воплей... Они бежали с отверстыми в темноту глазами и уже не имели сил кричать. Пораженные внезапностью, осознав чутьем близость опасности, они молча отдавались страху, таившемуся в них весь этот день... И еще меня поразило, когда, обернувшись, увидел я бегущих и хотел было направиться вперед, к следующему вагону (хотя бы вот к этому, к ближнему, думал я), кто-то, как бы поняв мое намерение, вцепился в мою руку. Я взглянул, узнал... Лузгину, жену нашего предчека. „Не надо, не надо!"—говорила она умоляющим голосом. И, странно, я понял ее. Скрытая ее мысль передалась мне. Она не хотела, чтобы я бежал дальше, будил, подымал на ноги остальных, всех, кто еще не чуял беды. Она не в состоянии была вынести этого: я мог поднять на ноги весь наш эшелон... Ее ужас (она еле держалась на ногах) перед тем, что я уже наделал, удваивался при мысли о том, что я еще мог сделать: поднять всех,

опрокинуть всех в панику, в безумие, в пропасть, в которой она, Лузгина, уже барахталась. Но по тому, как она затем побежала к паровозу, оглядываясь на меня, почуял я и другое: быть может, она предвидела угрозу себе во всех этих людях, стремившихся к той же, что и она, цели! Слишком многие хотели спастись, не останется ей места... Ты что, Зина?..

— Так, ничего... — обронила она, проводя ладонью у себя по лицу. — Уж очень все это нехорошо как-то...

— Да, хорошего мало! Я до сих пор без отвращения не могу представить себе свое положение в те минуты.

Он глядел на нее просто и ясно, только слегка дрожали углы его рта.

— Но ты... — Зина подумала. — Ты должен был что-то предпринять, Мартын, что-то иное! Тебе следовало заняться разведкой... Наконец, ты был вооружен, подле тебя находились те двое, с винтовками...

— Что же могли мы, втроем, против целой банды?..

Зина молчала. Он хмуро взглянул на нее.

— Поверь, что, если бы со мной не было этих женщин и детей, я так и поступил бы, как ты думаешь... Но... открыть стрельбу в момент, когда люди, ничем не прикрытые, барахтались вокруг тебя...

— Продолжай! Я тебя понимаю, Мартын.

— Мне ничего не оставалось, как последовать за бегущими... У меня была единственная мысль — что-нибудь сделать для них, устроить их, быть самому при посадке... Ведь там оставался Туляков, которому я не доверял... И вот еще сцена! Сцена у паровоза... Женщины лезли в вагон, хватались друг за друга, роняли детей, кажется, даже дрались. Вероятно, вагон был набит до отказа. Набит был и проход. Но люди лезли на буфера, воевали за подножки. Некоторые ухитрились взобраться даже на тендер паровоза. Двое караульных пытались навести порядок, но их никто не слушал, и сами они, надо быть,

потерялись окончательно. Одного, в самый последний момент, я успел заметить на подножке паровоза. А со стороны нашего эшелона бежали другие женщины, и среди них увидел я тальму Уткина. Между тем, паровоз развел пары и был готов к отходу. Я слышал десятки перепуганных женских голосов с площадки вагона: „Трогай, трогай!“ Я оглянулся в сторону путей. На одно мгновение, помню, меня озадачило, почему белые все еще медлят, не обстреливают, молчат. Но вот за дальними вагонами показались вооруженные люди, они были в строю, в цепи, бежали куда-то в сторону, и я сразу понял все: они хотят взять станцию в кольцо, охватить в него все живое... Я стоял подле самого вагона недвижно и смотрел на происходящее окаменело, сторонне. На душе у меня было пусто: не было ни страха за себя, ни жалости к людям. Уткин, опередив других, споткнулся о тумбу, упал и пополз на четвереньках. Должно быть, он кричал от ужаса, но этого я не слышал. Вдруг паровоз пыхнул, вздрогнул и начал отделяться от меня. Я понимал, что он движется, уходит... Понимали это и те, что, опередив Уткина, бежали, вытянув перед собою руки и что-то крича. У одной женщины была подушка (ну да, подушка!). В двух саженях от вагона она выронила ее, сделала шаг, но повернула обратно, и я видел, как она подымала свою драгоценную ношу... А вагон продолжал отделяться от меня, я сделал шаг за ним, еще шаг... рядом с подножкою! Те, счастливые, что стояли в проходе, были, видимо, так рады за себя, что вспомнили и обо мне. Женщины протягивали ко мне руки, кричали: „Лезь, лезь, лезь!“ Но вот, оглянувшись в последний раз, я увидел: Уткин поднялся, поровнялся с женщиной, которая подымала подушку, он уже был в трех, в двух шагах от вагона... А вагон и я — рядом с подножкою — удалялись от него. Ты знаешь, Зина... я был даже доволен, что он, этот Уткин, спешит и не может нагнать! В отсвете фонаря мне было видно

его лицо: оно было черно, глаза вытаращены, глаза его были мокры и казались глянцовитыми. Рот его ловил воздух... Он уже не кричал... Мне стало невыносимо глядеть на него... Кажется, я был бы искренно огорчен, если бы он тогда нагнал нас!..

Зина перебила его. Она была бледна.

— Это нехорошо, Мартын!

— Может быть! Но я подхожу к концу, Зина, не перебивай меня!.. Вагон наш прибавлял ходу, я видел, что он начинает двигаться сильнее меня. Я уже на локоть отстал от подножки... Какие-то ящики с грузом загородили от меня Уткина... Там, дальше, было черно, ветрено, пустынно... Мне кричали с площадки вагона: „Скорей! Скорей!“ Тогда я вцепился рукою за перильца над подножкою. Меня с силой толкнуло, сбило с ног, но перилец из своей руки я не выпустил...

— И ты... поехал, да? — шопотом спросила Зина.

— Да, я взобрался на подножки, потому что иначе попал бы под колеса...

Она остро усмехнулась.

— Ага! Значит, ты сделал это поневоле?..

Затем она взглянула на него широко открытыми, знающими глазами, и в них Мартын видел слезы.

— Как это все скверно! — произнесла она негромко, захватывая его руку в свою, дрожащую. — Скверно, скверно, Мартын!..

Теперь она начинала понимать, какая беда стряслась над ним, и как он, этот неукротимый, гордый человек, должен был страдать потом за эту свою темную вспышку инстинкта, за все то паническое и безобразное, что произошло с ним в Липках.

Но он отстранил свою руку. Она — свою.

Паровоз усиливал ход. Мартын стоял на подножке. Он все еще не знал, как поступит дальше.

— Еще не было поздно... Я мог спрыгнуть на полотно, и одно мгновение готовился к этому. Я видел впереди себя фигуру армейца с винтовкой на подножке паровоза. Он мог взобраться выше, чтобы занять более удобное положение, но не делал этого. И я слышал оттуда, со стороны станции, отчаянные женские крики.

„Стреляют!“—воскликнул кто-то за моей спиной с площадки, и я удивился, как этого не слышал сам. Из черноты ночи в шум нашего паровоза врывались короткие залпы, но они были очень далеки, как бы даже где-то вверху... Тогда я совсем не подумал о том, что выстрелы были где-то в стороне. Вместо того, чтобы спрыгнуть, я перехватил перильца другой рукой и стал на подножке крепче. Сделал я это не оттого, что меня напугали выстрелы. Нет, я понял, что взобрался на подножки вовремя. Перед тем тишина на станции даже беспокоила меня, как будто я бежал от несуществующей опасности.

„Лезьте сюда, к нам!“—кричали мне из прохода, но я не двигался. Вагон шел полной скоростью. Вдруг, придерживаясь за перила, через мои плечи потянулся Туляков. Он вглядывался в темноту, дышал тяжело, порывисто.

— Зина!

Она робко подняла глаза, как бы опасаясь, что Мартын прочтет в них то, чего ему не следовало бы видеть.

— Ну?

— Я был несправедлив к Тулякову! Он действительно не думал о себе, он думал только о казне!.. Представь себе: там, на станции, в эшелоне, у него осталась жена... жена и двое ребят!.. Ни одним словом, ни тогда, когда мы ехали к Липкам, ни теперь, когда убегали, он не обмолвился о них. Но он любил их, чорт возьми!.. Об этом говорили все в вагоне. Женщины говорили о какой-то Марье Гавриловне, которая осталась в дальнем вагоне и, надо быть, так и не слышала переполоха. А у Марьи Гавриловны — пятилетний Коля и полугодовая Симочка...

Колю Туляков часто брал с собою на собрания. Колю он таскал по коридорам губкома на плечах — верхом. У Коли были светлые глаза, отцовские. И теперь они, все трое, метались там, на станции, в ужасе — Марья Гавриловна, с Симочкой на руках, и Коля подле нее, а их отца паровоз уносил прочь... потому что партия, вручив ему ценности, приказала: „Ты должен сохранить их!“ Он герой, Зина!..

— Он исполнял свой долг, Мартын!

Мартын вздрогнул.

— Не в пример мне! — пробормотал он.

Зине стало досадно на него за эту его фразу. В то же время она понимала, что ей нужно что-то сказать, чем-то помочь ему. И, сознавая, что ее молчание может быть истолковано им по-своему, она еще ниже склонила голову.

— Ты осуждаешь меня? — сказал он с горечью.

Это было совсем нелепо с его стороны — задавать такой вопрос. Неужели она должна была восхищаться им?.. Помимо воли она сухо улыбнулась. Он продолжал:

— Вот видишь, даже ты не поняла меня... Да, да, не спорь! И я знаю, что никто никогда не поймет меня, что бы я ни говорил... Никто, никогда! — В голосе его зазвенело отчаяние. — Когда я стоял тогда в проходе вагона и слушал отдаленный гул, я совершенно не соображал, кто и с кем воюет... На станции не было ни одного стрелка... Неужели белые расстреливают станцию из артиллерии?.. Обо всем этом, повторяю, не думал я. Я сжимал в кармане браунинг, и с минуты на минуту готов был покончить с собою... Меня душила омерзительная ненависть к себе!..

Зина потупилась.

— Ты этого не сделал, Мартын!

— Как видишь... Что-то мешало... Смерть не казалась мне выходом из моего положения!..

— Да?

Если бы Баймаков был менее увлечен своим рассказом и не переживал бы вновь всех мук раскаяния, он услышал бы в коротеньком вопросе Зины нечто похожее на приговор. Но он не расслышал в ее голосе едкой усмешечки и продолжал взволнованно:

— Да, во мне боролись желание покончить с собой, чтобы уйти от стыда за себя, и сознание, что такой шаг пригвоздил бы меня в глазах всех к позорному столбу... И где-то в глубине мозга у меня уже тогда была мысль, что я не заслуживаю этого позора! Ведь не из трусости же ухватился я за перильца подножки... Повторяю, я был так безразличен к своей особе, что о трусости не могло быть и речи... Ты понимаешь, Зина! Здесь работала какая-то страшная недумающая сила: она подхватила меня в последний момент, напрягла мускулы моей руки, вложила в нее свою волю, и... я вцепился в перильца!..

— Это — твоя ошибка!..

— Да, но у меня не было выбора! Повторяю тебе, это случилось помимо моего рассудка, вне моей воли... Это было то же самое, как если бы я, падая с кручи, уцепился за выступ!..

— Понимаю... Ты уцепился... за вагон, чтобы не скатиться обратно... к своему эшелону, к оставшимся там женщинам!..

Новый ее вызов также не имел у него успеха. Он был как бы выше ее колких замечаний. Он молчал, глядя на нее невидящими глазами. Он глядел в глубь себя и, без сомнения, тяжело страдал, сознавая, что не знает таких слов, которые по-настоящему передали бы этот несчастный с ним случай. И еще он думал, что случай этот особенный, что случай этот выходит из ряда вон и мог произойти только с ним, Мартыном Баймаковым.

— Что же было дальше? — спросила Зина, стараясь смахнуть с себя очарование страдающих его глаз: в

глазах его было, в самом деле, нечто такое, что убеждало без слов, затягивало, покоряло.

— Дальше? — Он говорил теперь равнодушным голосом, точно все, что случилось с ним потом, не имело никакого значения. — Дальше я выпрыгнул из вагона.

— Мартын! — она начинала надеяться.

— Да, на одном из подъемов я выпрыгнул, перевернулся раза два—три при полете и угодил на свежую насыпь. Я встал на ноги, но все же я страшно опоздал, Зина!.. От места моего прыжка до станции было не более десяти верст, но я повредил себе ногу... Я плелся назад черепахою. И потом... сделав с версту, я, к своему ужасу, убедился, что при падении выронил из кармана оружие. Я должен был возвратиться. С большим трудом отыскав свой браунинг, я вновь пошел вперед. Я шел и от боли падал. Пролежав с минуту, снова шел. Последнюю версту я шел, беспрерывно рыча от боли. Но я добрался...

У Зины горели глаза. Она ждала, затаив дыхание. Она теперь видела, что для него не все потеряно.

— Да, я добрался... Но... к шапочному разбору! — Он вдруг залился надсадным хохотком. — Светало, и я увидал перед собою с насыпи мирную, очень мирную картину: станция жила своею жизнью, не было ни выстрелов, ни сражения... За околицей ватага армейцев готовила себе завтрак... По путям бродили люди и среди них... эти... наши женщины, дети, старики! Я услышал даже женский смех там, где приготовлялся завтрак, и это было ужасно, ужасно, Зина! Я шел сюда, теряя минутами сознание от боли, но все же шел... в надежде встретить врага, если надо — умереть! А тут все было мирно, и они, понимаешь, смеялись...

Он замолчал.

— В чем же дело? — попросила Зина. — В чем дело, Мартын?..

— Разве ты об этом еще не слышала? Я сам узнал правду много позже... Тогда же, добравшись до станции, я потерял сознание и много часов пролежал в бреду. Там был врач, он говорил людям, что у меня что-то в роде горячечного пароксизма. В бреду я стонал и хватался за свою ногу. Ее осмотрели, поправили: пустяк, что-то с сухожилием. Через двое суток я пришел в себя. Это был прескверный момент, Зина! Полуоткрыв глаза, я увидел женское лицо над собою. Мне удалось узнать одну из эшелона. То была, кажется, жена Синицына, нашего губпродкома. Она не успела заметить, что я пришел в себя. С закрытыми глазами пролежал я с час, слышал, как она оправляла мое одеяло, меняла холодную тряпицу на моей голове. Касания ее рук жгли меня... Я даже вздрагивал, как от физической боли. Присутствие ее было непереносимо... Я успокоился только, когда она покинула меня. Открыв глаза, я увидел себя в чистой, светлой комнате. По пузырькам на столике угадал, что за мною ухаживали. Я вспомнил все и не хотел возвращаться к действительности. Потом пришли еще женщины, очевидно, с тем, чтобы сменить Синицыну. „Что же это такое, — думал я, — они хлопочут тут, точно я сражался за них и пал!..“ Но явился еще кто-то, надо быть, посторонний. И из осторожного разговора их между собой я убедился, что о моих приключениях здесь или вовсе не знают, или же объясняют их по-своему... Это была пытка, Зина! Но я лежал с закрытыми глазами и молчал, ожидая, когда меня оставят одного. Мне нужна была хотя бы одна минута покоя, отдыха... Но, представь себе, эти женщины не покидали меня день и ночь — еще целые сутки!..

— Странно! — перебила его Зина. — Ты сознавал себя невинным и так, все же, страдал?..

— Да! И тогда, и после! Я знал и знаю, что никогда не сумею рассказать людям так, чтобы они поняли

меня! Ведь перед ними — только факты, одни голые факты!..

Мартын встал и зашагал по комнате. Потом, остановившись у скамьи, он неожиданно проговорил:

— Слушай, Зина! Я знаю, что ты не совсем равнодушна ко мне...

Вздрогнув, она вскинула на него глаза.

— Я говорю о твоем ко мне отношении, как женщины, Зина!

В ее глазах вспыхнуло удивление, потом испуг.

— С чего ты взял, Мартын?

Он не отвечал, о чем-то своем думая. И, с нескрываемой досадой, она сказала ему:

— Дико! Какое отношение к твоему рассказу может иметь мое к тебе чувство?..

Он молча дошел до стены и неторопливо повернул обратно. Глаза его рассеянно устремлены были в сторону.

— Чудной ты, Мартын!

— Почему же? — отозвался он спокойно. — Я вспомнил ту ночь, у монастырской стены...

Она прихмурила брови.

— Отлично! Но почему же вдруг вспомнил ты эту ночь?..

Он улыбнулся прозрачно и мягко.

— Почему?.. Видишь ли... Там, у монастырской стены, я впервые подумал, что если бы стал кого-нибудь любить, то... лишь тебя, Зина!..

На этот раз она растерялась.

— Благодарю за честь! — пробормотала она, стараясь быть насмешливой. — Но мне хотелось бы еще раз спросить тебя: к чему все это?..

— Так! Ни к чему! Мне очень жаль... — Он неловко провел рукою по своей щеке. — Там, в Липках, первая моя мысль, едва я пришел в себя, была о тебе, Зина!

Даже не о тебе, а о том, что можешь сказать обо мне ты... ты, когда узнаешь мою историю!..

— И тебе... было неприятно?..

— Э! — усмехнулся он. — Если бы только неприятно... Но что же ты скажешь теперь об этой истории?..

Он стоял, глядел на нее, ждал. Зина чувствовала, что это — сверх ее сил, и торопливо, цепко искала внутри себя опоры. Не найдя, совсем растерялась. И тут поднялось глухое раздражение против него. Чего от нее хочет он? И что это за человек такой? Как смеет он, после всего только что им рассказанного, говорить ей о своих чувствах? Ведь она может истолковать его признание, как желание парализовать ее совесть? Неужели он не понимает даже этого?..

Наконец она нашла решение. Глаза ее сузились, губы прыгали от обиды. Она сказала:

— Ты ошибаешься, Мартын! И тогда, у монастырской стены, и теперь... когда ты хотел подменить наш деловой разговор интимным признанием, я была равнодушна к тебе...

Он сморгнул, отвернулся, краска залила ему скулы.

Она поднялась на месте, чувствуя всю непоправимость того, что наделала. Но он уже оправился и привычно откинул голову.

— Ты не поняла меня! — сказал он ровно, без тени сожаления или упрека. — Не понял и я тебя... Мне казалось, что ты не как все, Зина!..

— Нет, Мартын, я — как все! Я не хуже и не лучше других! Но речь шла не обо мне... Может быть, ты закончишь?..

— Мне нечего заканчивать! Я все передал тебе.

— Но что же случилось там, на станции, когда ты... — она искала выражения, — когда ты был в пути, в вагоне?..

— В том-то и дело, что там, строго говоря, ничего не случилось... Да, да... — повторил он с раздражением, точно

ему возражали. — Ничего страшного!.. Ничего такого, что могло бы оправдать наше... наше бегство... В двадцати верстах к югу, на станции, стоял красноармейский отряд. Ночью отряд получил сообщение, что к Липкам с юго-востока, из какого-то местечка, подвигается пехота генерала. Отряд залез в вагоны, прибыл в Липки, рассыпался в цепь... Генеральский отряд, наткнувшись на пулеметы, отступил, выпустил по станции несколько зарядов шрапнели и... все!.. На станции был убит какой-то нищий, одной из наших женщин поранило слегка руку...

— Таким образом... — Зина опустила глаза. — Таким образом, вы с Туляковым бежали... от своих же, от красных?..

Он не отвечал. Молча опустился у стола, рассеянно глядел на нее, вдруг улыбнулся, но так, что губы его перекосило.

— Уткин сказал мне, что, возвратившись на станцию, я искупил свою вину...

— Уткин? — Она не могла скрыть удивления.— Разве ты говорил с Уткиным?

— Да, в Липках! Я рассказал ему все, что случалось со мною. Не удивляйся! Я со многими пытался оговорить...

— Со многими? — Зина нехорошо улыбнулась. — Какой ты, однако...

— Я буду добиваться суда над собою! — проговорил он, глядя поверх ее головы. — Самый тяжелый приговор будет для меня все же легче того молчания, которое окружает меня.

— Но ты сам виноват в этом молчании! — заметила она. — Надо было сразу...

— Обо всем рассказать вам? — подхватил он.— Нет, ты ошибаешься! Это... мне уже... не поможет! Тут должна сказать свое слово партия...

Зина задумалась.

— Пожалуй! — согласилась она, но неуверенно. — И все же, Мартын, мне кажется, что ты... как бы это сказать?.. преувеличиваешь свою вину!..

— Я? Напротив! Я вовсе не считаю себя виноватым...

Она досадливо тряхнула плечом.

— Отказываюсь понимать тебя, Мартын!..

— Я ожидал этого, Зина!

Он прямо взглянул на нее.

— Я не упрекаю тебя! — продолжал он. — Понять меня мог бы только тот, кто сам пережил что-нибудь подобное... Кто хоть раз в жизни испытал эту власть животной силы, именуемой чувством самосохранения. Ты прости меня, Зина! — торопливо добавил он. — Я вообще жалею, что заговорил с тобою об этом дрянном приключении...

— Почему же? — едва слышно произнесла она.

— Потому, Зина... — Голос его вдруг согрелся. — Потому, славная моя, что в глазах у тебя... ясно, как у мудреца или ребенка! — Он взял ее руку. — Ты такой человек...

Он не закончил и, в порыве неприкрытой нежности к ней, потянул ее руку к губам. Она торопливо ее высвободила, в глазах у нее появилась тревога. И, роняя свою руку на стол, она, вспомнив что-то свое, с испугом глядела на нее, как на что-то живущее само по себе, безобразное, угрожающее ей. Затем щеки и лоб ее покрылись бледностью. Она справилась с собою, но Мартын истолковал ее тревогу по-своему. Болезненная складка залегла у него между бровей.

Зина взглянула на него, приподнялась, схватила за руку.

— Мартын, прошу! Я не хотела обидеть тебя... Но ты не знаешь, ты ничего не знаешь... Ты принимаешь меня за другую... Я не то, что ты думаешь. Я... недостойна тебя, Мартын!

Угадывая за ее словами нечто более значительное, чем слова эти выражали, он тихонько пожал ее руку.

— О чем ты?.. Успокойся...—произнес он.—Что ты хочешь сказать?..

Она отвернулась, пряча свои слезы; он не выпускал ее руки.

— Зина! Не скрывай от меня... Неужели я... Неужели я возбуждаю в тебе отвращение?..

— Что ты, Мартын!—быстро повернула она к нему свое мокрое от слез лицо.—Да имею ли я право судить тебя?.. Нет, нет! Я—о своем, о другом... Но ты не спрашивай! Прошу тебя—не спрашивай меня...

Ее рука легла ему на плечо, коснулась его головы, порывисто приласкала.

— Не надо, хороший мой! Не спрашивай... Пустяки!..

Но он уже насторожился. Выронил ее руку. Заглядывал в глаза ей холодно, хмуро.

— Как тебе угодно... Можешь не говорить!..

Казалось, он позабыл о своем горе, обо всем, что перед тем доставляло ему страдание.

— Не хочу неволить тебя!..

Голос его был придушен. Зина поняла, сколь она не безразлична ему, и, готовая забыть все, что стряслось с ним, горячо заговорила:

— Мартын, я знаю, ты предан революции... И верь, что моя жизнь также принадлежит ей... Но я не поняла тебя, почему...—Она как бы сглотнула слюну.—Почему тебе... жаль той ночи... у монастырской стены?.. Ты знаешь: я тоже вспоминала обо всем... и о тебе... Мы с Михаилом Иванычем часто говорили о тебе, Мартын... И ты знаешь: он любит тебя... Он только не показывает этого, но любит, любит... Ты очень близок и дорог ему... В вас есть что-то родное, общее!..

Мартын резко качнул копною своих волос.

— Между нами ровным счетом ничего общего!

— Возможно! Но мне всегда так казалось... К Михаилу Иванычу я отношусь, как к старшему другу, Мартын!..

— Это меня не касается!..

— Я — между прочим!.. — Она отвела глаза. — Так ты и впрямь вспоминал обо мне?.. Мартын, скажи, ты любил кого-нибудь?..

У Мартына скользнула на губах улыбка.

— А вот не скажу! К чему? Или ты, как все женщины, эгоистка?..

— Можешь не отвечать... Конечно, я не имею права!..

Он поймал в ее голосе острую нотку и почему-то вдруг вспомнил маленького, пушистого зверька с оскаленными зубами: видел такого в тайге, на севере, под елью, проносясь мимо на лыжах.

— Зина! Мы говорим с тобой, как малые ребята... В чем дело? Хочешь, я прямо скажу о своем к тебе отношении...

— Нет, нет! — перебила она его. — Молчи!..

— Вот видишь, ты сама не желаешь!..

— Потом, Мартын! — Она подняла на него влажные, лучащиеся глаза. — Я верю тебе... Дай мне твою руку... Мартын, хороший! Сделай так, чтобы тебе... не мучиться... от этой проклятой истории! Сделаешь?..

Он опять улыбнулся, и от улыбки вокруг его рта обозначились морщинки, как у тяжело-больного, а ржаные ресницы сошлись и прикрыли потемневшую синеву.

— Постараюсь, Зина, но не обещаю! Видишь ли, тут дело не в этой только истории... Я боюсь, что никогда не научусь презирать смерть!..

— Но разве ты страшишься ее?

— В том-то и беда, что страха нет, но нет и равнодушия! Я не могу там, где речь идет о смерти, быть расчетливым, холодным... Ты сказала, что у меня с Михаилом Иванычем есть общее... Нет, ты не знаешь Черноголового! Вот он, действительно, презирает смерть... Может быть, оттого, что презирает и жизнь, свою,

личную!.. А я... я не могу даже представить себе, что когда-нибудь умру, не буду двигаться, бороться, дышать... Я люблю жизнь! Но она... понимаешь ли ты это? — она теряет для меня цвет и вкус, так как я вечно ощущаю себя в ней...

— Философия, Мартын!..

— Нет, для меня это — реальный мир! — Он помолчал. — Кажется, я начинаю прозревать... Чтобы наслаждаться жизнью, революционер должен научиться презирать ее!.. И только в этом случае мы будем холодны в нашей игре с опасностями... как электромонтеры среди проводов высокого напряжения!.. Видала таких когда-нибудь? Эти рабочие часами висят в воздухе, среди проволок, и каждое неосторожное их движение... Но они, понимаешь ли, поют песни, шутят и перекликаются, точно находятся у себя, за домашним своим столом...

— Привычка, Мартын!..

— Привыкнуть к страданию, к страху, к угрозам смерти нельзя!..

— Но, Мартын! Терпение первобытного человека, человека-раба, близко этой привычке!

Он откинул голову.

— Я говорю не о рабах, Зина! Люди простые, лишенные культуры, еще и теперь похожи на твоего первобытного человека... Что такое Каратаев Толстого, этот круглый, захлебывающийся жизнью, терпеливый, покорный мужик? Раб, конечно... Но мой пример с электромонтерами говорит о другом! Здесь не только привычка, терпение, покорность... Всего этого слишком мало, чтобы так совершенно владеть собою... Здесь, Зина, другое! Здесь человек бесстрашен, спокоен и радостен потому, что... знает! Он знает, с какими силами имеет дело, он изучил, прощупал на опыте каждое движение, каждый поворот этих сил... Тут, Зина, человеческий мозг, знание, господство над тайною!..

Зина смотрела на него напряженно-внимательными глазами, губы ее слегка распались, тугая морщинка сводила ей брови. Он поймал ее взгляд и засмеялся — впервые с того дня, как возвратился из Липок.

— Тебе легче, Мартын? — склонилась она в его сторону.

— Да, мне легче... но...

— Но?

— Я подумал сейчас о прославленном русском интеллигенте, облегчающем свою душу болтовнею!..

— Разве это похоже на тебя?..

— И да, и нет! Я не Каратаев, я давно не Каратаев! Но и до электромонтера мне далеко!

— Как же быть, Мартын?!

Это вырвалось у Зины бездумио, и таким наивно-соболезнующим было при этом выражение ее глаз, что он, снова рассмеявшись, невольно потянулся к ней.

— Зиил! Знаешь, чего мие хочется сейчас, в эту самую минуту?..

— Скажи.

— Всего-навсего... поцеловать тебя!

— Почему же?..

Но ои уже притянул ее к себе, н она покорно, сжав плотно губы, подставила ему рот. Он ощутил тонкие и холодные ее губы, оторвался от нее, застучал ладонью о стол.

— Бис, бис! У нас впереди огромная работа: научить секретаря губкома целоваться... Ты, Зинушка, этого еще совсем, совсем не постигла!

Только теперь в смуглости ее щек просквозил румянец.

— Не дурачься, пожалуйста! — сказала она несколько прыгающим голосом. — Ты переходишь с одной темы на другую с легкостью... с легкостью самовлюблениого человека!..

— Да нет же, товарищ! — все еще весело откликиулся он. — Какая тут, к чорту, самовлюбленность! Я вовсе не

люблю себя! Я решительно недоволен собою... Разве ты этого не видишь?..

Она колебалась, что-то обдумывая. Он повторил уже с оттенком настойчивости:

— Нет, право, Зина! Неужели ты всерьез подозреваешь меня?..

Его ресницы, совсем желтые под ярким светом, дрогнули.

— Что же молчишь? — глухо проговорил он. — Я не выношу шуток!..

Тогда она шагнула к нему, стала совсем близко.

— Верю, Мартын! Верю, что ты очень страдал и страдаешь... Не сердись на меня!..

Чувствуя его руки у себя на спине, Зина, вздрагивая, прижалась щекою к его плечу.

Так, близко друг к другу и молча, стояли они некоторое время.

Потом, ласково отстраняя ее, Мартын сказал спекшимся голосом:

— Нет, я не готов, Зина! В моей таратайке мне самому тесно... И я еще не знаю, куда ее вынесет, и вынесет ли вообще когда-нибудь... Ты не обижайся!.. — добавил он поспешно, заметив, как дрожат ее губы.

Зина молчала, опустив глаза. Он ждал. Наконец, подняв к нему все еще жаркое свое лицо, она негромко, но внятно и улыбчиво проговорила:

— Плохо же ты меня знаешь, Мартын... Я никогда не попрошусь к тебе в седоки!..

XIV

Закрытое собрание партийного актива, на котором Мартын давал свои объяснения, мало походило на суд, но оно уделило достаточно внимания делу, и председатель собрания, Михаил Иваныч, держал себя совершенно

официально. Может быть, несколько суше, чем это требовалось даже от председателя ревтрибунала. Только моментами он терял свое ледяное равновесие, но это оставалось мало заметным для окружающих. В первый раз вывел из себя Михаила Иваныча Клепиков. Был Клепиков наряден и весел, что особенно бросалось в глаза при мрачноватом настроении в зале.

Он рассказал (хотя об этом никто не просил его) о случае нападения на него Баймакова в помещении губкома и закончил свое показание так:

— Я прошу учесть этот факт! Так мог держать себя только... жиган!..

Тут вот и поднял Черноголовый голос. Его бесстрастная снежная голова вдруг откинулась на спинку кресла, за толстыми стеклами очков сверкнул зеленый огонек, он сказал жестяным тоном:

— Прошу товарища Клепикова помнить, где он находится и что из себя представляет... Почему ты здесь? В силу постановления губкома, ты должен быть на продфронте!..

Клепиков смешался, оглянулся, заметил улыбочки по рядам и, с ненавистью уставившись на председателя, проговорил сдавленным голосом:

— Я остался в городе потому, что такова была воля губкома!

Желчный Жданов прокричал от стола президиума:

— Еще бы! Ты забросал нас ходатайствами...

Михаил Иваныч остановил Жданова.

— Стоп... Садись, Клепиков, твое слово окончено!

— Нет, еще нет! — побледнев, заговорил Клепиков.— Заявляю еще раз, что нахожусь здесь не по своей воле. Но, если об этом забывают, или хотят забыть... завтра же отправляюсь в уезд!..

— И очень хорошо сделаешь! — бросил равнодушно Черноголовый.

Прежде чем сесть, Клепиков измерил окружающих загадочным взором. Михаил Иваныч следил за ним до самого того момента, пока он не опустился на скамью, тщательно перед тем подобрав концы новенького своего френча.

Зина Кудрявцева, благодарно взглянув на Михаила Иваныча, подметила в его глазах едкий летучий огонек. Теперь она не сомневалась: Клепиков разгадан Черноголовым.

В зале было душно, потно и шумно. Время приближалось к полночи. Вопрос о Баймакове поставили сверх повестки собрания. Повестка заключала в себе текущий момент: положение на фронте, продразверстка, борьба с эпидемией тифа. Выступали военные, много говорил Синицын, толково и обстоятельно выкладывали свои соображения губздравотдельцы.

Болезни, голод, кулацкие беспорядки в деревнях и наступающий с юга лавиною враг—все это накалило атмосферу собрания до предела, и теперь, когда перешли к делу Баймакова, за столом президиума почувствовали, что дело это может принять неожиданный, тяжелый оборот. Губарев склонился к Михаилу Иванычу и вполголоса предложил отложить вопрос на другой раз. Но Черноголовый не дослушал, поднялся за столом и начал стучать чайною ложечкой о стакан.

— Товарищи, заседание не окончено!—возгласил он, откидывая ложечку и вытирая о настольное сукно свои пальцы (ложечка была липкая, в сахарной воде). — Я обещал товарищу Баймакову десять минут для заявления. Я не мог отказать ему. Он указывает на то, что не в состоянии нормально вести какую бы то ни было работу, пока не будет знать отношения партии к его делу...

— Какое дело?—выкрикнул кто-то с места, из-под древней желтолистой пальмы.

— А вот сейчас услышите!—Михаил Иваныч снова захватил ложечку. — Терпение, товарищи! Вопрос идет о

чести одного из наших энергичных и преданных работников... Я не хочу наперед классифицировать поступок товарища Баймакова, о котором он расскажет вам сам... Прошу собрание отнестись с должиым вииманием... Слово имеет товарищ Баймаков!—закончил он, усаживаясь в свое кресло.—Только покороче!—сухо добавил он, взглянув в сторону Мартына.

В зале приглохло, но шопотки еще шуршали некоторое время. Те, что собрались уходить и придвинулись уже к двери, снова заняли свои места. Кто-то вслух бросил: „Опять до утра!“ Жданов нашептывал о чем-то Черноголовому, но было видно, что тот не хочет слушать. Мартын, не торопясь, прошел к столу, стал вполуоборот к президиуму и молчал, не то справляясь со своим волнением, не то выжидая, когда в зале совсем затихнет.

— Ну!—кивнул ему головою Михаил Иваныч.

В эту минуту за столом вскочил Жданов, обвел передние ряды темными, горящими глазами и заговорил:

— Товарищи! Я не нахожу возможным на данном собрании заслушивать заявления отдельиых партийцев... Положение на фронте и внутри губернии небывало тяжелое, а тут нам предлагают с места в карьер разбираться в какой-то темиой истории!..

Всякий другой на месте Черноголового прервал бы Жданова. Но Михаил Иваныч этого не сделал. Он позволил Жданову досказать и, выждав, пока оратор усядется, спокойно, чуть-чуть даже насмешливо, обращаясь ко всему залу, сказал:

— Я могу, товарищи, поставить заявление Жданова на голосование...

— Не надо! — послышалось с мест. — Нечего волынку тянуть!..

— Все же я проголосую, товарищи! Но должен заметить, что Жданов не прав... (Жданов резко и безнадежно махнул рукой). Педантичность Жданова, требующего провести

дело по всем инстанциям, неуместна и несвоевременна... Товарищи! Обстановка вокруг нас действительно тяжелая, но именно это и обязывает нас быть чуткими к положению и состоянию каждого члена коллектива... Не может быть здорового коллектива там, где его члены оказываются, как сказал товарищ Жданов, замешанными в темной истории!..

В зале послышался легкий всплеск одобрения.

Некоторые стягивали с себя пиджаки, другие наскоро заворачивали цыгарки; кто-то догадался, наконец, открыть окно, за ним—другое. С улицы, из лунной голубой ямы, потянуло упругою прохладой; дрогнули и закрутились под люстрою клубы табачного дыма; жаркие и потные лица тех, что сидели ближе к окнам, ярко проступили в желтом сумраке. Катюшка-бомбометчица (из особого отряда) вскочила на подоконник, просунулась в окно, кто-то потянул ее за ногу, она взвизгнула на весь зал, но тотчас же уселась, заломив свою несменяемую серую папаху, и до конца вечера не сводила сосредоточенно помигивающих глаз с президиума.

Подчиняясь требовательному взгляду Черноголового, Мартын начал. И как только услышал среди настороженной тишины свой голос и как только почувствовал на себе глаза из зала, глаза нетерпеливого и строгого ожидания, тотчас же понял всю безвыходность своего положения. То, о чем он должен был рассказать, продолжало казаться ему чрезвычайно глубоким и сложным. В этой истории, разыгравшейся на станции, он чувствовал себя безмерно обиженным, оскорбленным, приниженным, но обидчик был неуловим, его нельзя было взять за шиворот и поставить перед глазами зала. А эти глаза были строги, холодны и нетерпеливы. И в ушах звучали холодные слова Черноголового: „Только покороче!“

— Постараюсь не затягивать!—говорил Мартын.—Но я боюсь, товарищи, что мне не удастся передать вам все

те обстоятельства, которые... в которых я совершил преступление! Преступление мое, если говорить прямо, должно быть определено как дезертирство с фронта, а сам я должен быть заклеймен как трус и шкурник... Но это—не так!—Он обвел зал мрачным, тугим взглядом.—Это не так, повторяю я. Если бы это было так, я сам, не дожидаясь вашего приговора, уничтожил бы себя!..

В зале стало еще глуше, но Мартын замолчал. По его виду нельзя было сказать, чтобы он особенно волновался. Только Зине, устроившейся на самом углу стола, было видно, как неукротимо на золотистом его виске трепетала жилка.

Сидевшие в переднем ряду отвернулись от Баймакова, пряча в глазах усмешливый холодок: слишком запальчиво было начало.

Справившись с собою, Мартын продолжал:

— Я беспощаден к себе, товарищи! И все же, как ни жесток я к собственной персоне, не могу принять обвинения в дезертирстве, в трусости!.. Вот как было дело...

Он начал рассказывать о событиях в Липках и старался сокращать рассказ, но чем ближе подходил к самому факту своего бегства, тем пространнее и сбивчивее становился его рассказ.

В то же время он чувствовал, как внимание зала все чаще и настойчивее отливало от него, образуя вокруг него невылазную пустоту. И в один из моментов, когда глаза слушателей опали и потускнели, наполняясь чем-то своим, далеким, нездешним, востроносая, стриженная девушка, смахнув со лба кудельку, резво, в упор выкрикнула:

— Ближе к делу!

Тогда, в последних усилиях воли, шатающимися фразами закружил Мартын у рокового события, не смея ни отступить от него, ни перешагнуть его, и вдруг смолк,

пораженный видением того голого, ничем не прикрашенного и непоправимого шага, который совершен был им несколько недель назад.

В одиночестве, бессонными ночами, не раз рисовал себе Мартын эту встречу с людьми и судьями; каждое слово, которое вставало тогда в разгоряченном его мозгу, казалось ему полнокровным, убедительным. Он продумал про себя все, что было связано с несчастным случаем в Липках; ничто, как казалось ему, не укрылось от него, ни одна деталь не ускользнула из поля его зрения: память его не успевала вбирать бурного потока объяснений, доказательств, выводов.

В одиночестве он создал вокруг события в Липках целый мир тончайших переживаний, скрытых, но неотразимых побуждений.

И все это теперь пало, рассыпалось, как пепельные формы перегоревшего тряпья.

За столом, под самою люстрою, в центре, сидел Михаил Иваныч. Он сидел, как всегда, поджав под себя ногу, и оттого голова его, литая из серебра, возвышалась над другими. За стеклами очков, отражавших люстру, нельзя было разглядеть его глаз, почему все бритое лицо его казалось пустым, безжизненным. По правую от Михаила Иваныча руку, чертя карандашом на бумажке (тут были елочки, домики,—как в детских тетрадях), прямо, точно привязанный к спинке кресла, сидел Жданов из комхоза. Свет бил ему в залысины лба. Залысины эти и кожа на скулах были сухи и как бы выкрашены охрой. Он то и дело глухо отрыгивал. Его мучила вечная изжога, он переносил ее с завидным терпением, но болезнь просовывалась и кричала из огромных его глаз. Он их вскидывал то на одного, то на другого из находившихся в первом ряду, и тот, кто встречался с его глазами, принимал на своем лице, помимо воли, выражение неудовольствия собственным своим состоянием. По левую от

председателя руку громоздко развалился в старом барском кресле предгубпрофсовета Губарев. Человек этот был скуласт, кряжист, от него веяло спокойствием, верою в себя и окружающих. Под лохматыми его бровями лежала густая тень, и не было видно маленьких, добрых и умных глаз, высматривающих из-под косм, как зверьки из трав. Он держал руки, большие и красные, на столе, перед собою, скрестив пальцы. Лишь два — три раза за весь вечер он разомкнул пальцы: свернет козью ножку, раскурит и снова сложит пальцы, держа цыгарку в белых, крупных зубах и щурясь от дыма. Лузгин, предчека, поместился в сторонке, за спиною Губарева, и все время боролся со своими отяжелевшими веками. Синицын устроился рядом с Лузгиным, он часто подталкивал его под локоть и устало улыбался.

Зал был освещен только у стола. Дальше стлался сизый дымный полумрак, отчего ряды скамей с темными на них фигурами походили на только что взрыхленную правильными рядами пашню. И на этой пашне, как маки алые, цвели головные повязки женщин. Лица у собравшихся были как бы за слюдою, разглядеть их было трудно. Только, когда вслух говорили с места, сверкали зубы, да случайная искра от люстры вспыхивала там и сям в белках.

Зина была вся на свету, это ее смущало, она низко склонялась к лежавшему перед ней листу бумаги и не переставала грызть карандаш.

Когда Мартын смолк, Зина с испугом вскинула на него глаза, потом быстро перевела их на Черноголового, потом на Жданова и, наконец, в глубину зала. Если в тот вечер, когда Мартын исповедывался перед нею, она еще сомневалась кое в чем, то теперь, видя его в положении подсудимого, вся и без колебания была на его стороне. Уже в середине рассказа Мартына она перестала обращать внимание на слишком яркий свет и с нескрываемою

тревогой вглядывалась в зал. Когда же оттуда доносился к ней легкий говорок, она хмурила брови и умоляюще поглядывала на председателя.

— Продолжай, Баймаков!—попросил Черноголовый, подался к столу и застучал ложечкою о стакан.

Мартын провел рукою по растрепанным своим волосам и заговорил снова, но в голосе его было смутно, серо, безжизненно.

Теперь он говорил, как мог бы говорить свидетель, вовсе не замешанный в деле, и Зина почувствовала, что Мартын топит себя.

— О чем он?—с испугом шепнула она, потянувшись в сторону Михаила Иваныча.—Разве так можно!..

Но Михаил Иваныч предостерегающе поднял в ее сторону ладонь.

Темнолицая, в пегих космах, вытянув жилистую шею, поднялась у стены районщица Памфилова и вдруг напряженным, хлестким голосом бросила в сторону Мартына:

— Пуганая ворона куста боится!..

Мартын вздрогнул, но в эту минуту по залу прошел беспокойный шорох, люди повернулись к выходу, некоторые встали; откуда-то из угла вынырнул Уткин и зашлепал в ладоши, другие подхватили.

Черноголовый в недоумении поднялся за столом, но весь зал уже гремел дружными выкриками, звонкими шлепками.

От двери, пробираясь узким проходом, шел коренастый, по-военному прямой человек. Он не глядел по сторонам и торопился, и как только приблизился к столу, откланялся, потрогал, неловко подвинчивая, густой черный свой ус и стал искать глазами место. Синицын, шумно двинув стулом, встал, но гость взял его за плечо и толкнул назад, а сам поспешно опустился в кресло за спиною Жданова.

— Продолжайте, прошу...—сказал он Михаилу Иванычу.—Мне не к спеху!..

И желая показать, что приготовился слушать, он поднял, не замечая соседей, глаза свои к потолку.

— Продолжаем, товарищи! — усаживаясь, крикнул Черноголовый.—Баймаков, твое слово...

Жданов, чтобы не заслонять собою гостя, отодвинулся в сторону, Лузгин пересел ближе к Кудрявцевой.

Зина второй раз видела Панкратова. Это имя в последние дни не сходило с уст. Оно было связано с боевой страдой, с армией, стоявшей на подступах к городу. И как в первый раз, так и теперь, Зина с удивлением отметила про себя необычайную простоту в сером и смуглом лице. Это было лицо пахаря и воина, от него веяло жестким, накрепко затесанным прямодушием. Только глаза, отливающие студеным жаром, были необычны.

— Баймаков, твое слово!—повторил Черноголовый.

Перед взором Мартына только что пронеслись гулкие эскадроны конницы, поблескивающий поток шашек, рыжие облака пыли в накаленной под солнцем степи. И одновременно он ощутил, почувствовал, увидел себя стоящим здесь, в душном прокуренном зале, с глазами, ищущими участия, с сердцем, изнывающим в приливах ущемленной гордости.

Он подвинулся к середине стола и, повернувшись спиною к президиуму, заговорил полным голосом. Этот переход от низких, рокочущих ноток к звучному, напряженному струнным звоном голосу насторожил зал, и на минуту люди забыли о черноусом госте, о фронтах и о завтрашнем своем дне. Насторожилась и Зина, почуяв в голосе Мартына что-то большое и новое, какое-то внезапно созревшее решение.

Он говорил непринужденно, откинув голову и глядя перед собою, поверх рядов.

Первым понял Мартына Черноголовый: он чуть-чуть шевельнул темными бровями, и Жданов услышал странное, сорвавшееся с уст председателя, словечко.

— Кержак!—произнес про себя Михаил Иваныч, сидя прямо и не двигая ни одним мускулом в лице.

За Михаилом Иванычем и Зина поняла смысл того, о чем говорил Мартын, но она вся встрепенулась, высоко взметнула брови и в таком состоянии, с глазами, выражающими изумление, испуг, досаду, замерла на своем месте.

По залу прошел вздох облегчения, люди зашевелились, послышались одобрения. Теперь Мартына начали понимать. Он уже не казался чужим, знающим что-то свое, умалчивающем о самом главном.

Михаил Иваныч встал.

— Баймаков кончил! — объявил он, и едкая, в горечи, улыбка скривила его губы.—Товарищ Баймаков признал себя повинным в слабости, в невыдержанности, в поступке...— Он поколебался и закончил четко, сухо:—в поступке, недостойном партийца, революционера... Так ли я понял тебя, Баймаков?

Губарев, Жданов, Синицын, Лузгин и Зина, бледная и недвижная, ожидающе глядели на Мартына. И даже гость оторвал свои глаза от потолка.

Мартын молчал.

— Хорошо, будем говорить мы!—поднял голос Михаил Иваныч, сложил трубочкой губы и несколько секунд молчал.—Итак, товарищи, все вы слышали обстоятельства, при которых...

Между тем, в зале нарастал шум. Головы неспокойно склонялись друг к другу. Руки тянулись к плечам соседей. В задних рядах поднялись на ноги.

Наскоро, напором, в глухом, еле сдерживаемом напряжении решали в зале свое, особое, доступное только там, где люди сидят близко и могут слышать частоту дыхания соседа, приливы крови, безгласый язык сердца.

И вот из середины, из самой гущи скучившихся голов, поднялся бритый человек, выпятил из-под кожаной тужурки

ситцевую свою грудь, смахнул на затылок фуражку и выбросил руку с растопыренными пальцами.

— Иваныч, давай слово!..

Вокруг подхватили:

— Слово Сухорукову! Сухоруков говорит...

Михаил Иваныч поискал ложечку, не нашел, понял, что нужды в ней нет, и торопливо объявил:

— Слово Илье Ильичу!..

Илья Ильич Сухоруков, комендант станции, гроза всего тутошнего железнодорожного мира, человек с распахнутой душой и с челюстями, ломающими у врага становой хребет, наморщил лоб, огляделся, как бы ища вокруг нужные слова, и проговорил зычно:

— Пускай скажут об этом деле другие... из тех, которые катались в Липки... Парень запутался!..

Черноголовый качнулся к Губареву, потом к Панкратову (гость что-то сказал, подвинчивая черный свой ус) и приподнялся за столом.

— Желает ли собрание выслушать очевидцев?

— Сыпь!—гаркнули в зале.—Обязательно!—подхватили женские голоса.—Просим!

А Илья Ильич все еще стоял в боевой позе, весь устремленный к президиуму, и все протягивал руку. Он опустился на скамью только после того, как к столу вышел Туляков.

На Тулякове было все то же, что и в дороге, пышное, новенькое пальто, но ремень не стягивал его у пояса, и оттого теперь походил этот человек на мещанина, прибравшегося к празднику. Белесые его глаза не торопясь прогулялись по залу. Он откашлялся в руку, заговорил, и тотчас же послышались возгласы: „Громче! Не слышно“... Туляков переступил с ноги на ногу и все так же глухо повторил сказанное, но, в устоявшейся тишине, его было слышно всем.

— Я ничего не знаю, товарищи!..

В зале вспыхнул смех, кто-то из женщин взвизгнул, позади зашикали. Илья Ильич опять встал на ноги, но Михаил Иваныч отыскал ложечку и начал звонить.

— Товарищ Туляков! От вас требуется, чтобы вы передали нам все, что знаете о поведении Баймакова в дороге...

Туляков и без этого понимал, что́ именно от него желали, но ему было тошно говорить о пережитом. Ведь впереди отчаянная работа: к чему оглядываться, ворошить прошлое!

Однако, уступая желанию председателя, он кратко и сдержанно передал свои дорожные наблюдения, при чем умолчал вовсе о недружелюбном настроении Мартына по отношению к семьям, к женщинам, к детям (что особенно не нравилось Тулякову, и о чем до сих пор помнил он).

По его мнению, Мартын отправился в этот путь больным, его лихорадило, ночами он бредил. Что же касается самого бегства из Липок, то здесь больше всего Туляков считает виноватым себя, так как действовал на основании непроверенной информации.

— Передо мной, как мне тогда казалось, было только два выхода: или остаться с семьями и отдать в руки белых казну, или спасти казну и...

— Удрать от семей!—подхватил Жданов, оглядывая зал с видом человека, ожидающего одобрения.

— Не так, Жданов! — не громко, но внушительно заметил Михаил Иваныч. — Товарищ Туляков, спасая врученные ему ценности, покинул на станции собственную семью!..

— Это ничего не меняет!—проворчал Жданов.

— Как смотреть!—отозвался Михаил Иваныч.—По-моему, все меняет! Но... у нас идет речь не о Тулякове... Продолжай, Туляков! Ты говоришь, что Баймаков вместе с другими взобрался на площадку вагона... Но, скажи, когда и почему он выпрыгнул в пути из вагона?

— Вот этого я не знаю,—отвечал Туляков, не спуская недоумевающих глаз со Жданова.

Кресло под Губаревым заскрипело.

— А как, все же, ты думаешь, зачем парень спрыгнул?—спросил он, обращаясь к Тулякову.—За каким дьяволом спрыгнул он?..

Губарев не сомневался, что Мартын выбросился из вагона с единственным желанием возвратиться на станцию но, задавая свой вопрос, он имел в виду всех остальных в зале. Туляков подумал, сказал:

— Мне кажется, он сделал это не под влиянием страха... Опасаться, что с нами попадет к врагу, он не мог!..

Жданов опять не утерпел.

— М-да,—фыркнул он.—Где уж с вами попасть к врагу, коль вы от врага на всех парах улепетывали!..

Катюшка-бомбометчица ударила в ладоши, но ее не поддержали.

Михаил Иваныч, не глядя на Жданова, но имея в виду его, укоризненно покачал головою.

— Какого ты мнения о Баймакове? — неожиданно обратился к Тулякову Лузгин.

Михаил Иваныч с выражением недоумения повернул к Лузгину голову, но Туляков уже говорил.

— Мне думается,— сказал он твердо, оборачиваясь к залу,— Баймаков хороший товарищ, но он мало жил с людьми!..

— Больше ничего?—чуть переждав, спросил Черноголовый.

— Больше ничего!

— Садись... Товарищ Добрынин, прошу к столу!..

Добрынин не пожелал выйти. Он говорил с места, из третьего ряда, грузно возвышаясь над спинами соседей. Голос его был неровен, он как бы наперед сердился по поводу возможных по отношению к нему подозрений.

С эвакуируемыми ему было разрешено выехать в виду общего болезненного состояния. Путь был несносный. Дорогой разыгрался ревматизм.

— Что ты скажешь о Баймакове? — прервал его Михаил Иваныч.

— Я знаю о нем не больше вас всех... Я ехал, и он ехал!..

— Да, маловато! — улыбнулся Михаил Иваныч.

— В этом виноват сам Баймаков! — хмуро отозвался Добрынин. — Будучи комендантом поезда, он ни разу не сделал обхода, ни разу не заглянул к нам в вагоны. Между тем, с половины пути эшелон испытывал острую нужду в питьевой воде...

— А где же был ты?! — воскликнула с подоконника бомбометчица.

— Он, Катюшка, дрыхал! — прозвучал голос с другой стороны.

— Зачем дрыхал! — вмешался Сухоруков. — Он баб охранял!..

Добрынин повысил голос:

— К сожалению, пришлось выполнять и эту роль!..

— Почему же — к сожалению? — пустил шпильку Жданов.

— Потому что это входило непосредственно в обязанности коменданта поезда!.. — совсем раздраженно проговорил Добрынин и помолчал. — Представьте себе положение немногих бывших в эшелоне мужчин, когда глубокой ночью, никем не предупрежденные, они оказались под обстрелом, среди перепуганных насмерть женщин!..

— Небось, от страху под себя напустили! — крикнул кто-то из угла, и вокруг тихонько захихикали.

Черноголовый поднял руку.

— Прошу товарищей уважать собрание! — сказал он строго и взглянул на Добрынина. — Видел ли ты, как отбыл со станции паровоз вашего эшелона? И сталкивался

ли в тот момент с ним? — указал он рукою на Мартына.

— С ним я не сталкивался, но потом мне рассказывали...

— Говори, что сам видел! — перебивая Добрынина, прокричал Сухоруков.

— Пускай все говорят! — вступилась востроносая девушка, вскочив с места и встряхивая своими короткими вьющимися волосами.

— Продолжай, Добрынин! — кивнул головою Михаил Иваныч.

Добрынин посапывал в рыжие усики.

— Мне трудно высказываться, когда мешают...

— А ты жарь, чего там! — подбодрили с места.

— Собственно говоря...— Добрынин крякнул. — Мне нечего добавить к тому, в чем уже сознался Баймаков! Его поступок говорит сам за себя... Меня удивляет только одно: как он мог, выждав, когда белых отбросят со станции, явиться снова в эшелон и даже заставить ухаживать за собою женщин... тех самых, которых он столь... столь мерзко покинул в грозный час?..

Михаил Иваныч не спеша перевел глаза на Мартына, как бы ожидая, что тот скажет. Но Мартын не поднял даже головы, он сидел в первом ряду, с краю, у самой стены, угнувшись к коленам.

Добрынин прищурился.

— Повидимому, мне не получить ответа на недоуменный мой вопрос!..

Зина вперила в Добрынина горящие глаза, поколебалась и неожиданно встала.

— Я поражена вопросом товарища Добрынина! — заговорила она, волнуясь. — Он слышал здесь объяснения Баймакова... И все мы слышали!.. Товарищ Баймаков возвратился на станцию не затем, конечно, чтобы кто-то за ним ухаживал... Он страдал за женщин, за детей... Он

готов был сражаться, умереть и не ожидал, конечно, что нужды в нем уже не было...

— В том-то и дело! — ухмыльнулся Жданов. — Он слишком запоздал...

— После драки кулаками не машут! — резко прозвучал голос районщицы Памфиловой — Накройся, Кудрявцева!..

— А ты не вопи! — повернулся к Памфиловой круглолицый, безусый слесарек из депо, председатель нынешнего месткома и член первого революционного комитета железнодорожников.

— Я дело говорю! — огрызнулась Памфилова, запрятывая дрожащими пальцами под платок седеющие свои космы.

Зина порывисто опустилась на свое место. Она тяжело дышала, щеки ее отливали кумачом, пальцы плясали по бумаге, на опущенных ресницах сверкала влага.

Михаил Иваныч позванивал о стакан, Добрынин сел на свою скамью, в зале перепархивали шопотки.

— Повидимому... — заговорил Черноголовый: — повидимому, очевидцы ничего нового не дадут нам... Предлагаю перейти к обсуждению!..

— Позвольте мне! — донесся из угла трепетный голос.

Черноголовый перегнулся через кресло к Григорову и что-то говорил ему.

— Позвольте мне! — опять послышалось из угла. И, не ожидая разрешения, путаясь на бегу в полах своей накидки, к столу пробрался Уткин. В руке у него торчала дымящаяся папироска. Пот струился по его рыхлому и красному, точно обваренному, личику.

— Товарищи! — торопливо, опасаясь, что его перебьют, начал он. — Я человек не военный и, к тому же, больной... Когда станцию начали обстреливать, мне ничего не оставалось, как бежать под какое-нибудь прикрытие...

Тут он заметил свою папироску, спохватился и начал искать вокруг себя пепельницу.

— Ну-с! — продолжал он, комкая папиросу и засовывая ее в карман. — Попал я, товарищи, в дровяной склад... И сидеть бы мне тут до конца, но... стало разбирать меня, понимаете ли, любопытство... Любопытство — друг мой и враг мой!.. Лежу это я в дровянике, а сам думаю: „Что-то теперь с нашими женщинами?..“ И, представьте, не выдержал... вылез!..

— Ой ли? — нежданно весело бросил кто-то от двери.

— Честное слово! — воскликнул Уткин. — Любопытство хоть куда заведет меня... Такой уж я человек!..

— Товарищ Уткин! — отрываясь от гостя, приподнялся Черноголовый, — прошу... поближе к делу!..

— Слушаюсь! — встрепенулся Уткин. — Я буду краток...

Деповский слесарек, внимательно следивший за тем, как, вместе с руками, Уткин вскидывал вверх крылья своей накидки, вдруг закатился сиплым смехом. Его поддержала Катюшка, и вот в разных концах всплесками зазвучал по залу сдавленный хохоток. Не выдержал, оскалил зубы Илья Ильич. Отвернулся от публики, чтобы скрыть судорогу в лице, Губарев.

А Уткин продолжал жестикулировать, то и дело подбирал слюну, глотал от возбуждения концы фраз.

— Тише, товарищи! — прерывая себя, восклицал он. — Внимание!.. Это был настоящий ад... Ничего подобного я не переживал в своей жизни... В небе — шрапнель, на земле — женские вопли, кругом — тьма... Бегу вдоль вагона, за мной товарищ Арштейн, за Арштейном — товарищ Добрынин!..

— Не ври! — кинул, приподнимаясь, Добрынин. — Я не бежал, а стоял...

— Виноват, товарищ Добрынин! Сначала, действительно, вы стояли... — захлебывался Уткин. — Но когда мы наскочили на вас, вы также побежали...

Взрыв приглушенного смеха окатил зал.

— Портачи! — вавизгнула бомбометчица, срывая с себя папаху и шлепая ею о колена.

Михаил Иваныч затревожился.

— Товарищи! — снова отрываясь от гостя, поднялся он за столом. — В чем дело? Прошу не шуметь... Уткин, покороче!..

— Не задержу, не задержу! — вэметнулся Уткин, отирая с лица концом своей накидки струи пота. — Как только поровнялись мы с крайним вагоном, так все и остановились... Не смейтесь, товарищи, это надо было испытать... Чего?

— Вали, вали! — давясь, прикрывая рты пригоршнями и угинаясь к коленам, шипели со скамей.

— Видим мы — дальше степь, и — назад! — выкрикивал Уткин, припрыгивая на месте. — А женщины наши — вповалку!.. Кинулся я к одной... „Вставайте!“ Товарищ Добрынин также убеждал их перебираться в здание вокзала... „Вставайте!“ — кричу... Наконец одна дама поднялась... Я ее за руку! Притащил к вокзалу, а сам — назад!..

— Молодец, Уткин!..

— Нет, вы только послушайте!.. За первою увлек я с собою вторую, третью... всех!.. Вокзал каменный, надежный... Уселись это мы внутри, у буфета, вдруг, слышу, переполох... Анна Петровна потерялась...

— Уткин! — поднял голос Михаил Иваныч. — Нельзя ли без таких подробностей?..

— Я передаю самое необходимое! — оглянулся на него Уткин. — Итак... потерялась Анна Петровна... Не досчитались Анны Петровны какой-то!.. Опять ко мне: „Миленький, такой-сякой, Анны Петровны нет!..“ Ну, собрался я с духом и — айда к вагонам... Бегу, а сзади, со стороны вокзала, кричат мне: „Нашлась, нашлась!“ Только это я повернул обратно, подобрал полы, вдруг — тра-ра-рах! Над самой головой — огонь, полымя, осколки чугуна... Свалился я — ни жив, ни мертв... И — чувствую: убей

меня на месте, а назад, к вокзалу, не двинусь! То-есть, такой страх напал на меня... Ужас, что такое!..

— А ты бы ползком! — крикнул слесарек-месткомец.

— Да я ж так и сделал! — брызгая от восхищения слюною, подхватил Уткин. — Все коленки себе поссадил... Пальцы — в кровь!..

— А с головой как? — совсем серьезно бросили с места. — Голову-то не повредил?..

— Нет, ничего! — хватая себя за лоб, откликнулся Уткин.

Густой, ничем не сдерживаемый хохот прокатился по залу. Михаил Иваныч звонил о стакан.

Зина взглянула в сторону Мартына. Мартын приподнял голову, слушал, углы его рта подрагивали, в глазах чадил неприкрытый стыд. Он не мог не понимать, какой оборот принимает его дело, какие вокруг плодятся шутовские дрязги и как весь он, со своим подвигом раскаяния, становится нелепым, смешным, глупым. Не таким рисовался ему в мыслях товарищеский суд — над ним, над его добрым именем, над его честью. Он готов был в эти минуты провалиться сквозь землю. Он не знал, как быть ему дальше, что предпринять, чем избавить себя от срамных этих подробностей, от невозможных соучастников приключения, от себя самого... Наконец он решился: встал, оглядел исподтишка соседей и неслышно, потупив глаза, прокрался к двери.

Коридор был пуст. Бесшумно пройдя к вестибюлю, Мартын сорвался, как безумный, вниз по лестнице, отпихнул плечом тяжелые двери и выбежал на улицу.

Голова его пылала, мысли кружились метелицей, ноги не чувствовали под собой земли, бескровные, непослушные, как у отравленного алкоголем.

О, все что угодно, только не это! Самый беспощадный приговор, всеобщий гнев, глубочайшее отвращение, неумолимое преследование до конца... только не это!

XV

Михаил Иваныч выпрямился, поправил очки, голосом, не допускающим возражения, покричал:

— Довольно, Уткин! Я лишаю тебя слова...

Зал, сипло досмеиваясь, откашливался, сморкался, разминал мускулы; зачиркали, вспыхнули по рядам спички; свежие, сочные, ярко-синие клубы табачного дыма поднялись над головами, сгустились в облако; коснувшись потолка, облако дрогнуло, порвалось и сизыми космами стало падать в раскрытые окна.

— К порядку, товарищи!..

Михаил Иваныч стоял за столом, как всегда спокойный, недвижный, и его лунная голова сияла под люстрою.

— Отсутствие Баймакова не помешает вам, товарищи, сказать свое слово! Повидимому, Баймаков вышел из зала, чтобы не стеснять нас при обсуждении его вопроса... Конечно, предосторожность эта с его стороны излишняя, но... ничего не поделаешь!.. Будем ли мы открывать прения, или же прямо перейдем к предложениям? Имейте в виду, что теперь второй час, а мы еще должны выслушать находящегося среди нас члена реввоенсовета...

Аплодисменты заглушили конец фразы. Михаил Иваныч поднял руку.

— Итак, какие имеются предложения относительно Баймакова?

Вокруг стихло, и тишина продолжалась с минуту.

— Что же, товарищи? Высказывайтесь!

Поднялся Сухоруков. Он молча, но решительно протянул руку. Михаил Иваныч заметил его.

— Илья Ильич, твое слово!..

Сухоруков оглядел зал, как бы что-то свое прощупывая, крякнул и зычно проговорил:

— Послать Баймакова на фронт, в самое пекло, и — никаких!..

Губарев закивал головою, на скамьях всколыхнулись. Зина сидела, напряженно вскинув голову, вся вытянувшись, точно готовилась к прыжку. Такая, она напомнила бы собою Мартыну благородное животное северных лесов — оленью самку.

Михаил Иваныч молчал. Со скамей ожидающе глядели на него.

— Других заявлений нет? — спросил он и, помолчав, поцапав дрожащею рукою по столу, негромко произнес:

— Предложение Сухорукова не есть решение вопроса: фронт, участие в боях — долг каждого... В наказание это обращать нельзя!..

— А почто в наказание? — подал голос, не сдаваясь, Сухоруков. — Ай мы старорежимники?.. Пускай кровью отработает!..

— Правильно! — послышались голоса. — В точку кроет!..

Но Михаил Иваныч был нем, и голоса неуверенно затихали, и много глаз с пасмурною тревогою обратились к президиуму. Арштейн встал в глубине зала, подался вперед. У него из-под локтя, тяжело дыша и жалостливо помигивая опухшими веками, выглядывал Уткин. Губарев разнял еще раз сцепленные свои пальцы, сбоченился и зашептал что-то на ухо Черноголовому. Михаил Иваныч отстранил его.

— Товарищи... — заговорил Черноголовый, приподнимаясь. — Баймаков признал свою вину, и с этой стороны вы правы: наказание излишне!.. Но... должен вам напомнить, что каждый шаг партийца учитывается не только нами!.. Мы все живем и действуем на глазах масс, на глазах рабочих, армейцев, крестьян... Почему отдаем мы под суд, лишаем свободы и даже расстреливаем дезертиров? Конечно, не потому, что жаждем наказания!..

В зале сгущалась тишина. Синеватая бледность покрыла лоб и скулы Зины. Жданов толчками, боком, поднялся

за столом и, сжигая Михаила Иваныча лихорадочными своими глазами, голосисто произнес:

— Я предлагаю, товарищи, во-первых... исключить Баймакова из рядов партии, во-вторых — передать его ревтрибуналу!..

Михаил Иваныч не повернул к Жданову глаз, не оторвал от стола рук.

— Спокойствие! спокойствие! — сказал он и, возвышая затем голос, продолжал к собранию: — С злонамеренным дезертиром Баймакова сравнивать нельзя! До этого он никогда, конечно, не дойдет! Это противно его длительному партийному воспитанию и самой его натуре! Он мог споткнуться, но быть хроническим спотыкачом — не его удел!..

По залу прошел смешок, неожиданный и странный, но — мягкий, согретый лаской, похожий на вздох облегчения.

— Твое предложение, Иваныч? — загудел Сухоруков.

— Я хотел бы слышать мнение других товарищей! — уклонился Черноголовый. — Как бы там ни было, но Баймаков, несомненно, споткнулся, слабость проявил, панике поддался... И мы должны все это отметить!..

— Каким образом? — приподнял голову Губарев. — Со Ждановым я не согласен...

За спиной Губарева появился Синицын. Он облокотился на спинку кресла и натужно заговорил:

— Товарищи! Баймаков работал со мною... Работал много, усердно... И он проявил себя, как самоотверженный солдат, на продфронте, по выполнению разверстки.. По-моему, следует... Я полагаю, надо ограничиться строгим порицанием!..

Синицын был плохим оратором, сознавал это, не любил выступать, и теперь, закончив кое-как свое предложение, неслышно отступил, сел на свое место и потупился, очевидно, продолжая в мыслях иную, более горячую и более убедительную речь.

Но в зале предложение его вызвало торопливый говор, и было похоже, что многими оно одобрялось.

Зина напряженно косилась на Жданова, и когда он снова толкнулся о стол и встал, глаза ее в острой тревоге забегали по бумагам.

— Синицын стучит в буфера! — закричал он, отрыгивая и отдуваясь пожолкнувшими своими щеками. — Он тысячу раз не прав!.. Я был с самого начала против того, чтобы это дело слушалось здесь, но, раз уж оно заслушано, мы должны твердо и нелицеприятно сказать свое слово... Товарищ председатель прав, напомнив нам о нашем беспощадном отношении к дезертирству... Но он не прав, когда пытается придать преступлению Баймакова иную окраску... Позвольте вас спросить, дорогие товарищи, как же мы должны рассматривать бегство Баймакова со своего поста в момент наивысшей опасности?.. Неужели тут... только слабость? проявление больных нервов? забывчивость? ошибка? уклончик?!.. — Он скосил губы в едкой улыбке. — Нет, товарищи! При всем желании быть снисходительными, мы не сможем уйти от устоявшихся понятий чести, долга, высшего закона для каждого революционера...

Комитетчица района Памфилова, бомбометчица Катюшка, желтокудрый парень у ее ног, все время хмуро молчавший, Иван Разноуздов, секретарь заводской ячейки, человек густобородый, со слегка вывернутыми ноздрями и мутно настороженными, как бы вечно про себя думающими, глазами, и, наконец, Арштейн — все пятеро поднялись в разных концах зала и зашлепали в ладоши.

Катюшка, не то оправдываясь, не то убеждая, кричала при этом соседям:

— Жданов на точке! Чего резину тянуть?..

Но все другие ничем не проявили своего отношения ни к слову Жданова, ни к шумным одобрениям единомышленников Памфиловой, и с этой минуты собрание

начало зримо распадаться на куски, на кучки, на согласных и несогласных со Ждановым.

Но страсти еще таились, и лица у большинства были в оковах.

Сухоруков, набычившись, перебрался через скамью, прошагал к президиуму, стал лицом к залу.

— Дай слово! — сказал он, протянув руку к председателю. — Товарищи! — этот призыв он произнес ударно, по складам, как на митинге. — У Жданова припрятан высший закон... Товарищ Жданов, известное дело, законник!.. А я говорю... — Он начал тут выкрикивать. — К чортовой бабушке твои законы! Что мы — старорежимники? У прокуроров делу обучались? В высшем синоде заседали?..

— Эх, куда хватил! — бросил, ворочаясь в кресле, Жданов.

— Я, брат, хвачу! — махнул Сухоруков в воздухе ребром своей тяжелой, в рыжем волосе, руки. — Мы люди такие: за пять двадцать нас не купишь, а законы твои... вот они где!.. — Он сплюнул и прошаркал подошвою. — Наш рабочий закон — тут! — ударил он себя в сердце. — И тут, в башке!..

По скамьям пронеслись всхлипы одобрения.

Жданов передернулся.

— Про этот самый закон я и говорю, Сухоруков!

— Мало говорить! — подхватил Илья Ильич. — Умей понять! А кабы ты понимал наш закон, понял бы и еще кое-что... Товарищи! — неожиданно затих он. — Время мое исчерпано!..

Он так же круто, как и пришел, зашагал к своему месту, встречая рукоплескания хитро подмигивающим глазом.

Но тотчас же у стены метнулась фигура Памфиловой.

— Нагородил! — выкрикивала она встречу Сухорукову. — Никаких концов!..

Михаил Иваныч совещался с Губаревым.

— Тише! — чуть погодя поднялся он у стола. — Нельзя ли потише? Мне кажется, что мы можем обойтись без дальнейших прений!.. У нас есть два предложения... Одно — вынести порицание, другое — применить к Баймакову высшую меру... вплоть до исключения!..

— Снять! — вдруг полной грудью закричал Сухоруков.

— Снять, снять! — загудело в зале.

— Голосуй! — тонким, режущим своим голосом ворвалась в общий шум Памфилова.

Она пробиралась вперед, согнувшись, вытянув шею, на ходу запихивала под платок, за уши, сизые космы.

— Ребята! — остановилась она среди скамей. — Нельзя котам волю давать! Учить их надо!..

— Голосовать! — выходила из себя Катюшка, шлепая ладонями о колена и стуча о подоконье каблуками. — Требуем!..

На шее у нее вздулись жилы; кожаная тужурка отпахнулась, оказывая высокую грудь; икры, обтянутые зелеными портянками, неистово дергались.

— Снять! — ревел Сухоруков.

В общем гуле, как чайки над поверхностью бурной реки, взнимались, ныряли в гущу и снова оказывали себя только два слова:

„Снять!“ — „Голосовать!“

Но вот и эти крики потонули в гаме, в стуке, в рычанье сдвигаемых скамей.

Черноголовый стоял на своем месте, подобно дозорному матросу в бурю, и с привычным спокойствием, в ласковом просветлении, с щечками, горячими и алыми, как у юноши, выжидал.

Зина, — ей все еще девятнадцать лет, и сейчас решалась судьба самого дорогого ей человека, — тоже стояла у стола, тоненькая, как натянутая струна. Страх, надежда,

отвращение и мольба — по очереди занимались в бледном ее лице.

Наконец Михаил Иваныч счел возможным скомандовать: „Стоп, отдай назад!“

— Тише, или я закрою заседание!..

И все услышали в этом голосе неподдельную угрозу и стали затихать; затихали ступенями, снижая ноту за нотой, ссыпая голоса под кручу, заглушая большое бунтующее сердце в шорохах, в хрипе, в немотном бульканье.

И когда застеклянела тишина, Михаил Иваныч, пошептавшись со Ждановым, взмахнул рукою.

— Товарищ Жданов считает необходимым кое-что объяснить... Внимание!..

Жданов провел у себя по лицу, сверху вниз, тонкою и бледною рукою и на мгновение закрыл глаза. Распахнув вновь, он уже не сводил их с людей, и было в них что-то новое, опечаленное, прислушивающееся.

— Товарищи! Только не волноваться! — предупредил он; голос его также казался печальным. — У меня слабая грудь, и я не могу перекричать вас! В конце концов, не важно, как отнесемся мы к поведению Баймакова: его можно осудить, можно отпустить с миром... Дело тут не в самом Баймакове, хотя и для него, для всего его будущего, важно, чтобы мы отнеслись к нему правдиво, по-честному... Дело тут, товарищи, в правде! Я не собираюсь заниматься правдоискательством вообще, так как занятие это бессмысленное... Правды, как постоянной, всегда жизненной истины, нет и не было на белом свете!..

— А нет, так о чем же толкуешь? — выкрикнул Илья Ильич, но на него зашикали

— Я толкую, друзья, о том... — Жданов устало поморщился. — О том, друзья мои, толкую я, что... необходимо нам определить правду на наш день, правду рабочую, классовую, боевую!..

— Ну, завел волынку! — опять не утерпел Сухоруков и со вздохом оглянулся на своих.

— Я буду кратким, товарищи, я постараюсь не утомлять вашего внимания, хотя... все это чрезвычайно важно!..

Приступ желудочной икоты исказил лицо Жданова, он сделал глотательное движение горлом, отдулся.

— Товарищи... Баймаков, которому я лично не желаю причинять никакого ущерба, вынужден был комкать здесь свои объяснения... Но и по тому немногому, что мы слышали от него, можно с достаточною уверенностью сказать: этот молодой наш товарищ...

— Он в партии не со вчерашнего дня! — вскинулась от своих бумаг Зина.

— Я говорю о его житейской молодости... — продолжал, не меняя тона, Жданов. — Этот молодой, повторяю, товарищ заблуждается... В речи своей он не раз возвращался к каким-то намекам на слепые, врожденные инстинкты, которые-де овладевают порою всем существом человека. Но что это такое, товарищи? У каждого из нас живет ни с чем не примиримый инстинкт — инстинкт самосохранения! Это — та самая, очень острая и очень зрячая, хотя и подсознательная сила, которая охраняет нашу жизнь на каждом шагу... которая научила обыкновенного лесного ежа сворачиваться при опасности в колючий клубок... которая управляет движениями цыпленка еще при самом вылуплнвании из яйца... Но, товарищи! Если бы все мы строили свое поведение, опираясь на веления этой элементарной животной силы, то что бы сталось с обществом, с нашим классом, с нашей революцией?..

Он остановился, опять провел рукою по лицу — от высокого, с залысинами, лба до самого кончика острой своей бородки — и стал говорить еще тише, но резче, оттачивая каждое слово.

— Наша революция строится на подавлении эгоистических страстей! Мы, передовые кадры пролетариата, сами

отказываемся от всего, что связано с личной жизнью, с мелкими ее радостями, и требуем того же от других, от тысяч, от сотен тысяч окружающих нас. Мы воспитываем массы в духе жертвенности, в духе героизма, отказа от настоящего и даже, если надо, от самой жизни — во имя будущего... во имя коммунизма!.. И, прежде всего, мы должны отказаться от самой мысли, что от чего-то отказываемся, в чем-то подавляем себя...

— Да что ты схиму-то разводишь? — коротко, но мрачно кинул, заворачивая цыгарку, Губарев. — Иваныч, пускай кончает!..

— Кончаю! — предупредил Жданов. — Я кончаю, товарищи!.. — Он вновь перешел на крикучие нотки. — Для нас, солдат рабочей революции, есть только один нерушимый инстинкт из всех живущих в человеке инстинктов, это — классовый инстинкт!.. Ему мы вверяем себя, и особенно там, где молчит наш рассудок, где знания наши оказываются недостаточными...

— Ну, ну! — улыбнувшись, перебил его Михаил Иваныч. — Классовый инстинкт — сила алгебраическая, в нее входят и наши знания... — Но — продолжай... Товарищи! — кинул он, заметив движение в зале. — Жданов кончает...

Жданов говорил:

— Баймаков наделен достаточными знаниями и не имеет права оправдываться, ссылаясь на утерю непосредственного классового инстинкта: классовое знание восполняет пробел... Своим поведением, шагом своим на станции Липки, Баймаков показал себя не на высоте положения! Животный, панический страх оказался у него сильнее классового чутья... И вот я предлагаю сказать это прямо!..

Он сел, откинувшись на спинку кресла, расслабленно закрыв глаза и беспрерывно давясь и отрыгивая.

— Ты настаиваешь на своем предложении? — взглянул на него Михаил Иваныч.

— Всеми силами! — подтвердил Жданов, не открывая глаз.

В белых стенах зала, с замысловатою росписью в стиле ампир, с бордюрами в золоте, с окнами, широкими и просторными, осиянными голубым светом, тяжело ворочаясь, потея, обкуривая себя табачным дымом и защищаясь этим от непомерной усталости, сидели пожилые и молодые люди, в большинстве — рабочие.

Сидели молча.

В этот день с самого рассвета многие из них выходили и выездили по городу десятки верст, переговорили тысячи слов, передумали кучи неотложных и мучительных дум, связанных с голодом, с тифом, с неунимающеюся на фронтах кровью.

И все без исключения готовились к завтрашнему дню, к новым заботам, к новой беготне и сутолоке. День этот уже брезжил, проступал там, за огромными окнами, и упорно напоминал о себе тут, в зале, рябым и хмурым обличьем губпродкомиссара Синицына, недвижной фигурой черноусого гостя, вождя славной армии,— армии, требующей политкомов, фуража, хлеба, снарядов.

Сухоруков чувствовал правду и неправду Жданова, но в бритой и круглой голове его, овитой на маковке шрамом, ворочались паровозы, эшелоны и клади, и никак не мог Илья Ильич подыскать нужных слов, чтобы из-за тяжких паровозов, эшелонов и кладей выглянула бы, наконец, эта проклятая, невесомая и хрупкая правда об инстинктах.

Задумчиво и курносо посапывал, упершись острым подбородком в заплечье Ивана Разноуздова, слесарек из депо, председатель месткома и член первого революционного комитета железнодорожников.

Он думал о том, что в его союзе люди живут без всяких, очевидно, инстинктов и упорно полагают, что революция работает только на них, на их семьи, на завтрашний их день, а если так, то пошел он к чорту, Жданов, со своим алчным будущим!

Памфилова—районщица—ткачиха, понимала Жданова и хотела бы разделить с ним его вызов человеческой природе, но сегодня утром у Памфиловой в комитете разыгрался бабий бунт; бабы требовали своих пайков, и она, Памфилова, пригоршнями рассыпала лучшие свои мысли, а ее не слушали, и теперь Памфилова знала, что завтра, при новой встрече с работницами, не сумеет сказать им правду Жданова.

И Катюшка-бомбометчица, наморщив лоб, думала о том, что сказал Жданов. Она отвернулась к окну, к голубой лунной яме, — там, в белесых над кровлями туманах, не было ни революции, ни коммунизма, ни тысячелетнего будущего. Была луна, и туман, и узенькая полосочка предутреннего неба, и Катюшка знала, что все это — ее, и что завтра и послезавтра будет видеть она это небо, и будет видеть его, лежа в цепи стрелков, и будет страстно, до слез, мечтать о нем, умирая за революцию, за коммунизм, за тысячелетнее будущее.

И то, что не могла в мыслях своих выразить, вглядываясь в лунные туманы, Катюшка, сбежавшая из степных выселков в города — за иной, бешеной, безумной от счастья жизнью, — осязал у себя, близко, под самым воротом, молодой, длинноусый, похожий на запорожца литейщик Остапенко.

Он только что похоронил мать-старуху — развязался в бобыля и бобылем решил, заявил о решении завкому, объявил ребятам, Марфуше, уборщице склада, соседям, всей улице: едет на фронт, на сраженье, в битву, в драку, на кровь, на смерть... за-ради революции!

Был Остапенко молод, здоров, силен, он гоготал от счастья в удачах, шел с кулаками на обидчиков, верил во всесветную коммуну, любил Марфушу и весь последний год, как зверь из клетки, рвался к просторам, в туманы, к морям, к гулу, к реву пушек и... к смерти за революцию! Но в смерть Остапенко верил меньше, чем во

всесветную коммуну, и даже меньше, чем в Марфушу, а эта девка такая, что... только отвернись!

Литейщик Остапенко с захолонувшим сердцем поднялся со скамьи и поднял свою руку.

— Товарищ председатель!

Он уважал должность председателя, потому что сам председательствовал на собраниях своей ячейки, и теперь почтительно ждал, когда Михаил Иваныч откликнется.

— Остапенко — слово! — охотно, как бы даже обрадовавшись, бросил Черноголовый.

И, не спуская глаз со Жданова, Остапенко заговорил. Он вобрал в легкие до отказу воздуха и стал выкатывать слова тяжелые и круглые, как ядра.

— Товарищ Жданов — без интересу к жизни! — говорил Остапенко. — Может, он через край зачитался! Но... вот.. который человек без интересу — самый разнесчастный человек... В роде больного... И который человек за версту глядит, а под сопаткой у себя не видит... тоже калека!..

Он отер подолом рубахи мокрый свой лоб и, при насторожённой тишине в зале, продолжал:

— Товарищ Жданов хочет, чтобы сущая жизнь отказалась от самой себя... В роде как, скажем, был я Тарасом Остапенко, а стал ничем... И чтобы Остапенко думал только о всевышнем потомке!..

Тут он ударил ребром руки в свою ладонь, подмигнул кому-то из соседей и вдруг осклабился.

— Товарищ Жданов! Что есть, по-твоему, самое гарное в молодых летах? Любовь сердца... Да!.. А вы, ребята, не смейтесь, потому что желаю загнуть товарищу Жданову притчу... Укажу, без обиды, на себя! Отыскал я, скажем, предмет страсти, начал ухаживать и достиг сполна! И появляется у меня с предметом потомство... Товарищ Жданов! Есть ты старый большевик и должен держать матерьяльную линию... На кого любил Тарас со своим предметом: на себя, али на потомок?.. Может, ты

скажешь — на потомок? А я прямо скажу: любил сам по себе, об потомке не загадывал, а потомок — тут-как-тут!..

Сухоруков первый ударил в ладоши, и за ним взорвался весь зал. Шлепала даже Памфилова, бил беззвучно ладонь о ладонь Губарев, улыбался Черноголовый, и только Катюшка, большая матершинница, но очень конфузливая, по-своему понимающая мужиковы подходы, отвернулась, потупившись, к окну и не выражала оратору одобрения.

А Остапенко, выдираясь из трескучего шума, взывал:

— Рабочий человек бьется за себя, а потомок радуется! Товарищ Ленин сказал правду! Товарищ Ленин...

Жилистая, конопатая шея его налилась кровью, пеньковые патлы маслянисто отсвечивали, глаза были как у одержимого.

Зал смолк внезапно, как по команде. Остапенко сел и вновь поднялся.

— Да...— он помахал над головою кулаком.— Товарища Баймакова, ребята, я могу прихватить на фронт... потому как отправляюсь по первому назначению и по собственной охоте!..

Еще раз к расписному потолку зала поднялись рукоплескания.

Зина плохо воспринимала окружающее. Этот шум, выкрики, речи казались ей бесконечными. Она думала только о Мартыне: почему он покинул собрание, где он в эту минуту, что с ним?.. Страх за Мартына ослеплял ее. Она чувствовала остро, до режущей боли в сердце: Мартын в опасности, и опасность не в приговоре этого зала, а в том, что человек предоставлен сейчас самому себе. Не раз она порывалась покинуть собрание, бежать туда, где мог теперь находиться Мартын. Порою ей начинало казаться, что в тот самый момент, когда она сидит тут и слушает кого-то, не нужного ни ей, ни другим людям, Мартын... истекает кровью! Эти летучие видения — белокурая голова, обрызганная кровью — пронизывали ее

сознание ужасом. Она слышала, как сердце ее останавливается, ощущала тошнотный холод в ногах и горючие капли пота на лбу. Помутневшими глазами обводила она лица окружающих, и эти близкие, родные ей товарищи начинали казаться ей деревянными болванами, лишенными сердца. Никогда ранее не представляла она себе, что у людей могут быть столь бессмысленно-терпеливыми позы, столь отталкивающе-медлительными жесты. И, отрываясь от себя, от своего внутреннего, смятенного, бьющегося как в лихорадке, она почти с физическим отвращением шарила взором по розовым щечкам Черноголового, по лысому и круглому, как пятка, подбородку Губарева, по студенистым, трупным морщинам, свисавшим у Жданова от уха.

Когда же Михаил Иваныч взял себе последнее слово и, под несмолкаемую, жаркую, и душную, и чадную возню на скамьях, заговорил снова о чести, о долге и о преступлениях против них, Зина почувствовала вдруг, что терпеть далее она не в состоянии. Перестав ощущать себя, свои руки, плечи, перестав чувствовать опору под ногами, но еще сознавая, что совершает нечто нелепое, безобразное, она соскочила со своего стула и визгливо закричала:

— Довольно, товарищи! Это же возмутительно... Долг, честь, нарушение, преступление!.. Подумаешь, какого зверя изловили! А среди нас, тут, в зале, все благополучно?! А у всех вас совесть чиста? Все вы — праведники? Все — герои?.. А ну, пусть каждый на себя оглянется! Пусть каждый себя проверит! Что, не нравится? В носу перчит? Так бросьте же, бросьте...

Прерванный на полслове и как бы пристывший от неожиданности к месту Черноголовый; тяжело поднявшийся за столом Губарев; Жданов, закрывший с брезгливой миной глаза; Синицын, Лузгин, черноусый гость, люди в первом ряду, люди у стен, Катюшка на подоконнике—

все они прыгали, двоились, коробились перед глазами Зины.

Она уже не говорила, а только повторяла одно слово, как поющая машина с испорченной, скребущейся об иглу пластинкой:

— Бросьте, бросьте, бросьте...

И этот крик захлебывался в неудержимом, судорожном, темном хохотке.

В зале шумели, погромыхивали скамьями, Черноголовый бил ложечкой о стакан, никто не обращал на него внимания; между скамьями двигались люди, выходили, собирались в кучки, говорили, доказывая что-то друг другу, нападая и защищаясь.

У стола и за столом запустело, — Черноголовый объявил перерыв, роздых на пять минут, — коридоры ожили, наполнились гулом голосов; у дверей распластанные трепетали тени; под потолком в сонной одури щурилась люстра, ниже курился косматый чад; по полу, на паркете, белели затертые, заплеванные окурки; в раскрытые окна, со дна потемневшей, затихшей без луны улицы, тянуло упругим холодком синеватого рассвета.

И уже цокали вдали в грузном наплыве гула подковы — проходил там первый конный отряд. А у сизого, под самым окном, тополя, по-осеннему овлажневшего за ночь, вдруг зачирикал неистребимый, никогда не унывающий, что-то свое неугомонно, в веках, оспаривающий воробей.

XVI

Выбежав с собрания на улицу, Мартын первое время не сознавал, куда идет. Шел он торопливо, не замечая окружающего, взмахивал руками, шептал что-то про себя и даже не обратил внимания на очень злую дворняжку, с хриплым лаем бросившуюся ему под ноги из подворотни. Свернув в глухой переулок, он выбрался к огромному

плацу, где когда-то проходили строевое свое искусство кадеты. Огромные желтые корпуса с трех сторон возвышались по плацу, и теперь, в предрассветных сумерках, эти здания походили на руины. Присев на скамью у тополя, Мартын полез было за папиросою, но вслед забыл о ней, вскочил и вновь торопливо зашагал вперед. Он колесил так с улицы на улицу, пересекал площади, упирался в тупики, почти ощупью выбирался из них и вновь шел, не оглядываясь и не понимая, где он. Со стороны можно было подумать, что этот молодой и рослый человек скрывается от преследователей. Так оно и было в действительности, только преследовали Мартына не люди, а его собственные мысли, жалившие мозг и сердце. Наконец Мартын понял, что уйти от себя нельзя, что спастись от стыда, презрения к себе, отчаяния невозможно, как невозможно изменить, исправить, вычеркнуть вовсе из жизни событие, вызвавшее это отчаяние. Спасение было только в полном забвении себя, в отказе от себя, от самой жизни. И, сознавая это, он вдруг остановился, нашарил в кармане браунинг и закрыл глаза. Если бы кто-нибудь в эту минуту стал на его пути, дал бы знать о себе шумом шагов, окриком, самым легким покашливанием; если бы теперь, а не час назад, именно теперь, когда он сжимал в руке захолодевшую сталь оружия, кинулась бы ему под ноги дворняжка, или даже просто хлопнула бы где-нибудь поблизости дверь,— Мартын выстрелил бы в себя. Но он стоял у глухого забора, уходившего далеко вперед, никто не окликнул его, и не было вообще никаких признаков жизни вокруг, и он опустил руку с зажатым в ней браунингом. И вдруг почувствовал прилив бешеной злобы к людям, к событиям, ко всему свету. Его большое и сильное тело, за минуту перед тем покорно ожидавшее конца, кричало теперь каждою своею клеточкою, возмущалось, ненавидело. И мозг тотчас же принялся опрокидывать все доводы против жизни...

В памяти Мартына возникали тирады, афоризмы, истины, когда-либо вычитанные им, или слышанные, и говорившие об одном: бессмысленны, безнравственны, непростительны самые мысли о самоубийстве.

В памяти бурей пронеслось прошлое, от детских лет до этого часа, и с изумлением видел Мартын, что всю жизнь боролся против покушений: волжские бури, сквозные ветры, болезни... человек с медвежьей головою, облеченный властью золота, отец, ослепленный своим правом отцовства, жандармы, шпики, тюремщики и, наконец, эти белые, зеленые, черные,—все они только и делали, что охотились за ним, Мартыном, с шашками, с пулеметами, с остро отточенными топорами.

Нет, не годится! Смерть ничего не разрешает. Смерть хороша для слабых, никчемных, негодных, осужденных самой жизнью.

Он опустил браунинг в карман и на мгновение почувствовал ликующую радость, точно только что справился с неожиданно навалившеюся на него опасностью. Но едва миновало это первое светлое ощущение, похожее на самочувствие возвращающегося к жизни, снова сомнения всколыхнулись в сознании: есть ли у него выход, возможно ли спасение, в состоянии ли он смыть свой позор, поднять свое имя в глазах людей и, главное, примирить себя с собою?..

И опять мускулы его тела распустились и ослабли, как у больного, сердце захолонуло, жадная песенка крови смолкла. Опять из глубины сознания поднялось отчаяние, и все тело покорно молчало, как дикое животное, попавшее в крепкие сети охотника и обессилевшее в борьбе с нимн.

Теперь уже напрасно нашептывала память о прошлом, и сами мысли о преступности самоубийства казались бледными и неубедительными.

И вот Мартын понял, что смерть вошла в его кровь и что бороться с этою силою он не станет. Тогда

жалость к себе, к своей молодой жизни, к неоправданным своим надеждам проникла в грудь и начала перебирать там удивительные, никогда ранее не слышанные струны.

Он уже представлял себя распластанным на мокрых осенних травах. Представлял бледных людей, склоненных к нему. Представлял гроб свой, повитый красными знаменами, мерно колыхающийся над морем голов, под невозможно-скорбные звуки похоронного марша. И, полузакрыв глаза, ощущая соленую влагу в горле, увидел Мартын за своим гробом тех, кто особенно дорог был ему, — увидел он Зину и Черноголового: увидел белоснежную голову друга, склоненную под непомерною тяжестью, и увидел родные, прекрасные, самые прекрасные на земле, глаза девушки, налитые отчаянием.

Сглотнув соленый ком, подступивший к горлу, он заглянул вверх, в серое, предутреннее небо. На жаркое лицо его упала студеная капля, потом другая. Под небом ворочались туманы; туманы наливались теплом и светом; над старыми полуголыми липами, нависшими у заборов, стоял сухой треск. Мартын узнал в звуках этих порхающие воробьиные стайки.

Он вынул браунинг, осмотрел, щелкнул замком, и вдруг его неудержимо потянуло прицелиться в липы. И, не целясь, он нажал спуск: пуля зацепила ветки, воробьиная стая серою молниею метнулась в сторону, эхо выстрела ударило в забор и зазвенело. Тогда, не отрывая пальца от пружинистого спуска, раз за разом он выпустил в забор оставшиеся заряды, и был взволнован тем, что пули ложились в одну точку: навык стрелка-охотника сказался здесь в полной мере.

Он взмахнул браунингом, прерывисто вздохнул и опять обрадовался, увидев свою бледную, тонкую руку, колена свои, слегка затертые и пыльные, грудь свою, широкую и крутую, а под грудью — кроткое человеческое сердце, обреченное на жизнь и подвиг.

Улица просыпалась, где-то погромыхивала мостовая, старенький дворник, из тех, что ссорились с революционерами из-за ворот, опрокинутых на баррикады, выполз с метлою и принялся, скосив глаза на Мартына, шаркать по мокрому асфальту.

Мартын заторопился. Достигнув подъезда общежития, он взглянул по сторонам, послушал у двери и торопливо вошел.

Лестница была пуста, по углам ее и на стенах еще холодели сны. Одинокий кот, завидев человека, вдруг напружился и, подняв хвост, побежал впереди, как бы приветствуя и указывая путь. Кто-то косматый и заспанный, прикрытый халатом, пересек, шлепая туфлями, коридор и скрылся за углом. Ключ щелкнул, дверь отпахнулась, Мартын вошел к себе.

Постель стояла неубранной, по полу валялись окурки, клочки бумаг, на столе, среди посуды, голубел чайник.

Мартын раскрыл окно, и как только в комнате повеяло свежестью, голова у него легонько закружилась. Он сел у стола, заметил хлебные корки вокруг чайника и потянулся к ним: он хотел есть. Его голод был буен, как никогда.

В дверь постучали. Мартын не успел ответить. Вошла Зина. Она тяжело дышала (должно быть, бежала вверх по лестнице), лицо ее было бледно, в глазах еще метался страх. Она была очень хороша в своем возбуждении, под платьем угадывалось ее взволнованное, трепетное тело. Руки ее невольно потянулись вперед, из горла вылетели странные звуки, похожие не то на смех, не то на плач.

— Мартын, ты!

Она не закончила, опустилась на табуретку и глядела на него захлебывающимися от счастья глазами.

— Мартын, голубчик, а я чорт знает что о тебе думала... Представь себе, как мне было тяжело!..

Только тут она увидела жующий его рот, влажные крошки на подбородке, услышала жадное чавканье и — запнулась.

— А! Проголодался, бедный...

Она опустила глаза чуть-чуть сконфуженно, но, справившись с собою, вновь, светло и доверчиво, взглянула на него.

— Мартын, голубчик, когда ты сбежал с собрания, я была сама не своя. И, знаешь, оскандалилась... Накричала там, как сумасшедшая... Стыд, срам!.. Но это ничего... Главное, с тобой... все хорошо!.. Мартын, милый, они не решились... Они не пошли дальше порицания!..

Мартын перестал жевать, губы его задрожали.

— Мне теперь не важно, как они решили!

— Но, Мартын! Ведь только — порицание!

— Это все равно, — проговорил он негромко. — Теперь я знаю, кто я таков, и что мне делать...

Она пытливо вгляделась в него, и где-то в глубине темных ее зрачков, как на булавочных остриях, блеснуло недоумение. Но вновь она преодолела себя, поднялась, подошла к нему, взяла его руку в свои, горячие.

— Вот и все, Мартын!.. — говорила она, не сдерживая своей бьющей изнутри радости. — Все страсти и страхи — позади!.. И все твои сомнения — как мираж... Встряхнись же хорошенько и покажи себя людям, каков ты есть в действительности!..

Он молчал.

— Ты знаешь, Мартын! Они не переменились к тебе... И этот Михаил Иваныч! Ой, если бы ты видел только, как он волновался за тебя... Он попрежнему любит, уважает тебя!..

Мартын покачал головою.

— Нет, нет... — сказал он, освобождая свою руку. — И Михаил Иваныч, и все другие не могут относиться ко мне попрежнему... А если бы... если бы, Зина, это было не так... я перестал бы уважать их всех!..

— О чем ты говоришь, Мартын? — в голосе ее прозвучала досада. — Или ты не веришь мне? Или ты думаешь, что я успокаиваю тебя?..

Он криво усмехнулся.

— Меня успокоить нельзя, Зина! — раздельно проговорил он. — И тот, кто думает заняться этим, окажет мне плохую услугу... Слушай! — голос его напрягся. — Чего они хотят от меня? Неужели не понимают, что оскорбляют меня, добивают до конца своим снисхождением? Так пусть же они знают...

— Кто — они, кто — они, Мартын?.. — уже с нескрываемой болью в голосе воскликнула Зина. — Ведь это же — твои товарищи! Ведь это — партия твоя!..

— Знаю! — он упрямо склонил голову. — И пусть моя партия, мои товарищи возьмут у меня мое тело, мою готовность двигать этим телом в любом направлении, мою жизнь, наконец... Но то, о чем я говорю, не принадлежит им! И оно не нужно им! И оно бессмысленно для них, как... как мои сновидения, что ли... Я сказал им все! Я не скрыл от них самых постыдных черт моего характера... Но они не хотят мне верить! Они не верят тому, что я добьюсь своего, что я преодолею себя до последнего предела... Не перебивай, прошу! Они не верят в меня, Зина! Они судят по себе, быть может... но — не верят! Иначе, я не услышал бы теперь от тебя о их снисхождении... Снисходят только к слабым... пойми!

Она отступила и со стороны, молча, в холодном изумлении, следила за ним. Неужели это он, Мартын, кого она считала самым мудрым, самым прекрасным и самым прямым среди окружающих? О чем он говорит? На кого он жалуется, кому он угрожает? Перед ее глазами встал жаркий, прокуренный зал собрания: измученные лица, бесконечные споры, упреки, колебания... И все это вокруг Мартына, ради него и для него! И себя она вспомнила, свое жуткое волнение, свой крикучий выпад, свой

безумный страх за этого человека, за его доброе имя, за жизнь его... А он стоит вот у стены, чужой ей, с глазами, мутными от сладостного какого-то самобичевания, с головою, набычившейся, как у капризного ребенка. Какое ему дело до всего того мучительного, что она только что пережила! Какое ему дело до Михаила Иваныча, не раз в эту ночь рисковавшего своим авторитетом, авторитетом старого, всеми уважаемого партийца! И равнодушен он ко всем прочим товарищам, сгоравшим за него от стыда, но чутким к его страданиям, отдавшим его делу многие, столь ценные для них часы.

Она прищурилась и глухо, но твердо сказала:

— Невозможный ты человек!..

Но его не смутил этот упрек. Он как бы вовсе не слышал ее слов и продолжал говорить о своем внутреннем, единственно для него близком, понятном, заслуживающем внимания.

И она не выдержала.

— Довольно, Мартын!..

И только тут заметил он сумеречье ее лица, горькую усмешечку в углах ее рта, дрожащие ее руки. Он смолк и поднял глаза, и оттого, что в глазах этих прочитала Зина ожидание мученика; оттого, что глаза эти как бы говорили ей: „а, и ты против меня, хорошо же, добивайте меня“, — высоким, звенящим голосом бросила она ему:

— Эгоист... Ломака!..

Она поймала, как он, точно под ударом, весь вздрогнул, как вспыхнули на его щеках белые пятна и как, затем, темным огнем налились его глаза. Отчаяние за свое чувство к нему и жалость к себе, сознание разваливающегося счастья опрокинулись на нее. Она круто повернула к двери и выбежала вон.

На улице, за порогом общежития, Зина остановилась. Слезы застилали ей зрение, дома насупротив прыгали

и расплывались мутными пятнами, невидимое солнце рдело под мокрыми ресницами кровью.

Она не знала, что предпринять: итти ли к себе, или возвратиться. Тревога за Мартына уже качала ее сердце. Но, прикусив до боли нижнюю свою губу, она направилась вдоль улицы.

Огромный серый автомобиль, раздувая шипящими своими шинами голубые лужи, летел ей навстречу. Она подалась к стене и вскинула глаза. Михаил Иваныч успел помахать ей рукой, а сидевший с ним рядом Панкратов послал ей из-за черных своих усов улыбку.

Автомобиль полным ходом мчался к окраинам, к казармам, к штабу армии, бьющейся на подступах к городу.

— Жалко этого Баймакова! — проговорил Панкратов, отрывая глаза от бледной, прижавшейся к стене девушки. — Такой случай, язви его! А закваска у парня, надо быть, отличная...

И, польщенный отзывом о своем воспитаннике, Михаил Иваныч прокричал встречу ветру:

— Да, Баймаков мог быть отважным!..

Панкратов небрежно усмехнулся в ус.

— Что такое отважность? Привычка, терпение, мозоли на нервах... Отважных, батенька, нет... Есть терпеливые и есть решившиеся!..

Зина следила за серым автомобилем, пока не скрылся. Она знала, что не пройдет и трех дней, как этот темнолицый, черноусый человек вновь будет слушать артиллерию своей армии, вновь будет скакать среди дымящихся от пороха и крови полков своих, и вновь десятки тысяч вооруженных рабочих и крестьян с тревогой и восхищением будут следить за каждым его шагом.

Как будто стало легче Зине. Она вобрала в легкие свежего воздуха и пошла ровнее. И тут вспомнила, что не передала Мартыну самого важного, о чем просил ее

Михаил Иваныч: Панкратов приглашал Мартына в свой штаб на славный труд, на боевую работу.

Она почти побежала домой. Никифор Семеныч встретил ее в необычном состоянии духа, но Зина не сразу заметила это. Она прошла в свою комнатку, сбросила с себя жакетку и потянулась к трубке телефона.

— Алло! Станция?..

Никифор Семеныч стоял за ее спиной, на пороге. Она почувствовала его, повернулась к нему с трубкой, прижатою к уху, замахала рукою. Он немедленно скрылся.

— Станция? Дайте сто пятый...

Это был номер Баймакова.

„Есть, сто пятый!..“ — послышался голос телефонистки, и затем шорохи, хрипы наполнили мембрану.

Телефон молчал.

И вдруг — страх, дикий, неудержимый, расширил глаза Зины. Второй раз, теперь уже бурно, вертела она ручку телефона.

— Алло... Алло...

Наконец, услышала родной, милый голос и, чувствуя, сколь все еще бесконечно дорог ей этот человек, заговорила дрожащим от счастья голосом:

— Мартын, ты? Прости меня, если можешь... Тысячу раз не права... Готова доказать тебе свою ошибку чем угодно... Что? О, ты сердишься на меня! Слышу... Но я говорю тебе на этот раз по делу! Что? Одну минутку... Михаил Иваныч просил передать тебе: товарищ Панкратов считает тебя очень ценным, и он просит тебя явиться к нему завтра к семи утра, в штаб... Он предлагает ответственную работу... Что? Мое дело — передать... Да, да... Пока!

Она отняла трубку от горячего уха и, про себя улыбаясь, закрыла глаза. Что-то говорило ей, что Мартын уже перешагнул за черту своей катастрофы, поднялся, вырос над этим днем, и он будет цел, цел!..

— Отец!

Она бросилась в кухню. Старик стоял у стены, перед зеркальцем, и тщательно приглаживал свою прическу.

— Что такое! Отец, что с тобою?

Он выпрямился перед нею; на нем были новенькие казинетовые брюки, хранившиеся у него в сундучке много лет. Кожаная, изрядно поношенная тужурка его была тщательно заштопана. Подбородок начисто выбрит, седые волосы примаслены и зачесаны в косой пробор. Сухие его щечки раскраснелись, под синими нависшими бровями играли зайчата.

— Честь имею! — вытянувшись во фронт и козыряя, пролепетал он. — Вновь назначенный машинист дальнего пути, Никифор Семенов Кудрявцев! Прошу любить и жаловать...

Зина не могла удержаться от смеха.

— Ничего не понимаю, товарищ машинист!..

Старик многозначительно чмокнул краем губ, подхватил дочь под локоть, усадил за стол.

— Слушай! Капут моим маневрам! Отнюхался станционной вони! Опять назначили...

— Да кто, кого и куда?..

— Приказом по службе, за печатью Народного Комиссариата Путей Сообщения РСФСР! Чуешь, дочка, куда батька махнул?..

Она отрицательно покачала головой.

— Эх ты, бестолочь! А еще начальница губкома...

— Секретарь, папочка!

— Все одно... Получил я, Зинаида Никифоровна, вчера назначение... Опять в дальний путь поставлен!.. Да еще — при военных эшелонах... Чуешь? Из двадцати душ — первым назначен... Полное доверие... катай, никаких!..

Зина поняла, затревожилась.

— Это ведь фронт, папочка!..

— Знаю, что фронт! А ты мои силы мерила? Да я иным молодым пить дам...

— Как же так вышло, отец?

— Вышло — дышло! — неожиданно залился он сахарным смешком. — На фронтах-то у нас... тю-тю! Намеднись, дочка, целый состав с машинистом вместе... под откос головушкой!.. Из двух десятков молодцов в нашем узле — пятеро в тифу, трое в раненом положении! Что ж мне, по-твоему? Издыхать на своей кукушке?.. Э, нет, шалишь!.. Мы еще тряхнем горностаем... Ты слушай-ка, сюда... — он потянул ее за руку. — Илья Ильич Сухоруков... знаешь? Как увидел меня, так и облапил... „Э, хрыч старый, чего же ты прятался? Да нешто можно, чтобы папанька Кудрявцевой (это — об тебе, Зинка), чтобы этакой человек... с кукушкой у нас возился?..“ Чуешь?.. Об тебе, дочка, с превеликим почтением... — Вдруг он с испугом вскочил за столом. — Да что же это я, старый свистун! Болтаю, болтаю, а об том и забыл, что девка всю ночь на ногах, не пимши, не емши!..

Он убежал под свою занавеску, вытащил, сугорбившись, скраснев в лице, тяжелый шумящий самовар, уставил его на подонник и загремел чашками. Нарезая хлеб, голосом, темным от внезапной печали, говорил:

— Одно винтит на сердце! Как теперь с хозяйством будешь?.. Кто напоит, накормит горькую головушку? Отец-то по неделям ездить учнет...

— Не маленькая!

— Не маленькая, да сумасбродная сильно... Об себе никогда не подумаешь... Ну, да погоди уж... Вот съезжу к Липкам, наберу яичек, пшенички, сальца... Закормлю, девка!.. Чего вздыхаешь?.. Дома сидел — нехорош был... На путь-дорогу стал—опять нехорош... Говори,—нехорош, а?.. То-то и оно-то, большевичка сопатая...

XVII

Армия Панкратова двинулась в наступление.

В исполкоме узнали об этом событии в тот же час, но город долго не подозревал, что в каких-нибудь полсотне верст, в море сизых осенних туманов, запылало пожарище небывалых боев. Только через сутки, когда убрались с мостовых последние таратайки обозов и улицы вдруг заглохли, люди поняли: куда-то скатилась фронтовая жизнь.

И как только прогрохотали на шоссе, удаляясь, запоздалые фургоны лазарета, враз посерели и взмокли улицы, в темных садах закружились оголтело галочьи граи, и унылый монастырский звон до краю наполнил собою дворы, панели, базары.

Из калиток, крылечек, окон просунулось обомшелое обличье с рысьими глазками. И потекли со двора во двор, от ларька к ларьку, вдоль пустынных, хвостатых заборов шорохи, шопоты, причитанья.

Попрежнему светятся в мглистых туманах огромные окна исполкома; попрежнему гудит там и сям, вспугивая мокрую немоту улиц, серый автомобиль, и несменно, как вестовые костры среди ночи, пылают на зорях заводские голоса: неугасима, неугасима, неугасима тоска их по веснам, по солнцу, по иной, небывалой, преображенной земле.

„Зина, родная, ты права!“ — писал Мартын из степи, со дна туманов, с неведомых, заплесканных кровью дорог.

„Ты права — я эгоист! Был им все время, но не буду! Простил себе, потому что аз есмь продукт какой-то среды... Думал о своей бледнолицей матери... Тосковал по лучшему человеку! И знаю — в огне, в гуле, в крови нашей армии рождается новое общество, а значит, и новый, лучший человек! Не забывай М. Баймакова“.

Это письмо, заклеенное в хлопчатую бумагу, с адресом, наспех выписанным чернильным карандашом, Зина нашла у себя, в губкоме, среди деловых конвертов.

Было утро, и было много вокруг людей, и, чтобы сохранить письмо, Зина заложила его в папку с бумагами о ремонте и пуске сухарного завода: толстое многолистное „дело", начинавшееся протоколом чека.

Только вечером, покончив с текущими делами и выпроводив Памфилову, требовавшую докладчика на завтрашнее районное собрание, Зина вновь взяла письмо в руки и перечитала его не один раз: шопотком, полным голосом, напевом.

Никто не видел секретаря губкома в эти минуты. А в следующие — Зина уже перелистывала толстое „дело" о ремонте и пуске сухарного завода. И, перелистывая, старалась думать об этом провалившемся с треском ремонте, о шайке угодливых и льстивых мошенников, работавших на подрядах, и о странной роли здесь партийца Арштейна.

Арштейн! Он встал перед нею с сочными своими, как у обжоры, губами, со скрыто-трусливым взглядом больших, темных глаз, и вспомнился Зине недавний бурный вечер, когда судили Мартына, и вспомнились каркающие слова Арштейна в сторону подсудимого. Одновременно — чувство темной неприязни к Арштейну и чувство певучей нежности к Мартыну поднялись в ее сердце.

Она завернула „дело", встала от стола и, не имея сил бороться с собою, отдалась мыслям о Мартыне.

В последние дни она ловила каждое слово, доносившееся с фронта, и успехи наступления будили в ней восторг и гордость. Она гордилась за те толпы рабочих и крестьян, которые сражались в армии Панкратова, и за штаб этой армии, работником которого был Мартын.

Ее энтузиазм при известиях о победах разгорался тем сильнее, чем глубже сознавала она, что вся ее жизнь до последней капли связана с будущим революции.

Лишившись близости Мартына, проводив отца в первый далекий и опасный рейс, Зина, казалось бы, должна была остро ощутить свое одиночество. Но она не только не затосковала в эти дни, но и еще полнее почувствовала свою молодую, кипучую жизнь, связанную с огромнейшей партией, с армией, со всем народом.

Теперь она не удивлялась беззаветной выносливости Черноголового: ведь он дышал многими тысячами жизней, переливавших в его жилы неугасимый огонь, — его удивительная воля к борьбе, к победам, к бессмертию питалась из неисчерпаемого резервуара восставшего класса.

Как чудесно, что Мартын не обиделся на жестокое ее слово, сознал себя виноватым, вспомнил о ней.

„Зина, родная, ты права: я был эгоистом!“

Конечно, теперь уже ничто не помешает ему выковать в себе бесстрашие. Он преобразит свое мироощущение. Он приобщится к воле миллионов и вместе с ними одержит победу над ужасами прошлого.

Как жаль, что она не может написать ему. Но — терпение! Она увидит его лично и передаст ему открытый ею секрет: ключи к неслыханному счастью, когда личные желания сливаются с желаниями масс и когда вообще ничто не страшно...

Что-то подсказывало Зине, что в ключах от этого счастья Мартын все еще нуждался.

Только бы не наделал он каких-нибудь глупостей, только бы не утерял рассудка в своем устремлении к бесстрашию, к самоотверженности.

Что значила эта фраза из его письма: „был им, эгоистом, все время, но не буду!“ Какие новые порывы одолевают Мартына, какие планы роятся в его неспокойной и гордой, слишком гордой, головушке?..

И зачем он послал ей это письмо, наполненное общими фразами? Разве не знал он, как дорого было бы услышать

ей о самых обычных и простых вещах: о его здоровье, например, об условиях работы, о степени опасностей, его окружающих.

Не продолжает ли сказываться здесь, в этом его письме, все та же жесткость сердца, упивающегося собственными дерзаниями?..

Может быть, было бы лучше вовсе не получать такого скупого письма! Ведь она чувствовала себя в последнюю неделю прекрасно: ни одна беспокойная мысль не посещала ее, все помыслы ее как бы парили над временем, и ее вера в будущее, в себя, в Мартына жила заодно с верою в дело пролетариата... А это письмо... нет, она решительно недовольна письмом!..

Зина подошла к телефону, подняла трубку. Впервые за все последние дни ей не хотелось возвращаться домой, в пустые комнатушки, к холодному самовару (бедный старый отец, что-то с ним теперь?). Она назвала номер Черноголового, никто не откликнулся ей.

В дверь из коридора бубнили голоса, хохот, крики: там дежурил отряд особого назначения. Зина обернулась к зеркалу. В огромном трюмо, глубоком и прозрачном, как человечьи глаза, таилась своя пасмурная жизнь. Стол, в виде прилавка, крытый до пола серым сукном, казался в полумраке гробницей.

Зина торопливо сложила бумаги в портфель, постояла над „делом“ Арштейна, прихмурилась, отложила в ящик.

Она решила итти к Михаилу Иванычу. Его еще нет дома, но он должен быть с часу на час. Михаил Иваныч знает, вероятно, о Мартыне больше, чем знала она по этому его никудышному письму, и потом ей необходимо теперь же поговорить о „деле“ Арштейна: не все тут ясно! Она достала из ящика папку с бумагами о сухарном заводе, запихала в портфель и направилась к выходу.

Дорогою мысли, как осы над цветущими травами, упорно вились вокруг Мартына, и когда Зина пыталась

отмахнуться, осы набрасывались с еще большею настойчивостью. Она попробовала представить себе отца в его паровозиой будке, среди мокрых, черных степей, ио образ Мартына всплыл из-под руки Никифора Семеныча и застлал паровозную будку.

Темными расщепленными лучинами, в ветру, в гуле железных кровлей, лил над улицами дождь. За мокрыми заборами скрипели старые липы. Откуда-то, со стороны кадетского плаца, доносились винтовочные выстрелы: кто-то неуемный, злой, скучающий палил в белый свет. И лаяли, откликаясь гулкому эху, псы за воротами.

Зине стало жутко. Поеживаясь и вслушиваясь в глухой, мокрый голос ночи, бежала она то по одной, то по другой стороне улицы, выбирая дома, где еще светились окна. Так добралась она к общежитию. И когда, поднявшись по лестнице, устланной зеленоватою дорожкой, вошла она в номер Михаила Иваныча, невольно заулыбалась. Сбросив с себя мокрое пальто и наскоро оправив у зеркальца прическу, оглядела комнату и вдруг почувствовала благодарную нежность к хозяину. Михаила Иваныча не было дома, но, спокойный, уравновешенный, глядел он здесь отовсюду. Постель, строгая и жесткая, но опрятная, указывающая на многолетний навык одинокого, полагающегося только на себя человека; грубое, холщевое у водопроводной раковины полотенце, поражающее своей белизной; какие-то щеточки, коробочки, пузыречки, аккуратно расставленные на стекле умывальника; два портрета в черных рамах — Маркс и Ленин — на стене, над рядом венских стульев, и наконец этажерка с книгами, небольшой письменный стол.

Милый, честный, невозмутимый, мудрый Михаил Иваныч! Если бы она и не знала, что живет здесь Черноголовый, все вокруг подсказало бы ей об этом, и особенно письменный стол, этажерка с книгами.

Ну, кто же, кто, кроме Михаила Иваныча, мог в таком порядке держать книги, в такой опрятности — письменный свой стол! Книги стояли крепко и ровно, хороводом, и в этой тесной устойчивой семье (Маркс, Ленин, Лассаль, Плеханов) было что-то белоснежно-юное, как голова Михаила Иваныча. А этот стол, темный, поблескивающий, с матовым чернильным прибором, с тонко отточенными карандашами, расположенными на особой стеклянной подставке... Этот стол, манящий к себе своим уютом, и строгий, почти суровый, как прилавок лаборанта!..

Одна из книг лежала на углу стола. Она была раскрыта. Бисерные пометки пестрели на полях. Зина заглянула на титульный лист.

Гегель
Энциклопедия философских наук
Часть II
Философия природы

Так вот над чем сидит Черноголовый в короткие часы своего отдыха, в часы, свободные от исполкома, губкома, фронта, продразверстки, эпидемий!

Чувство ребячьего умиления охватило Зину. Она уселась в единственное здесь мягкое кресло и полузакрыла глаза. Уставшие за день ноги ее ныли, но сердце билось ровно, неслышимо. У нее было то самое состояние, какое испытывают очень молодые и очень нервные люди после душной бессонной ночи, когда, распахнув на рассвете окно, они отдаются внезапному сладостному забытью среди веяния утра.

И, успокаиваясь, отдыхая от крикучего, толкучего и бестолкового дня, Зина вновь чувствовала тихое и ласковое волнение: незримые нити вновь тянулись от ее сердца через ночь, через слякоть, через мокрые, бушующие ветры к людям, к заводам, к фронтам, к будущему родной страны и... к своему маленькому личному счастью!

Письмо Мартына начинало казаться ей простым и ясным, какими изредка бывали у этого человека синие его глаза.

В порыве бездумной благодарности к комнате, приютившей ее тревогу, и к хозяину всех этих чинно покоившихся под голубым светом вещей, Зина поднялась с кресла, раздумчиво и зорко огляделась вокруг и с тихой, но хитренькой улыбочкой на тонких завитушках губ ухватила из угла половую щетку. Не то чтобы в ее усердии особо нуждались старенькие, но вполне чистые полы, но там кое-где валялись клочки бумаги, а Зине до смерти хотелось внести что-нибудь свое, хотя бы самое крошечное, в эти стены!

И тут неслышно вошел Михаил Иваныч.

— А, Кудрявцева! — произнес он с порога, стянул с себя взмокшее пальто, отер руку о носовой платок и, протягивая ее девушке, сдержанно заметил: — Это что же, Зина, инстинкт хозяйки?..

Она, закрасневшись, рассмеялась, отмела бумажки в угол и, возвращаясь к столу, прихватила свой портфель.

— Никак не разберусь с проклятым этим делом! — говорила она, доставая папку и еще гуще краснея, на этот раз — за свой грязный, затрепанный, мокрый портфель: только теперь заметила.

— Сухарный завод... — рассеянно откликнулся Черноголовый, отодвинул в сторону Гегеля и сел у стола. — Безобразное дело... Вошь и лихоимство — бич русской земли... Даже после грозы воздух у нас не вполне чист!..

Он говорил, как всегда, с уклоном к афоризму и посмеивался, но за толстым стеклом его очков чадил неспокойный зеленоватый огонек. Зина заметила, насторожилась и, как это обычно бывает у простодушных или совсем юных людей, тотчас же перенеслась мыслью к своему личному, тревожащему ее — к Мартыну: не тут ли причина плохо скрытого беспокойства Черноголового?

— А я получила от Баймакова писульку! — сказала она без всякой связи с делом о сухарном заводе и присела у стола, положив обе свои руки поверх папки.

— Ну, и что же?.. — отозвался он вяло, достал из жилетного кармана щеточку и начал разглаживать свои еще совсем темные и тщательно подстриженные усы. — Что же, попрежнему философствует?.. Да! ты знаешь...— несколько оживился он, — со штабом у Мартына не вытанцовалось!..

Красноватые, в заусенцах, пальцы Зины вздрогнули.

— Как! он покинул штаб?.. — воскликнула она.

— Представь, покинул! Он нашел, что в штабе достаточно политкомов, и отправился в строй, в пехоту, под ружье.

Она взглянула в лицо Михаила Иваныча, не доверяя его посмеивающемуся голосу. Холодная белизна медленно начала проступать на ее щеках.

— Значит, он... в строю? — сдавленным голосом проговорила она. — Под огнем?..

Михаил Иваныч сунул свою щеточку обратно в жилет.

— Если в строю, то, конечно же, под огнем!.. Разве может быть иначе?..

Он сбросил очки, отвалился на спинку кресла, рассеянно таращил свои близорукие, в натруженном тумане, глаза. Глаза эти были зеленоватые, с глубокими и темными, маслянисто-расплывающимися зрачками, и на переносице, там, где держался металлический хомутик очков, резко проступали оранжевые полоски.

— Мартын остается верным себе! — заметил он, чуть погодя. — Но, по совести говоря, он не должен был покидать штаб... У него достаточно знаний, чтобы быть полезным именно мозгу армии... Да-с... Как видишь, товарищ Зина, помимо вши и лихоимства, старый наш быт оставил нам в наследство много всяких болячек, зримых и незримых!..

Тут Михаил Иваныч встал и заходил из угла в угол, и по тому, как он сосредоточенно глядел при этом себе под ноги, Зина угадала, что Черноголовый чем-то расстроен.

— Может быть, у Мартына были свои основания! — проговорила она, думая, что Михаил Иваныч встревожен именно известием о Баймакове.

Михаил Иваныч махнул рукою, круто повернул к столу и опустился в кресло.

— У нас не все благополучно, Кудрявцева!.. Пару часов назад из чека мне сообщили...

Он снова вытащил свою щеточку, провел по усам, отшвырнул, поправил: положил прямо — щетинкою вниз, зеркальцем вверх.

— Жаль до чорта людей... работников!..

И, не спуская с нее затуманенных, невидящих глаз, продолжал:

— В Меловатской волости произошли беспорядки... Кулацкая сумятица!.. Подробности еще не выяснены.. Дело в том, что... пятеро наших погибло... Повалишин... Прищепчик... Петр Пятачок — знаешь? Упит...

— Упит! — горестно воскликнула Зина.

— Да, и еще один... Клепиков... Только что, понимаешь, прибыл он на место....

Он снова встал и принялся шагать из угла в угол.

— Нападение произведено ночью, на сонных... Кое-кому удалось бежать!..

Остановившись у телефона, Михаил Иваныч рывком поднял трубку.

Зина сидела, опустив голову, прикрыв рукою глаза. Грудь ее подымалась высоко и неровно. Из-под пальцев катились поблескивавшие капли, падали, расплывались звездами на синей обложке дела о сухарном заводе.

XVIII

Остаток этой ночи Зина провела неспокойно. Мучили сновидения. Кто-то невидимый, страшный, преследовал ее. Она бежала, падала, летела в пропасть. Тоненько, визгом, вскрикнув, проснулась и услышала гулкие удары своего сердца. Светало.

Отдаваясь привычному с детских лет порыву, она позвала отца. Глубокое молчание было ей ответом. Тогда враз она вспомнила все: и то, что уже вторую неделю от старика не было вестей, и то, что Мартын — в окопах, под огнем, и то, наконец, что сегодня в город доставят бездыханными тех... пятерых!..

И на минуту ощутила Зина тревогу, острую и жуткую, какую только что пережила во сне. Она прижала колена к животу, накрылась с головою одеялом и так, скорчившись, лежала не двигаясь.

И вот в сердце ее поднялись печальные, певучие слова:

„Не плачьте над трупами павших борцов"...

Она отпахнула одеяло, встала, принялась одеваться, но эти слова — „не плачьте над трупами" — продолжали наполнять ее всю.

Пройдя в кухню и став машинально у раковины умывальника, она попробовала вслух передать немолчную, звучащую внутри ее песнь:

„Не плачьте над трупами павших борцов"...

И как только услышала себя, почувствовала неудержимую волну слез, ударившую в голову.

Плескала из-под крана в лицо, и слезы мешались с ключевой водою.

На улицах было пасмурно. Дождя не было, но, казалось, сам воздух сочился влагою, и у сизых, с темными подтеками, заборов ветви лип роняли на асфальт тяжелые капли.

Зина запоздала. Когда подошла она к зданию исполкома, грянул оркестр, со двора, через отпахнутые ворота, двинулись людские ряды. Зина остановилась, поджидая кого-нибудь из губкомцев. Лица у всех были напряженные. Спешили друг за другом, стараясь на ходу равняться по фланговому. И почти не было слышно голосов. Кто-то зажал в руке цыгарку, прятал от себя и других, искры сыпались в мокрые полы.

За воротами стояла лужа; подходя к ней, люди разрушали строй, обегали и вновь смыкались. Картузы, кепки, платочки; плечи, темные от влаги; заплаты на спинах, клочья хлопка у затрепанных пол и много ног — тяжелых неуклюжих, неподатливых и легких, прыгающих, торопящихся.

Катюшка-бомбометчица застряла в проходе, придушенно взвизгнула, вырвалась, окинула Зину из-под своей папахи курносой улыбкой, и кто-то, похожий на профессора, с волосами, белыми, вьющимися, прикрытыми соломенной шляпой, важно вышагивал в ногу с соседом и низкою октавой рокотал в тон оркестру: „Там-там-там"...

Оркестр удалялся. Голоса, напруженные боевой радостью, колыхались у серого неба, согревая и расцвечивая его.

Зина увидела Сухорукова.

— Можно?

— А ну, держи ногу...

Сухоруков казался злым, но, когда вышли на середину улицы и оркестр застонал и забился в тоске почти человечьими криками, губы Ильи Ильича запрыгали, как у обиженного подростка.

Было что-то отрешенное и вместе с тем грозное, как вызов, как предостережение врагу, в этих рыдающих звуках оркестра, и в траурных этих стягах, похожих на орлиные, обрызганные кровью крылья, и в этой размеренной гулкой поступи шеренг.

Прохожие жались на тротуарах, извозчики сворачивали в переулки; там и сям открывались створчатые двери, и оттуда выглядывали немые встревоженные глаза. Зина ловила испуг, недоумение, ненависть и просто любопытство. Но были и такие глаза, в которых нежданно расцветала печаль, светлая, крылатая, и Зина знала, что тут — сердце, предчувствующее далекие времена, когда у человека будет только один враг — смерть, неутомимая и ненавистная всем своею неотвратностью.

На вокзале темными тесными рядами выстроились по перрону.

Поезда с останками погибших ожидали ровно в семь. Стрелка на белом, висящем под навесом, кругу показывала без десяти.

Сухоруков вышел из строя и замешался в толпе, что-то покрикивая. От мастерских, громоздившихся за бурым разливом вагонных крыш, прямо по путям торопливо бежали в одиночку и кучками деповские рабочие. Лица у них были в масле, в поту, в копоти. Синие, зашарканные дотемна распашонки их трепались под ветром. Кареглазый слесарь, председатель месткома, вскарабкался на перрон, поднял руку с фуражкою и зычно покричал своим:

— Стройся... Равнение на меня!

И, едва деповские утолкались в правом крыле, из дверей вокзала вышел Михаил Иваныч. Торопливо пробрался он через стену партийцев и стал впереди, у самой каймы перрона. Рядом поместились: Синицын, Губарев, Лузгин. Потом подошли секретари районных комитетов, депутаты — по два от каждого завода, знаменосцы советских учреждений.

Голова у Михаила Иваныча была обнажена. Ветер шевелил эту белизну, как ворох спелой цветущей гречихи. Через плечи Михаила Иваныча Зина видела кровли недвижных вагонов, уходившие к мастерским, и эти мастерские, чумазые и чадные. В воздухе было влажно и сине,

пахло олеонафтом, горелым углем. По рядам густела тишина, отчего еще отчетливей доносились звоны стали со стороны мастерских и рокот земли под маневрирующими паровозами.

Прозвучал колокол, сорвалась медная поющая капля и затонула в тупом шорохе толпы. Зина взглянула на белый круг: стрелка дрогнула, воткнулась в цифру VII. Справа, из-за потока вагонных козырьков, там, где водокачка упиралась рогом своим в серое распухшее небо, заклубился дымок. Шелест прошел по рядам: повинуясь безотчетному внутреннему трепету, люди обнажили головы. Солнечная труба оркестра поднялась над головами и сторожко нацелилась в небо. И вдруг спорый мелкий дождик опылил воздух.

Султаны дыма, падавшего за водокачкой, быстро приближались и никли по сторонам на заглянцовевшие от дождя вагоны.

Из-за поворота показалась черная, пышущая жаром грудь паровоза.

Черноголовый взмахнул рукой, оркестр сорвался и застонал множеством своих истосковавшихся голосов.

Зина встретилась с глазами Михаила Иваныча: глаза эти были светлы и прозрачны, как слезы.

Могуче и протяжно, вздувая воздух белым полымем, заголосили гудки мастерских: одни — густые и темные, как гул канонады, другие — пронзительные, побелевшие в срывах отчаяния.

И опять, осыпая спину колючим холодком, запели в сердце Зины слова:

„Не плачьте над трупами павших борцов“...

Плавно, как бы боясь потревожить сладкий покой мертвых, катился паровоз вдоль перрона, и катился за ним один только вагон — открытая площадка с белыми, ничем не покрытыми гробами. Четыре армейца, вытянувшись, стояли у гробов; мокрою сталью отсвечивали винтовки.

Оркестр внезапно смолк, оглушая людей тишиною, но мастерские все еще голосили, и сетчатый дождик пружинился под тяжелыми звуковыми волнами.

Двое в фуражках, торопясь, вдвинули досчатые сходни с перрона на площадку вагона. Черноголовый с траурным знаменем в руках взошел по сходням и накрыл сосновые, желтоватые от влаги домовины.

Он хотел говорить, но на сходни взобрался Сухоруков. Голо остриженная голова его, крутые его скулы, подбородок, тугой и синий, были мокры. В глазах ворочалось что-то большое и горестное, оскал рта налит был немым отвращением.

— То... то... варнщи! — выдохнул, выкрикнул он. — Это что же с нами делают?.. Вить это... что же... такое?.. — протянул он руку к желтым и мокрым, как бы оплывающим воском, гробам.

Затем тяжелая волосатая рука упала, и Илья Ильич, защурившись, молча пошел вниз. Было видно, как человек этот собирал все силы, чтобы стянуть, сомкнуть, застудить свои судорожно перекошенные челюсти.

А Черноголовый говорил. Черноголовый был несравненно спокойнее Ильи Ильича, и потому голос его звучал ровно и крепко, и слова были стремительны и остры — он как бы вбивал гвозди.

Но Зине казалось, что сильнее всех слов — белоснежная голова Михаила Иваныча, склоненная к гробам.

Оркестр заиграл „Вихри враждебные“. Под его звуки, при настороженном молчании толпы, Илья Ильич, слесарек из депо, Иван Разноуздов и еще двое, в замасленных дотемна блузах, подымали гробы и несли их по сходням в толпу, передавали с рук на руки.

От гробов шел смешанный запах сосны и разложения — горьковато-сладкий запах меда и желчи.

Гробы казались большими и тяжелыми. Илья Ильич, слесарек, Разноуздов и другие кряхтели над ними и

перекликались сторожко, деловито, с тем самым терпением, с каким рабочие носят сырой материал к своим станкам.

— Заноси на себя, балда...

— Подхватывай с пододнища...

— Осторожно!..

С грубоватыми перемолвками, стемнев в лице, подвигались двое вперед, и двое, придеживая гроб на весу, пятились, скребли по сходням коваными каблуками.

На каждом гробу, с боков, у забитых крышек, кем-то заботливым каракулями были выведены имена покойников.

И на первом, по лоснящейся желтизне, срываясь у коричневого засучья, алела надпись:

„Т-щ Повалишин“.

Зина поймала эту расплывающуюся от влаги строку, и вдруг перед нею встал человек, — таким она видела его последний раз у себя, в губкоме: тщедушный и вертлявый, с высоким покатым лбом, с очень маленькими, девичьими руками.

И вспомнила Зина, как он, похожий на пойманную белку, метался из угла в угол и выкрикивал с горькою усмешкою:

„Потомственный почетный интеллигент, существо высшее, сложное, лишенное классовых инстинктов“...

Именно так, в таких выражениях, посмеивался над собой Повалишин, и, может быть, была тут своя правда. Но...

„Verba volant, scripta manent“...

Слова улетучиваются, написанное... жизнью остается!..

Молодая женщина в короткой драповой жакетке, туго обтягивавшей крепкую грудь, тянулась к гробу, не спуская с него своих тревожно настороженных глаз, как будто в досчатом, наглухо заколоченном гробу покоилось не бездыханное тело.

Когда Илья Ильич, пятясь по сходням, оступился, и гроб с надписью „т-щ Повалишин“ едва не выпал у него из рук, молодая женщина вскрикнула, бледное ее лицо

перекосилось в жалостливом испуге, и руки, ладошками вверх, подхватили угол гроба.

Она не рыдала, не жаловалась, но из широко раскрытых глаз ее, полных немого ужаса, все время катились слезы.

Зина поняла, что перед нею — жена покойного, и опять в ушах ее зазвучал печальный и насмешливый голос Повалишина:

„Я обженился, Кудрявцева! И, кажется, буду отцом“...

Заглядывая в лицо молодой женщины, быть может, уже хранящей в своем теле завязь новой жизни, Зина как бы осязала дыхание той чудовищной, грозной и прекрасной силы, которая создает и рушит, сковывает землю льдами и вновь гонит из нее буйную поросль.

Пронесли Упита, голубые глаза которого всегда напоминали Зине лучшую пору детства. Спустили на руках ящик с круглолобым, чернобровым Прищепчиком. Подняли и передали толпе, жадно тянувшейся встречу десятками своих рук, самый большой гроб — с бородатым Петром Пятачком.

Но еще оставался там, на мокрой, рябой от лужиц, платформе, гроб — пятый, последний. И со странным, детским любопытством в глазах, заострившихся от страдания, поджидала Зина этот последний, пятый гроб.

Наконец и его подхватили на руки.

На желтой, вамокшей доске лиловые каракули гласили: „Т-щ Клепиков“.

Заколыхались знамена, дрогнула, двинулась вперед темная, осененная желтизною гробов толпа, заиграла музыка, не выдержали — подняли в голос, в крик горе свое женщины — жены, сестры, матери мучеников, и, рванувшись вперед, настигла Зина пятый, последний гроб, подняла руку, приняла на ладонь тяжесть.

Было жуткое, волнующее своей необычностью изумление: не этот ли человек, чья мертвая тяжесть касается

теперь ее руки, всего лишь месяц назад, под гул небывалой борьбы за мир — совершенный, прекраснейший, пытался с такою безумною жадностью осуществлять свое право на крошечные первозданные радости!

Из узкого прохода — стены вокзала и чахлый сквер — процессия выбралась на главную улицу, на простор, под широко разверстое небо. Дождевая метелица пеплом осыпала дали, в далях мертвыми солнцами вылупливались монастырские главы, и тут, под ногами, уныло зеркалилась булыжная мостовая.

С тихим жестяным рокотом струилась вода по трубам, хлестала о камень, желтые брызги летели далеко за тротуары.

Мерно и тупо гудели людские волны, уносили в вечность белые, под алыми парусами, ладьи мертвых.

Теперь Зина не сомневалась: никогда не будет у нее счастья с Мартыном, и не будет самого Мартына, непрочна его повозка, бешены кони, гибелен путь, осиливаемый этим человеком.

В порыве смутной нежности она нагнала Михаила Иваныча, пошла с ним рядом и старалась плечом своим коснуться его плеча.

Он взглянул на нее из-за стекла и рассеянно, будто размышляя вслух, проговорил:

— Смерть должна служить человеку... Это — одно из орудий борьбы за параллелограмм жизни... Иначе — все бессмысленно!..

Затем, слегка склонившись к ней, сказал негромко, но резко:

— С кладбища мне надо быть у Лузгина... Тебя же прошу забежать в губпродком к Синицыну... Он должен выехать вместе с чоновцами — не иначе!.. Ты поняла?..

Она поняла его.

— Хорошо, я иду к Синицыну!

В тусклом зале губпродкома, в грязных, заплеванных коридорах было людно. Еще у главного входа, на улице, Зина повстречала людей, хлопотавших около повозок. Были люди в походном снаряжении, с винтовками за плечами.

Дождь унялся; среди туч, разодранных в клочья, зеленело; лужи на мостовой отсвечивали синькою; в студеном, ветреном воздухе резко, как из-за только что начисто протертого стекла, проступали дома, заборы.

Кони отфыркивали, сбруя позванивала. Люди говорили высокими, кручеными голосами, точно находились на большом друг от друга расстоянии.

Чубатый человек рыжими, что-то угадывающими глазами глянул на Зину, подмигнул соседу и напевно гаркнул:

— Эх, бабонька, куды котишься...

Синицын стоял посреди своего кабинета, торопливо застегивал ременный пояс с подсумком для патронов и отдавал последние распоряжения своему заместителю. Заместитель держал в руках обширную ведомость и все пытался перебить Синицына, спросить его о чем-то своем, более, как казалось ему, неотложном и важном. Заместитель был сутул, долговяз, щеки его глубоко ввалились, как у больного, но в глазах холодело неукротимое упрямство, и жесты его рук были размеренно четки.

Заметив Зину, Синицын отстранил заместителя.

— Кудрявцева, ты что?..

В его обычно тусклом лице теперь теплился румянец, глаза сосредоточенно посверкивали.

— Ничего особенного! — поспешила успокоить его Зина. — Михаил Иваныч хотел бы, чтобы ты выехал со своими людьми несколько позже нашего чона... или вместе с ним!..

— Это же почему?

И видя, что Кудрявцева замялась, Синицын обратился к своему заместителю:

— Товарищ Дронин, пройди к ребятам... Пусть управляются с завтраком!..

— Видишь ли, Синицын...— заговорила Зина, когда заместитель, втянув в плечи голову и широко размахивая руками, вышел.— Михаил Иваныч беспокоится, что тебе... будет трудно... Нет, нет!..—подхватила она, заметив недовольную гримасу в лице Синицына.— Конечно, он не сомневается в твоем опыте, такте, уменье... Но, Синицын! Ведь весь район наводнен бандитами. Деревни действуют вслепую... Может быть, там даже белогвардейцы!.. Все это говорит за необходимость крайней осторожности...

— Ну-с!— ссохшимся голосом откликнулся Синицын и присел у стола на кончик стула.— Дальше, Кудрявцева!..

Зина удушливо улыбнулась.

— Это все, товарищ Синицын!

— Мало! Незачем было трепаться сюда...

Он встал и решительно нажал кнопку в углу своего стола.

Зина потемнела в лице.

— Синицын, в чем дело?— она захватила его руку и отвела от кнопки.— Скажи, пожалуйста... ты даже не согласовал свою поездку с губкомом!.. Михаил Иваныч, например, не совсем согласен, что ты, оставляя общее руководство, летишь с отрядом сам...

Синицын взволнованно прошелся от стола к окну и обратно. Затем, приблизившись к Зине вплотную, он глухо, срываясь, заговорил:

— Я ценю заботы товарища Черноголового... Уважаю, и прочее... Но... на этот раз он близорук, чорт возьми!.. Именно я, руководитель всего дела, должен разобраться в этой чехарде!— голос его вырос.— У меня имеются данные о положении на других участках и о настроениях там наших людей... Данные говорят о необходимости

самых срочных мер... Надо многое уладить, исправить, восстановить... И надо поднять дух наших работников... Поняла?..

— Да, но...

— Нам не о чем дальше рассуждать!..

Он снова протянул руку к кнопке, и снова осторожно отвела эту руку Зина. Веки ее дрогнули и сузились так, что Синицыну невозможно было разобрать выражение ее глаз.

— Видишь ли, Синицын... — она скрыто передохнула.— Партия еще могла бы рискнуть твоей головою, но рискнуть судьбой всей хлебной кампании...

Румянец сошел с лица Синицына.

— Значит, я нуждаюсь в опеке?.. — выкрикнул он.— Может быть, вы там думаете, что Синицын — круглый идиот?. Или что Синицын может сдрейфить... потеряться... сбежать из огня в роде... в роде этого мальчишки Баймакова?..

Зина вздрогнула, веки ее на момент совсем сомкнулись.

— Синицын... — проговорила она негромко, — зачем ты выходишь из себя? Если Юпитер сердится, значит, он не прав!..

— Пожалуйста, без ученых пословиц... Плюю я на твои пословицы!..

Синицын, всегда спокойный, ровный, был решительно неузнаваем.

Зина укорчиво покачала головою.

— Конечно, не мне указывать тебе, Синицын... Но... что за тон у тебя?.. И к чему все эти подозрения?.. К чему, наконец, эта ссылка на несчастье другого товарища?..

— Ладно, ладно... — проговорил он и с силою нажал кнопку.

На пороге показался человек в шинели. Зина узнала в нем Разноуздова.

Не глядя на нее, Синицын отдал распоряжение:

— Скомандуй там... сию же минуту выступаем!..

Разноуздов, ответив по-военному: „Слушаю, товарищ", вышел.

Зина молчала. Молчал Синицын. В желтом сумраке лицо его казалось мертвым. В коридорах гудели торопливые шаги. За окном было серо, сине, ветрено.

— Чоновцы должны выступить ровно в шесть!..— проговорила Зина четко и сухо, но так, точно слова ее ни к кому не относились. — Сейчас — без четверти три... Значит, отряд твой может выступить не ранее, как через три часа!..

— Будет тебе ломать комедию! — круто повернулся от окна Синицын. — Слышала? я отдал распоряжение!..

— Распоряжение надо отменить...— все так же вполголоса, но четко откликнулась Зина.

— Я этого не сделаю!.. Нам дорогá каждая минута... Поезд отходит около четырех...

— Чоновцы едут с особым составом ровно в шесть... Ночевка — в Семилуках!..

— Ха... Есть когда заниматься нам ночевками!..

— Что? Ты хочешь явиться на место к ночи?.. Синицын!..

— В чем дело?..

— Поторопись отменить... Незачем дурачить людей!..

— Это... губком их дурачит!..

— Хорошо, пусть будет по-твоему... Но ты все же распорядись!

— Н...нет!..

— Распорядись, Синицын!..

Вдруг он сжал кулаки и прошипел в лицо ей отборное ругательство.

За окном высоко и протяжно запел рожок. Синицын потрогал пояс патронташа, захватил со стола фуражку,

надвинул ее на голову и молча направился к выходу. Но перед самою дверью остановился, постоял молча, молча повернул обратно, сдернул с себя фуражку и бросил так, что она покатилась со стола на пол. Затем он опустился на стул.

Зина нажала кнопку, подняла дрожащей рукою фуражку, отряхнула ее.

Дверь распахнулась. Вошел человек в бешмете, в папахе, с нагайкою в руке.

— А ну, чого тоби треба?..—спросил он бухающим голосом.

Зина взглянула на Синицына. Синицын встал:

— Скажи там... Выступаем через пару часов... Только... не расходиться!..

Человек в бешмете, ничего не сказав, вышел за дверь.

— Пока!—проговорила Зина.

Она спешила уйти, ей почему-то казалось, что оставаться здесь далее не следует. В то же время в ушах ее еще звенели слова Синицына о „мальчишке Баймакове", и была ноющая тревога: с какой стати брякнул он это? Неужели проклятая история в Липках будет вечно преследовать человека? Синицын — близок Мартыну! Как же будут держать себя другие?

Синицын ожидающе глядел на Зину. Она поймала этот взгляд, суровый, озабоченный, и не решилась говорить.

— Счастливого пути, товарищ!..

В коридоре, наполнявшемся снова шинелями, бешметами, тужурками и табачным чадом, кто-то подхватил Зину под руку. Она взглянула, встретила голубые глаза Уткина.

— Вы здесь, Уткин?

— Ну, да!—заговорил он торопливо и возбужденно.— Вот уже с месяц прилагаю познания в канцелярии продкома... Но теперь... со всем этим покончил!..

— Почему же?

— Еду с отрядом Синицына... в действие!..

Он сказал это с подчеркнутым восхищением, и только тут заметила Зина, что на Уткине не было крылатки. Она даже отступила на шаг, рассматривая его с нескрываемым смешливым удивлением.

— Что, поражены, возмущены?..— воскликнул он.— Признаю: военное сие обмундирование идет ко мне так же, как седло к корове. Но... суть совсем не в том! Суть — внутри человека, товарищ Кудрявцева!.. Да вы спешите, нет? Зайдемте-ка сюда вот...

И он потащил ее к первой полуоткрытой двери. За дверью была крошечная комната со скамьей и какими-то баками в углу.

— Одну минуту, товарищ Кудрявцева! — торопился Уткин, отводя ее к бакам.— Жаждал видеть вас весь день! Был чрезвычайно огорчен, полагая, что не увижу... Вообще... никогда уж не увижу!.. Вы понимаете: этот поход чреват всяческими последствиями... Да, да, конечно!.. И не надо никаких ободрений... Я отчетливо сознаю, на что иду... Да, да! И я вне себя от счастья, ей-ей!.. Только решившись действовать, понял я наконец, что́ такое человек в действии!..

Он еще что-то говорил, спеша и заикаясь, побрызгивая слюною, но Зина плохо понимала его. Из головы у нее не выходили мысли о Мартыне, только что обиженном Синицыным, сердце ее щемило, перед глазами всплывали видения траурной процессии: темная толпа с белыми ладьями над нею; алые полотнища знамен, поникшие от влаги; далекие монастырские главы, похожие на глаза бестелого чудовища... И почему-то все это — мысли о Мартыне, злые слова Синицына, белые ладьи над толпою — казалось теперь чем-то единым, тесно связанным меж собою и глубоко горестным, как скорбный напев похоронного марша, как тревожные и темные удары ее сердца в эту вот минуту.

И, не замечая Уткина, вовсе не слушая его, она тихонько стала подвигаться к двери. А он цеплялся своими холодными пальцами за ее руки и все говорил. И только уже за порогом Зина пришла в себя. И, как только оторвалась она от своих дум и перестала слышать свое сердце, кто-то, безмерно обиженный, умирающий от желания задержать на себе внимание, вошел в ее сознание и опалил его.

Приподымаясь на носках, весь вытягиваясь и то и дело хватая пальцами за руку девушки, Уткин не рассказывал, а выплевывал вместе со слюною, вместе с влагою в глазах, вместе с глазами, счастливо скачущими, удивительную свою повесть о некоем жалком, ничтожном, никем не признаваемом человеке, вдруг вот решившемся действовать, бороться в ногу с пролетариатом, умереть... на глазах всей страны, всего мира!..

Зина вдруг забыла о всем своем личном, вслушалась, вгляделась и, не в силах сдержать себя, начала смеяться.

Уткин с ужасом, как на сумасшедшую, взглянул на нее и оборвал шумный поток своих слов.

— Продолжайте, продолжайте! — говорила Зина голосом, прыгающим от еле сдерживаемого смеха. — Я вас слушаю, чорт возьми! Итак... вы говорите, что идете с отрядом... Но куда же, куда?..

Уткин недоуменно вскинулся на нее, но он уже хотел вновь верить ей. И он продолжал рассказ о чудесном своем обращении к действенным силам революции (именно так он и выражался). Ведь, собственно говоря, какой смысл в жизни, если она напоминает растрепанную клячу? Никакого нет смысла в такой жизни! Человек живет только раз — это так же верно, как то, что земля вертится! Но если уж жить только раз, то жить по-настоящему! Он, Уткин, и не предполагал в себе особого запаса воли, решимости... Он уже готов был поставить над собой крестик (именно — крестик, а не крест)... Но

вот сегодня утром все это совершенно изменилось! Сегодня утром он сказал себе: „Да, ты болен, Уткин, и ты имеешь право на снисхождение, но ты, сам-то ты не должен снисходить к себе!..“ Сегодня утром он заявил о своем решении товарищу Синицыну, и вот—уже в полном облачении воина... Теперь ему и смерть не страшна! Невидаль какая — смерть Уткина! Тысячи отдают свою жизнь на алтарь будущего... И разве он хуже всех этих тысяч? Разве он не имеет права пожертвовать собою?.. Вполне возможно, что, по злостности духовного склада своего, люди могут сказать: легко тебе, Уткин, жертвовать жизнью, ежели ты и так дышишь на ладан, ежели от легких твоих остались одни тряпицы!.. Так нет же, дорогие товарищи! Всякой твари дорога жизнь, и Уткин не меньше, а больше и глубже многих других ценит ее... Ах, чудаки вы милые! Даже наука не проникла в тайны смерти, и никакое научное светило не сможет сказать, действительно ли Уткин обречен на гибель... Нет, право, только сегодня он, наконец, почувствовал себя в своей тарелке, оценил как следует свои силы и счастлив, счастлив... как никогда!.. Он даже верит теперь в особое свое призвание (в конце концов, неважно, в какое именно), и он готов верить в свое будущее, в ладью своей жизни, в светлые берега, уже намечающиеся среди косматых бурунов...

— Как это у Пушкина, помните? — сиял Уткин, приникая к Зине. — Помните... насчет девятого вала!..

На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал!..

Поддакивая, кивая головою, добралась Зина к выходу, и, как только скрылась, Уткин побежал вдоль коридора, заглядывал встречным в лица, присоединялся к разговорам, покрикивал там, где кричали, смеялся, если смеялись, и наконец, захватив кого-то нового под руку, увлек за собою, осыпал ворохом своих восторгов.

Ровно через три часа Синицын нажал кнопку в углу стола, и коридоры огласились шумом последиего, торопливого сбора в путь.

И когда уже взялся губпродкомиссар за фуражку, влетел в кабинет Уткин.

В руке у него развевался носовой платок, платок был в свежих пятнах крови.

— Товарищ Синицын!— закричал он.— Видите? Опять с кровью!.. Где уж тут воевать... Освободите!..

Он беспокойно дергал белесыми своими бровями, но голос его захлебывался от радости.

Поздно ночью, укладываясь в постель и поеживаясь от нестерпимой тишины в комнатках, услышала Зина охрипший звонок телефона.

Сбросив одеяло, она перебежала, босая, от койки к столу, сорвала трубку, приникла к ней. Лицо ее осветилось.

Говорил Черноголовый.

Новости с боевого фронта... Наше наступление развивается по всем направлениям. Господа генералы не успевают убирать свою артиллерию. Конные полки их ущемлены с флангов и терпят неслыханный урон. Если так пойдет дальше...

Что? Кудрявцевой не спится? Можно ли приехать к нему? На чем же приехать и зачем? Просто, посидеть? Это в час-то ночи?! В конце концов, он не возражает... Тем более, что надо кое-что подготовить к завтрашнему заседанию губкома... Да, да, конечно, он будет ожидать ее... Впрочем, одна минута!.. Нет, он не может принять ее! Нет, решительно нет! В чем дело? Он должен сосредоточиться... побыть наедине... Спокойной ночи!..

XIX

На фронте назревали решительные события. Армия готовилась к прыжку, который должен был опрокинуть, смять, уничтожить врага. Из штаба, по фронту и в тыл,

летели воззвания, приказы, требования. Потрепанные части спешно отводились в тыл, другие, менее пострадавшие, пополнялись свежими силами. Поезда подвозили снаряжение и артиллерийские резервы. Из городов, прямо с фабричных дворов, с митингов, потоками вливались в казармы добровольцы. В полях возникали новые пешие и конные полки, круто замешанные рабочими пополнениями, комиссарами, политруками.

Губисполком, продком, совнархоз потеряли свои очертания. Видимые между ними границы стерлись: старое белое здание исполкома и губкома, бывшее губернское присутствие, вобрало в себя все силы. Был как бы один штаб — штаб партии, штаб рабочего класса.

Никогда, с самого того момента, как над белым зданием взвилось алое полотнище, не напрягала так своих сил Кудрявцева, и никогда ранее не чувствовала она на своих плечах столь огромной ответственности. Все положения, все плоскости, все взаимоотношения между людьми изменились. Не было предисполкома, был Черноголовый с чрезвычайными полномочиями от реввоенсовета фронта. Не было губпродкомиссара, был некто, получающий телеграммы из Кремля и располагающий всеми вооруженными и агитационными силами губернии: хлеба, хлеба, хлеба... И не было в роли секретаря губкома смуглолицей, еще не отвыкшей краснеть девушки, которую все запросто окликали Зиной, — была известная всему городу Кудрявцева, секретарша партии, машинистова дочь. Полномочия ее — от всех рабочих слободок, не сдававшихся холоду, голоду, мору. И уже не бегала эта новая Кудрявцева за советами к председателю губкома Черноголовому; не звонила с затаенным волнением к тому или иному члену партбюро, ожидая одобрения; не засматривала в глаза рабочим, ища в них упрека, недоверия, застуженной улыбки.

Потеряла Зина отца: вез старый машинист на фронт, штабу, полкам динамит, ометы патронов и — не возвратился. Перебралась Зина с узелком, с материнским стеганым одеялом под мышкою, в старое здание губернского присутствия, в ту самую бывшую гардеробную, где когда-то впервые коснулась она тайны цветущего своего тела. Но не волновали здесь девушку воспоминания о далеком вечере; забылась, стерлась неприязнь к себе, и не было обиды на человека, самоуверенного и жадного до темных радостей, — не было Клепикова, давно смешалось тело его с землею, а имя — с именами славных бойцов, покоившихся в братской могиле. И когда перебирала Зина в памяти дела и дни, недавние и странно далекие, навсегда отодвинутые в прошлое новыми событиями, покойно и ровно билось ее сердце. И даже старого Никифора Семеныча, заменявшего ей с детства мать, вспоминала она без боли: так велика и радостна была гордость дочери, потерявшей отца в борьбе за жизнь революции.

Какие дни, какие невозможные, незабываемые дни!

Утром, с рассветом, под студеными ветрами тревожно гудели телефонные провода, разносили по городу жесткий, чуть-чуть хриповатый голос секретаря губкома.

— Пятый сводный лазарет? Получите наряд в отделе медснабжения! Вопрос согласован!

— Чрезвычком? Дайте председателя! Карточки на мыло заготовлены... Распределители имеют приказы!

— Коммунхоз? Попросите завжилотдела... Эти семьи мы должны устроить во что бы то ни стало! Очистить сегодня же монастырское подворье... Да, согласовано!..

И потом, часом позже, клокочущая мотоциклетка, чем-то, в мокрети, в хлестком ветру, напоминавшая подстреленную птицу, неслась по мостовым — от Жданова к Добрынину, от Добрынина к Лузгину. Но не за советами, а с готовыми решениями металась Кудрявцева из

коммунхоза в совнархоз, из совнархоза в наробраз, из наробраза в здравотдел, в казармы, в больницу, к самому Сухорукову, Илье Ильичу.

Сухоруков — председатель чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемиями. В помощниках у него — Катюшка-бомбометчица: выросла вдруг, отвердела, приняла на жилистую свою спину всю тяжесть выселения, вселения, переселения — из рабочих слободок в центр.

И только к обеду, перехватив в столовой свою осьмушку хлеба, возвращалась Зина в кабинет губкома, усаживалась за массивный свой стол, принимала партийных и беспартийных, рабочих и мещан, модисток и врачей, военных и монахов... последних потому, что не соглашался преосвященный очистить монастырское подворье под семьи рабочих, искали монахи правосудия в бывшем губернском присутствии.

А вечером — совещания, обычные, без Черноголового, и экстренные, широкие, объединенные, с участием его. Сидела Кудрявцева по правую руку от председателя, писала протокол и, впервые за весь день, отдыхала: уже не надо было думать, решать, предпринимать что-то по своему разумению, — возвышалась над столом надежная, думающая белоснежная голова Михаила Иваныча.

И когда, наконец, поздно ночью пробиралась Зина в бывшую гардеробную, сбрасывала с себя рывками платье и укладывалась под ватное материнское одеяло, вспоминала Мартына. Но в коротеньких, отуманенных усталью мыслях ее уже не было ни радости, ни боли: ничего такого не оставлял ей минувший день, бешеный, жаркий, пепельный в последний свой час.

И засыпая, улыбалась Кудрявцева от счастья, не желая для себя ни единой капли больше того, что имела.

В эти самые дни пришло второе письмо от Мартына, пространное, в несколько мелко исписанных листков.

Писал Мартын с одного из привалов, в часы боевого роздыха, рассказывал по порядку о всем пережитом.

И, единственный раз за последний месяц, раньше положенного часа покинула Зина губкомский свой стол, ушла, скрылась в старой гардеробной. Читала и перечитывала, жила вместе с Мартыном, радовалась, горевала, волновалась с ним.

В штабе Панкратова Мартын пробыл недолго, но и этого короткого времени оказалось для него достаточно, чтобы понять, почувствовать, ощутить слухом, зрением величие развертывавшихся событий.

Ничего подобного не представлял себе Мартын. Он был поражен, смят. Вдруг он нашел себя школьником, мальчишкою и почти с испугом вглядывался в людей, казавшихся ему чародеями. Даже курьеры реввоенсовета, бестрепетно мелькавшие в квартирах штаба, представлялись ему выходцами из какой-то нездешней, богатырской земли.

Огромный заводской поселок, в который свалился штаб армии, трещал, как кафтан подростка на богатырских плечах. Улицы, широкие, как столбовая дорога, давились густой кашей человеческих тел, конских крупов, железных повозок, мотоциклеток; все это толкалось, гоготало, трещало, выло и устремлялось за околицу, к станции железной дороги, в степи. Бешеный водоворот не унимался даже ночью, когда смирялись заводские корпуса и покорно затихали темные вокруг степи.

Первое впечатление Мартына от штаба Панкратова было таково, что вся эта шумная жизнь беспорядочна, самостийна, лишена единой, направляющей воли. Всадники скакали нивесть куда, машины грохали и кружились точно ошалелые, люди сходились и расходились без особой цели. Но стоило Мартыну продежурить свои первые часы в штабе, как уже вся уличная оголтелая суета предстала ему в ином свете. Теперь он знал, что

и конные, и пешие, и мотоциклетки заняты одним, напряженным, строго, до последней детали, рассчитанным трудом. Он знал, что тот вон курносый, чубатый парень, усаживающийся в седло, только что засунул к себе под фуражку хлопчатый пакет с последнею сводкою хозотдела; что этот серолицый человек с поджатыми, как у обиженного старца, губами спешит к мотоциклетке, чтобы через пять минут открыть заседание в особом отделе; что тот зеленый автомобиль, прыгающий в ухабах с риском лишиться своих шин, должен в положенную минуту высадить седока на станции, и что седок этот не просто седок, а сам начальник лечебно-санитарных сил армии.

И, уходя с дежурства ночью, пробираясь во мраке, в слякоти улиц к себе, в свой угол, на отдых, знающими глазами оглядывал Мартын черное небо, тонким слухом ловил призывные крики рожка и не сторонясь встречал бешеный галоп курьера.

Большое каменное здание, похищенное армией у заводов, пылало в темени подобно неугасимому костру на больших дорогах. Тугие незримые лучи его изломами молний втыкались в пространства, двигали полками, заряжали новой энергией вооруженные толпы.

Мартын сидел в политотделе над ворохом воззваний и приказов, но мысли его рвались туда, в операционную штаба и на улицы, сходившие с ума от торопливости. В свободные минуты, чужой, но зоркий, бродил Мартын грязными коридорами штаба, вдыхал пьяный аромат перегоревшего пота, ловил тугие от страсти голоса.

„Зина, милая! — писал Мартын. — Не было никакой возможности разобрать, кто и в каком именно отделе служит, кто и как связан с тою или другою частью армии, где начальник и где прямой его подчиненный: все лица, все голоса, все жесты обращены к одному невиднмому, но властному центру, где тугим узлом затягивались чаяния побед“.

Только по особо отточенному шагу да по напряженным извнутри движениям, отменным среди валкой и тяжкой поступи вчерашних рабочих, угадывал Мартын военспеца. Но то же, что и у других многих, выражение жаркой сосредоточенности было на лицах старых офицеров, и то же заволакивающее глаза желчью возбуждение светилось здесь. Едва ли вполне отдавая себе отчет, военспецы заражались общим подъемом, как мастера своего дела, как люди искусства, внезапно оказавшиеся среди неслыханных возможностей. И с рвением, завидным для скряг, служили они искусству войны, забывая о своих убеждениях, о вере своей, о путях своих, еще вчера насмерть расходившихся с народом.

„Но было и по-иному, Зина! Вдруг открывались ложь, лицемерие, лукавство, и из-под бровей, покорно перед тем отягченных заботами, проступала непримиримая вражда“.

Мартын помнит иссиня-бледное лицо человека, однажды возникшее перед ним в сумрачном штабном коридоре: двое армейцев с наганами на взводе вели по коридору, от темной, сотнями рук залапанной двери командарма, высокого жилистого человека. Шел человек привычною машинною поступью служаки, но во всей его фигуре уже тяжелела сознанная обреченность: то был один из офицеров, обманувших доверие реввоенсовета.

Многое успел Мартын уловить, подглядеть и понять здесь, в штабе Панкратова. И прежде всего понял он, что боевая стратегия армии выковывается не только в штабе, но и где-то за его пределами, и что старым военрукам стратегия эта не всегда была доступна. И не удивлялся Мартын, когда вчерашний ефрейтор, малограмотный ткач Алеев, выполняя свои обязанности в штабе, одним летучим замечанием, какою-нибудь одною фразою приводил в смущение человека, увенчанного в свое время чинами и регалиями. О Панкратове и говорить было

нечего! Перед Панкратовым стояли навытяжку, и не потому только, что этого требовала дисциплина...

Гордый сознанием, что и он является одним из тех, кому открыты были тайны стратегии, не поддающейся учету военной науки, Мартын как бы вовсе забыл о недавнем своем прошлом, о несчастном случае в Липках, обо всем том, что еще вчера так мучило его. День за днем, час за часом свыкался он с необычною обстановкою, преодолевал растерянность и медленно, но настойчиво, как равный, втягивался в дружную работу штаба.

Никто не интересовался его прошлым, никому не было дела до того, чем он жил раньше. Люди слишком были заняты своею ни с чем не сравнимою ношею, взваленной на их плечи десятками тысяч бойцов.

Но вот, проходя как-то в полдень со станции в штаб, столкнулся Мартын лицом к лицу с длинноусым, грудатым Остапенко. Движимый странным испугом, Мартын торопливо отвернулся, но был узнан.

— Ай-гай! — завопил Остапенко. — Да это же вы, товарищ Баймаков...

На литейщике болталась шинель в накидку, под мышкой он держал желтый ящик походной аптечки, из-под козырька на лоб ему стекали взмокшие и жирные, как олифа, волосы.

— А я ж тут пятый день, товарищ земляк... Позоркуй, каким воякой сделался Тарас Остапенко!..

Он был весел, бездумен, горячеглаз и шагал рядом с Мартыном, осыпая его рассказами о своих приключениях.

Мартын слушал и думал только о том, как бы поскорее отделаться от земляка.

Прощаясь, Остапенко легко и весело напомнил о том, как ему, Остапенко, удалось тогда, на партсобрании, отчитать этого жмыгу, желтолицего Жданова!..

Пробежав это место письма, Зина без труда представила себе волнение Мартына, и она не удивилась последующим его строкам:

„Я поспешил уверить Остапенко, что завтра же уезжаю на фронт. Остапенко обрадовался, нашел, что и ему не следует сидеть здесь, на штабных харчах...—Ты поезжай,—говорил он,—а я за тобой следом“...

С этой минуты Мартын потерял спокойствие. Прежние сомнения нахлынули на него. И вдруг, сидя вечером того же дня за бумагами, понял он, что, в сущности, Мартын Баймаков здесь только гость. И ему стало казаться, что еще с самого начала работы в штабе он только и думал о том, чтобы окунуться по-настоящему в войну, быть там, где люди несут в жертву будущему свою жизнь, об руку с ними бороться, вместе с ними ненавидеть.

Ночью Мартыну не спалось. Снова перебирал он в памяти события последних недель и снова с явным подозрением прощупывал каждый свой шаг... Как это мог он столь легко забыться, свести все свои страдания, все неразрешенные свои вопросы к работе в штабе! Конечно, здесь-то ничто его жизни не угрожает, картечь не рвется над его головою и пули не свистят за ухом. Нет, видно, навеки останется он слабым человеком, и Зина, конечно, права, бросив ему в лицо обвинение в эгоизме, в самолюбовании.

Утром Мартын подал рапорт об откомандировании его в действующие части и тогда же послал первое свое письмо Кудрявцевой:

„Зина, родная! Ты права—я эгоист. Был им, но не буду!“

Когда, в тот же день, сумерками, товарный вагон уносил Мартына в глубь степей, навстречу войне, сердце прыгало у него в груди от смешанных чувств: была тут и гордость за себя, и жалость к себе, еще такому юному,

не испытавшему личного счастья и не желающему этого счастья... потому что нет и не может быть иного счастья, кроме как в самоотверженной борьбе вместе с рабочим классом!..

Он долго стоял у открытых дверей вагона, слушал гулкий мужичий говор за спиною и не сводил глаз с темного крылатого предмета, летевшего над березами, не опережая и не отставая от поезда. Музыкальный рев, похожий на колокольное эхо, врывался порою в шум поезда и наполнял душу звуками скорбной песни, отрешенной от всего мелкого, повседневного.

Степь вечерела, слепла, небо набухало влажною теменью, и все летел, не отставая и не опережая поезда, крылатый челнок, и падали, орошали сизую, засыпающую степь упругие перезвоны.

Нет, жизнь еще далеко не окончена! Борьба только впереди. Мартын должен возвратить общее к себе уважение и, главное, веру в себя, в свои силы, в свое призвание революционера.

Так, рельсами, в повозках, в пешем строю — сверху вниз, от штаба к штабу, подвигался он к своему полку, к своей роте, к своей 18631-ой винтовке армии Панкратова.

И на этом пути не раз охватывало Мартына чувство восхищения и гордости за свой класс, за свою партию.

Приближаясь к концу, он мысленно восстанавливал за собою все те треугольники, круги, клеточки и ячейки, из которых построено было огромное здание армии. От самого центра, от Панкратова, через дивизии, бригады и полки, к батальонам, к ротам и взводам вожжами тянулись стальные нити, и непрерывные токи шли по ним — вниз и вверх, как кровь — от сердца к мускулам и от мускулов к сердцу, к мозгу.

И еще увидел Мартын, пробираясь день за днем, верста за верстой к своей винтовке, что чем ближе

становились боевые участки, тем меньше было вокруг торопливости, тем увереннее, холоднее и суровее двигались люди, пока, наконец, не уткнулся он в кучу армейцев: с удивительным спокойствием ползли они полем, от ямки к бугорку, от кочки к выбоине — под бешеным клекотом пулеметов, под визг и свист свинцовых стрекоз, под непрестанное гулкое медвежье рычанье в небе.

Лег он в сухую траву рядом с коломенским мастеровым Никитою Голомедовым — по одну сторону — и рязанским мужиком Шаповаловым — по другую, приложился к винтовке и выстрелил в невидимого врага. И как только услышал в гуле залпов первый свой выстрел, так сейчас же и понял, что с этой минуты будет, как все вокруг: холодным, суровым и неторопливым.

Застуженная неторопливость кричала о себе всюду, и она оставалась нерушимою даже в самые критические для полка моменты. Так, на пятый день по прибытии Мартына, правый фланг полка потерпел крушение, враг ворвался своей конницей в цепи, измял их и залег в перелесках, а на левом секторе появились броневые машины. Положение становилось угрожающим. Ночь дала передышку, но к утру, с рассветом, отдан был по ротам приказ об отступлении. Враг заметил. Рванулся вперед и, сдерживаемый пулеметным прикрытием, открыл огонь по тыловым линиям. И вот Мартын видел, как, колоннами, шагом крепким, неспешным, с тугими округленными жестами рук, проходили под холмиком роты, и двое — командир и комиссар, — как на смотру, плясали на своих конях, покрикивали что-то в ряды и даже не оглядывались в сторону перелесков, откуда с кашлем, с лаем, с завываньем сыпалась в небо шрапнель. И когда дошла очередь до второго взвода третьей роты, Мартын также двинулся среди колонны, но его ноги дрожали, в груди разливался холодок, и было чувство нестерпимого отвращения, точно шел он по горячим углям и

кто-то, жестокий, требовал, чтобы шаг его был тверд и нетороплив. Вскользь, насколько позволяло приличие, поглядывал он в разрезы холма, на чадные перелески и чувствовал, как глаза его накаляются страхом. А рядом, шмыгая носом и утираясь рукавом шинели, шел коломенский мастеровой Никита Голомедов — олицетворение равнодушия, зоологического какого-то покоя. И этот человек раздражал Мартына, будто не те вон двое, пляшущие в седлах, держали в своих руках размеренную поступь колонн, а он, коломенский мастеровой Никита Голомедов. Утеряв всякое представление об опасности, тупой, как животное, отбивает он своими рваными обутками медленный такт (ас-два, ас-два) и тянет, точно на привязи: справа — его, Мартына, слева — рязанского мужика Шаповалова.

И Мартын слышал дребезжащий голос этого Шаповалова:

— А ведь обойдут, сукины сыны!..

Но Голомедов поднял голову, спокойно отозвался:

— Почто обойти! Не полагается...

Только много позже узнал Мартын, что за бессмысленною фразою Никиты Голомедова таился холодный расчет, построенный на огромном боевом опыте солдата.

Опасность обхода со стороны перелесков, несомненно, была, но не такая, какой рисовалась Мартыну. Полторы сотни красных стрелков, залегших с пулеметами за холмом, представляли ограду, достаточную по силе, чтобы пропустить за своей спиной отряд вдвое, втрое многочисленней, и не десять и не двадцать минут. а весь час был в распоряжении марширующего в тылу батальона.

И тут впервые Мартын понял, что в основе неторопливости, с какою проделывались операции на фронте, было, прежде всего, знание ремесла.

„Я не помню, Зина, кто так сказал, но кто-то сказал, что война есть ремесло... Это верно! Война есть работа, в которой участвуют тысячи и десятки тысяч людей, и,

как на всякой другой фабрике, в армии — строгое разделение труда, свои прогулы, своя успешная или неуспешная затрата сырого материала, та или иная степень производительиости. Лучшею работою здесь, как и на фабрике, почитается та, которая дает наибольшие результаты при наименьшей затрате сил и средств.

„И не даром тут у нас тяжелые пушки называют мартэновками, пулеметы — строгальщиками, а команды у батарей — формовщиками.

„И не даром комбриг Дзюба, желая высказать горечь и неудовольствие, кричит обычно в сторону армейцев:

„— Нечего сказать, работнички! Последнее с вами профукаешь...

„Да, война, это — работа, но работа... с орудиями смерти, и смерть здесь, Зина, обычна и естественна, как голод, как любовь, как сон“.

Мартын встречал бойцов, измученных бессонными ночами, голодных, равнодушных к смерти и жизни. Он сам — правда, на короткие минуты — испытывал нечто подобное: вдруг зрение его затуманивалось, слух переставал ловить свист пуль, и каждою клеточкою тела тянулся он к покою, ко сну — во что бы то ни стало, хотя бы и с мыслью, что потом никогда уже не проснешься.

На языке армейцев это называлось „блажью“.

— Опять, паралич те разбери, блажь в голове у мене...

Слыша зловещее это словечко, соседи по цепи подползали к товарищу, поталкивали его в бок, балагурили, причитали вслух о семье, о бабах, о всесветной революции: авось, что-нибудь зацепит земляка! И усилия эти оказывали свое действие: кошачьи зовы жизни подымались, крепли; из уст, перед тем туго сомкнутых, срывалась ревучая материая брань. Но случалось и так, что жажда покоя брала верх, сигнальные огни рассудка угасали, кровь свертывалась в жилах, человек полз еще некоторое время, потом, неожиданно, усаживался по-бабьи на

колена, озирался вокруг оловянными глазами, и, если пуля находила его, с сладкою улыбкою ребенка валился в траву.

Никита Голомедов — замечательный человек!

Соседство Голомедова в цепи и при переходах Мартын не променял бы ни на что! Теперь только оценил он по-настоящему неторопливый шаг коломенца. Итти рядом с ним рука об руку было надежно, весело. Казалось, что у тебя под боком вышагивает само бессмертие: столь удивительно увесиста была походка Никиты, так ровно подымалась его крутая грудь, столь несокрушимо спокойно глядели в даль голубые его глаза.

Мартын видел, что Голомедов следит за ним, как бы взвешивая его силы, и не раз, в часы жарких схваток с врагом, голубоглазый сорокалетний вояка этот озадачивал Мартына выкриками: „Подтяни живот“, „Не дышь овцою“, „Крути больше курдюком-то!..“

Недалеко от Дона разыгрались упорные бои. Рота Мартына, имевшая перед тем передышку, накопила сил, лица у людей посвежели, движения рук и ног вновь стали упруги. Шли в цепь с прибаутками, с хохотком, и Мартын не отставал от общего настроения: никогда, казалось ему, не чувствовал он себя таким сильным, бодрым, надежным. Когда прокатилась первая ядреная команда, и стрелки начали переползать, а затем и перебегать вперед по полю, волнение, знакомое ему по охоте в тайге, охватило Мартына. „Ага! — сказал он себе, — теперь-то уж Баймаков не позволит разыграть из него зайца никакому случаю...“ По сторонам, справа и слева, поднялись во весь рост, ощетинились, бежали, как волки, прыжками, кричали дико, призывно. И как только услышал Мартын свой голос, крепкий, отдающий металлом, небо запрыгало у него в глазах, тело стало воздушным и как бы отделилось от земли. В неистовом порыве беспредметной злобы (к себе, к людям?) бежал он и не оглядывался вовсе на соседей.

Но кто-то нагнал его, заорал сбоку и вдруг со всего маху поддал ему в ноги. Мартын упал... Голомедов лежал рядом, закладывал трясущимися пальцами новую обойму,— кричал:

— Белены ты объелся? Пулемет!..

Позже, уже ночью, Никита говорил Мартыну:

— Ты, Баймаков, смерти не ищи... Она, братец, сама тебя сыщет... Понял?

И покорно, как старшему, отвечал тогда Мартын коломенскому мастеровому:

— Понял, товарищ!..

Нельзя, гадко, безумно при каком бы то ни было положении отворачиваться от жизни! Ведь это же она, жизнь, наливает силою мускулы борцов; она зовет и манит сражающийся народ в даль, к новому солнцу, к неосязаемому, но принимаемому безоговорочно, будущему.

Нет, не в равнодушии истощенного тела, и не в презрении аскета к жизни, и не в пьяной животной жажде боя, крови, разрушения кроются силы гордого, мужественного сердца, того, о каком с такою тоскою мечтает Мартын.

„Но где же, где черпать эти силы, где их источник?.. Кажется, я кое-что нащупал, Зина, но еще далеко не все“.

На этом кончалось большое и все же смутное, напряженное какими-то скрытыми, невысказанными настроениями письмо Мартына.

Второе и последнее письмо!

Потом Зина уже не получала от него ни одной строчки.

Прошла зима, отшумела невиданными в этих краях метелями, и снова по-бывалому, горячо и ласково, светило над городом солнце, просыхали, проветривались каменные улицы, просторней и глубже становилось над ними небо, и в саду, прямо за окнами губкома, зацветали, пенились первою зеленью старые липы.

Работа не убывала. Армия Панкратова об руку с другими победоносными дивизиями добивала врага у моря. Но вооруженные ватаги белых перебирались в Крым, перестраивались, готовили новые вылазки. И с запада, вместе с первыми проливными дождями ранней весны, нарастали тревожные слухи, шевелились там белополяки, гремели оружием. Попрежнему надо было думать о хлебе, о снаряжении, о боевых припасах... Хлеба — армии, хлеба — северным городам, голодающим заводам, фабрикам!..

Несколько затихла за зиму тифозная эпидемия, но к весне вспыхнула вновь. Не хватало медикаментов, мыла, бань, белья, топлива. Недели боевой работы — „неделя бань", „неделя чистоты", „неделя топлива" — помогали мало. А тут еще, вместе с разгорающимся солнцем, потянулись через город к своим покинутым местам, на юг, в гнезда свои, беженцы. Подвигались в вагонах, эшелонами, ползли в обозах, запружали станцию, слободы, степи вокруг города.

И была взвалена на Зину еще одна новая забота: замещала она председателя комиссии по устройству беженцев и по разгрузке от них города. Вышло это как-то само собою. Ей доверяли, а она не знала границ своим силам, брала все, что подвертывалось под руку, и ни от чего потом не отступала.

Председательствовал в комиссии Туляков, но он, в то же время, возился и в финотделе, забегал к Кудрявцевой два—три раза в неделю, молча выслушивал ее сообщения, соглашался с нею одними глазами, белесыми северными своими глазами, и убегал. Сухоруков как-то на заседании подметил — еле сидит за столом осунувшаяся донельзя секретарша, — пожалел ее, настоял дать помощников. Пришли наутро в кабинет губкома — сивокудлая Памфилова из района и голубоглазый Уткин в неменяемой своей накидке: помощники! Памфилову услала Кудрявцева на станцию заведывать беженскими бараками, а с Уткиным

не знала, что делать. Вертелся у стола он весь день, кашляя кровью в платок и все говорил о странных каких-то вещах, мечтал, бредил вслух, и, когда вышла Зина, пользуясь обеденным перерывом, в старый липовый сад, следовал Уткин за нею неотступно, жаловался на нелепость, на все безумие того, что вот должен он скоро умереть, угаснуть, как свеча под ветром, а жизнь будет продолжать свою песенку... О нет! Пока смерть существует, не может быть счастливым человечество... Глупо, мерзко, гнусно говорить с ним, Уткиным, о каком-то прекрасном будущем, о мировой коммуне, о новом, счастливом царстве, когда он, не сегодня-завтра, свернется прокисшим молоком и будет выплеснут в помойную яму!

Украдкой ловила Зина в мягкой и нежной, как цыплячий пух, зелени солнечную игру и старалась не встречаться с глазами Уткина. Эти его глаза, обложенные набухшими, воспаленными веками, все время насторожённо следили за нею: присасывались к ее губам, улыбающимся даже в минуты крайней усталости, ловили каждый взмах темных ее ресниц. Казалось, он ждал слова утешения (что ей, в самом деле, стоило рассказать ему о каком-нибудь случае, когда и чахоточные излечивались, становились на ноги, жили до ста лет!). Но она молчала и пряталась, стараясь не выдать своего восхищения перед безумно горячим солнцем, перед буйною, никогда на земле не увядающею зеленью...

Она думала о Мартыне, певучая струнная грусть колебала ее сердце, ей не хотелось слышать озлобленных слов о смерти, о страданиях, она желала только одного и только об этом сейчас думала: еще раз увидеть Мартына, приласкать его, сказать ему, что она не забывает о нем и верит в него!

Какое горячее солнце, и как чудесна зелень на липах, и как сладок вешний липовый воздух, голубой и кроткий среди влажных темных стволов!

— Нет, Уткин, вы не правы! Вы никогда не умрете... Никогда!..

Сказав это, она рассмеялась, поднялась со скамьи.

— А впрочем, все мы умрем, товарищ Уткин, рано или поздно. Но из этого не следует, чтобы мы тут с вами вовсе забыли о беженцах... Они-то живут и хотят кушать!..

Уткин смолчал и не пошел за нею. И когда остался один, вытащил из кармана пакет, общипанный, небрежно вскрытый, извлек из него бумажку и бегло (не в первый уже раз) прочитал короткие строки с пометкою: „Полевой штаб N дивизии“.

Отлично, товарищ Зина! Сейчас Уткин отправится к тебе, станет у твоего стола и положит перед твоими глазами эту бумажку... Тебя окружают посторонние лица: едва ли удастся тебе скрыть от них свое горькое волнение. Может быть, ты даже покинешь этих людей, бросишься вон из своего кабинета, прочь от своих дел. Но тогда Уткин пойдет за тобою следом, настигнет тебя, скажет холодно, с кривой улыбочкой:

„Все мы умрем... рано или поздно, товарищ Кудрявцева! Но из этого не следует, чтобы мы тут с вами позабыли о беженцах“...

Да, он сделает так! Ничто не удержит его. Ведь не обязан же он, в самом деле, догадываться, что какая-то там бумажонка разразится громом над головою Кудрявцевой... И ведь не нарочно же он, Уткин, выуживал этот пакет из вороха других, лежавших на столе секретаря губкома. Только простая случайность (остался в кабинете один на минуту) позволила ему заглянуть в серый пакет. Не случись этого, Кудрявцева сама, часом позже, вскрыла бы эстафету.

Он встал и направился к гранитным порожкам балкона. С трудом, задыхаясь, поднялся он вверх, прошел через открытую стеклянную дверь в кабинет (ах, как много тут солнца!).

Кабинет был полон горючего запаха грязи и пота. Люди стояли, сидели, заглядывали с порога из коридора. Женщины в пестрых лохмотьях, старики с заплесневелыми головами; на руках у женщин возгривые дети,— это все — беженцы.

Кудрявцева сидела спиною к балкону. Уткин, не двигаясь, глядел на эту залитую солнцем спину, и в солнце, в золотой его жиже, видел он темные, коротко подстриженные на затылке волосы и шею видел, смуглую и тонкую, как у ребенка.

Она не услышала (шум стоял в кабинете), но почувствовала человека у себя за спиною, оглянулась, подняла глаза.

— Вы что?

Спросила потому, что сразу заметила необычный его вид.

Но Уткин колебался. И уже засовывал, комкая, серый пакет в карман обтрепанных своих брюк.

— Так... ничего!— заикаясь говорил он и вдруг широко и блаженно заулыбался.

Как только понял, что не отдаст ей этого пакета, обрадовался и заволновался. Новыми, настежь распахнутыми глазами оглядывал кабинет: люди и солнце, много солнца, янтарный, зримый глазами, липовый аромат из сада через раскрытые двери... Как все чудесно!

Торопливо подсаживаясь к столу, улыбался Уткин, перебирал восковыми пальцами бумаги, теплые под солнечным угревом, пахнущие чем-то чудесно-памятным, может быть, детством, школьною тетрадкою.

— Кто из Ольховки?— вновь обратилась к работе Кудрявцева.— Кто тут ольховские?..

Уткин сидел на кончике кресла и перебирал солнечные пахучие бумаги, и вид у него был как у евангельского бога, оделяющего любовью.

„Какою мерою мерите, такою отмерено будет вам!“

И все улыбался мудрою, знающею улыбкою и поглядывал из-за бумаг на девушку, на нежный и робкий овал ее лица. Он, и в самом деле, был теперь как бог, как судьба, как грозный рок Кудрявцевой: молчал и — светило для нее солнце, но... стоило ему захотеть и — мгновенно померкло бы. Кто же не знал, чем дышала эта девушка, к кому из окружавших ее обращались тайные ее помыслы! Еще на том партсобрании, где судили Баймакова, Уткину стало ясно все. Эта излишняя для делового собрания запальчивость секретаря губкома, это ее волнение, почти страх за исход дела...

— Идите, отдыхайте, Уткин!..

Ничем он не помог ей за весь день, но отдыхать ему, конечно, надо, отдыхать от самого себя, от неугасимого своего недуга. Однако, уходить не хотелось. В последние дни одиночество томило его: неправда, что только здоровые да сильные ищут человеческого общества... неправда, тысячу раз неправда!

И вдруг он заговорил о Мартыне. Вышел следом за Кудрявцевой на балкон, опустился в плетеное кресло, подобрался, замигал опухшими веками и заговорил.

Не правда ли, какой сильный человек — этот Баймаков? Редкостный экземпляр! Такие, если на них не обрушится случайно скала, живут за четверых, берут себе в жены краснощеких самок и умирают на сто первом году — патриархами, в кругу сыновей, внуков и правнуков... Давно ли в губкоме имелись о нем известия? Кто-то говорил на-днях, что Баймакова произвели в политруки роты. Как, разве она не слышала? Может быть, она не знает также и о том, что в бою под Екатеринославом Мартына ранили? Впрочем, это только слухи! Уткин и сам не сказал бы, из каких, точно, источников. Во всяком случае, говорили, что рана пустяшная. Конечно, было бы безмерно обидно, если бы этот молодой, цветущий здоровьем человек погиб... Погиб от

жалкого какого-то кусочка свинца, от ржавого какого-то осколка картечи!..

Зина с немою тревогою следила за Уткиным. Солнце падало к густым кронам лип. Зарево осеняло голову Уткина венчиком. Как у святых на иконах. Но в бледном, водянисто-одутловатом лице его, заросшем мшистым волосом, было что-то егозливое и непристойное. И почему-то стало Зине до боли жалко этого человека. Она сказала, подымаясь с кресла:

— У вас сегодня прекрасный вид, товарищ Уткин. Но вам не следует злоупотреблять здоровьем... Скоро будет совсем сыро... Хотите, зайдем ко мне?.. Угощу чаем!..

Он не ожидал ни этих ласковых слов, ни, тем более, приглашения зайти к ней. Внезапно глаза его увлажнились. Но он мотнул головой и протянул руку.

— До завтра, товарищ Кудрявцева! Я с удовольствием посидел бы у вас, но... мне надо еще кое-куда забежать!..

Губы его дрожали.

Она не задерживала его, он сорвался с места и побежал, на ходу развевая полами своей накидки. Попав в коридор, запустевший, безлюдный, Уткин остановился, раздумывая, что ему делать с собою. И тут почувствовал легкое смятение в душе: серый пакет полевого штаба лежал в его кармане, это походило на похищение, тут было, вообще, что-то не совсем ладное!

Он тихонько пошел к выходу, поглядывая на заревые отсветы в стеклах окон, и старался не думать о пакете. Но мысли упорно возвращались к коротеньким строчкам штабной эстафеты, к тому человеку, о ком говорилось в этих строчках, и к этой девушке, странно близкой ему, Уткину, и ненавистной, как все молодые, здоровые люди. Еще час назад Уткин как бы даже радовался тайне, скрытой в сером пакете. Теперь же... о, теперь он отдал бы многое, чтобы только не иметь вовсе этого пакета!..

Пакет шуршал в кармане, напоминал о себе, наполнял сердце тревогою. Главное, никто уже не в состоянии был изменить того события, о котором передавалось в эстафете! Можно было вовсе скрыть пакет, уничтожить его здесь же, изорвать сию же минуту на мелкие клочки. Но не уничтожишь, не переменишь, не вычеркнешь из времени события, факта!..

Внезапный шум голосов, вырвавшийся из боковой двери, привел в себя Уткина. Он стоял, держась за ручку выходной двери, и не двигался. Шум заставил его настрожиться. В чем дело? Разве в зале исполкома собрание?.. Он осторожно, крадучись, на цыпочках (иначе в последнее время он и не умел) подошел к двери, заглянул. И, слегка поколебавшись, вошел боком в зал.

В зале, за столом, под затрепанною метелкою пальмы стоял Черноголовый. Он что-то возбужденно выкрикивал и стучал ладонью о стол. Губарев, развалившись в кресле, шлепал в ладоши. Жданов порывисто бегал от стола к пальме и обратно. Сухоруков топотал ногами на месте, как застоявшийся конь. Синицын был неподвижен, но глаза его, обращенные к Уткину, горели, как у тифозного. Еще кто-то вертелся тут, незнакомый, чубатый, с очень узкими ребячьими плечами.

Из огромных окон по залу водопадом разливалось багровое зарево, алые озера дрожали на паркете, лепные потолки колыхались и рдели, и люди у стола казались в этом пожарище призраками.

Сухоруков обеими руками вцепился в плечи Уткина, окатил его хохотком восторга.

— Уткин, братец ты мой... победа!..

Сухоруков никогда ранее не заговаривал с Уткиным, он не всегда даже замечал его приветствия.

— Уткин, сукин ты сын!.. Самая наисвежейшая новость... Азербайджан наш! Баку наш! Нефтяные вышки... наши... чорт тебя побери совсем!..

Отпихнув от себя Уткина, он подкатил, приседая, как бы танцуя, к столу, рванул с телефонного аппарата трубку, закричал гулко, на весь зал:

— Даешь вокзал! Мастерские? Местком? Митька!.. Азербайджан—наш! Чаво? Переворот... Советская власть... Валяй в мастерские, подлец! Оповещай кругом... крути... завинчивай!..

Черноголовый прервал его:

— Не ори, пожалуйста! Всех оповестим... дай срок!..

Жданов ступил к Сухорукову, отрыгнул, поморщился, сказал:

— Балалайка! Ведь это же только Азербайджан...

— А тебе же чего хотелось? — обнял его с размаху за талию Илья Ильич.— Парижа, Берлина?.. Обожди!.. Все наше будет!

Черноголовый звенел ложечкой о стакан с недопитым чаем.

— Товарищи! Дело — не в Баку... Дело в том, что „вооруженным силам Юга“ капут!.. Я предлагаю созвать наутро экстренное заседание совета... А сейчас срочно оповестить заводы... Пускай встряхнутся ребята, разомнут мускулы!..

— Правильно!— подхватил Губарев.—А ну, Илья Ильич, звони к литейщикам... Или нет... Давай мне!— протянул он руку к телефону.

Синицын пламенел глазами, стоял неподвижно, вдруг как-то весь вытянувшись, он говорил, и белая голова Михаила Иваныча, склонившаяся к нему, подрагивала в такт его словам.

Кто-то вспомнил о секретаре губкома.

— Уткин! Беги к Кудрявцевой, тащи сюда живым манером!

Взывал, воткнувшись в телефонную трубку, Губарев:

— Аллю... Аллю... Давай, барышня, губпрофсовет!..

Уткин вплотную подошел к Черноголовому, вдруг потянул его за руку, подал серый штабной пакет.

— Адресовано в исполком... Случайно попало губкому!..

Михаил Иваныч взял пакет, повертел его в пальцах и бросил на стол.

— Хорошо... потом!..

Но Уткин, как бы чего-то испугавшись, сказал:

— Сообщение о товарище Баймакове...

Михаил Иваныч пристально взглянул на него, поднял пакет и, доставая бумажку, спросил:

— У секретаря эстафета была?

— Никак нет!..— отвел глаза Уткин.— Я могу позвать товарища Кудрявцеву!..

Но Черноголовый не откликнулся. Он уже держал бумажку у самых своих очков. Вдруг рука его напряглась, как бы под непомерною тяжестью. Он отвел бумажку в сторону и медленно поднес ее снова к глазам. Рука его дрожала. Уткин не сводил с него взгляда, в сладостном томлении подбирая в углах рта слюну.

— Так!— произнес негромко Михаил Иваныч и крякнул, как это делают дровосеки, когда, замахнувшись, с силою опускают топор свой.

Синицын услышал тяжкий этот вздох.

— Что такое, что за бумага?..

Михаил Иваныч молчал.

И в эту минуту вошла Зина. Сразу все трое — Сухоруков, Губарев и Синицын — встретили ее аплодисментами.

— Учуяла?— закричал Илья Ильич.— Сердце подсказало?.. Распространяемся, Кудрявцева! Новая республика! С жару, с пылу...

Еще не зная новости, но улыбаясь, весело кивая головою, шла Зина к столу, и тут, заметив в руке Михаила Иваныча бумажку, подалась к нему.

Михаил Иваныч резким жестом отвел руку. Зина взглянула ему в лицо, уловила выражение испуга и насторожилась.

— В чем дело?..

— Видишь ли... — дрогнул Михаил Иваныч. — Тяжелое сообщение... Очень, очень!..

Теперь она видела тягостное волнение в его лице. Лицо это ничем не походило на возбужденные лица окружающих. Тревога сжала ей сердце.

— Возьми, —негромко произнес Михаил Иваныч, вдруг как-то весь подбираясь.

Несколько мгновений Зина не принимала бумажки, поглядывая то на нее, то на Михаила Иваныча, как бы пытаясь разгадать то жуткое, что скрывалось за его предостерегающими словами.

Наконец она взяла помятый листок и, прихватив зубами нижнюю свою губу, заглянула в него. Густой румянец вспыхнул у нее на щеках, на лбу, на шее, и тотчас же сменился зеленоватою бледностью. И губы побелели, как у больного, только что перенесшего жесточайшую лихорадку.

Михаил Иваныч ждал. Давно уже можно было прочитать и перечитать коротенькие строчки, а она все не сводила с них глаз. Губарев заглядывал через плечо Зины, пытаясь читать, вытянул руку и прихватил пальцами конец листка. Она отстранилась, оставив бумажку в его руке, подошла к креслу, опустилась в него.

Илья Ильич ударил ладонью о стол.

— Кудрявцева! Азербайджан... Азербайджан перевернули!..

Илья Ильич еще не знал содержания бумажки, а если бы и знал, то ни на одну минуту не понизил бы своего горластого голоса; глазами немигающими глядел человек этот в раскаленные топки паровозов и никогда не вздыхал, если, случайно подняв голову, видел в ночном небе блеск падающих, отмирающих звезд.

— Азербайджан!.. Баку!.. Нефть!..

Вскинув к нему невидящие свои глаза, Зина, подобно школьнице, запоминающей трудный урок, повторяла одними губами:

— Баку... нефть... Почему?..

— Потому!..— расхохотался Илья Ильич, щелкнул ловко пальцами, притопнул ногою (гул пошел по залу) и запричитал тонким дергающимся голосом:— Их-хэ... Их-хо... Ты понимаешь, гражданочка, что такое нефть? Да я за ней, сволочью, все паровозы ушлю!.. Катай-валяй, мать ее титулярная!..

Вечером,— уже звездная россыпь переливалась в небе холодным жаром,— проходили по главной улице шумные колонны, пели люди „Интернационал". Спугнутые, трещали вдали пролетки. Черноголовый, стоя на балконе губкома, выкрикивал в толпу горячие, но строгие слова о победах на южном фронте, о советском Баку, о неизбежном перевороте в Грузии, о последнем напряжении сил— еще предстоит справиться с белою Польшей,— и о том долгожданном, желанном и уже близком времени, когда, наконец, можно будет заняться мирным трудом.

За спиной у него, без фуражек, стояли: Губарев, Сухоруков, Лузгин, Синицын, Кудрявцева.

Кудрявцева стояла прямо и чинно, и то же, что у ее соседей, выражение суровой торжественности светилось в ее лице. Порою, коротко, глухой икотой, она вздыхала, но никто этого не слышал.

Теплые и влажные волны катились под звездами, орошая улицы синею пылью. Толпа внизу была молчалива, жаркое ее дыхание подымалось к балкону, и Сухоруков, чуть-чуть вытянув шею, улавливал сладчайшие знакомые с детства запахи гари и масла.

— Ура! — кричал Сухоруков, подхватывая рев толпы.

XX

Уступая настоянию врачей, Черноголовый решил передохнуть от работы. За пять лет, минувших со времени гражданской войны, Михаил Иваныч внешне почти не изменился, но нервные силы его иссякали. Прежде всего, это начало сказываться на его сне: спал тревожно и мало. Еще по-старому мог он просиживать целыми днями за работой, но не было уже прежней жизнерадостности, и порою, на больших и ответственных заседаниях, вдруг терял Черноголовый способность слушать и понимать жаркие споры.

И вот он решил провести полмесяца среди волжских просторов, на пароходе. Зина Кудрявцева, не расстававшаяся с ним, охотно поддержала эту затею.

До Нижнего они провели ночь в вагоне, пересели в Нижнем, с рассветом, на пароход и двинулись к Астрахани. В это утро Михаил Иваныч гулял по палубе, щурился из-под очков на солнечные берега и даже принимался напевать „Из-за острова на стрежень"... Зина радовалась за него и за свою девочку Лину, которая бегала кругом по палубе, оглашала светлую тишину надречья буйными криками и ни на минуту не оставляла в покое седоголового своего спутника.

Кудрявцевой было уже двадцать пять лет, она пополнела, движения ее стали более спокойными, но в узких серых глазах ее, как и прежде, светилась пытливая мысль, и в тонких углах рта играла усмешечка.

Она любовалась своею девочкой и с тайною гордостью следила за тем, как, забыв о своих больших делах, Черноголовый весь, казалось, отдавался забавам с Линочкою. Однако, это только так казалось. Уменья ничего не делать, беззаботно созерцать, дышать и смеяться у Михаила Иваныча хватило ненадолго. Уже к полудню он явно начал томиться. Где-то ему удалось достать

газету, и с нею, крадучись, убрался он в рубку. Протесты Кудрявцевой остались безрезультатными. В обед он снова повеселел, шутил за общим столом с пассажирами, а в сумерках долго и оживленно беседовал с капитаном парохода. Капитан был старым моряком, он когда-то участвовал в революционном движении, был лично знаком с некоторыми героями восстания на „Потемкине“ и место капитана на Волге рассматривал как поощрение со стороны государства заслуженному ветерану. У Зины этот человек, знакомясь с нею, неожиданно поцеловал руку; маленькую Линочку он сам, у груди, вознес на свою капитанскую вышку, а в разговоре с Черноголовым держал себя так, словно готов был в любой момент вскочить и стать навытяжку. Он был в одних годах с Михаилом Иванычем, костляв и длинен, выправкой военного служаки превосходил Черноголового, но в его лице, заветренном и грубом, не было той удивительной красоты духа, которая молодила Черноголового и заставляла окружающих провожать его взорами любопытства. Достаточно сказать, что, когда оба они появились в сумерках на вышке, капитан, рядом с Михаилом Иванычем, выглядел обыкновенным матросом.

Ночь Черноголовый провел в безмятежном сне. Но утром, позавтракав, он вдруг ощутил, вместе с приливом свежих сил, почти физическую тоску по той обстановке, которую покинул в Москве. Встав из-за стола, с тревогой вглядывался он в зеркальные окна, как бы ожидая увидеть за ними свой автомобиль. Но автомобиля не было, и не было секретарей с докладами, и не было всего того напряженно-шумного мира, в который каждое утро погружался Черноголовый. Растерянно улыбнулся он Кудрявцевой, пальцы его, запущенные в жилетные кармашки, заметно подрагивали; он чувствовал себя курильщиком, который только вчера решил оставить дурную привычку и выбросил за окно последнюю папиросу.

— Идем скорее на палубу! — пригласила Зина, беря его под руку. — Сегодня на реке чудеса!..

Но осторожно высвободил он свою руку.

— Ступай с Линочкой, а я потом!..

И, как только скрылась за дверью молодая женщина, Михаил Иваныч торопливо прошел в свою каюту, выдвинул чемодан и отпахнул его. В этот день его не ожидали ни заседания, ни доклады, и он искал суррогата работы, его мысли были не здесь. По рассеянности он не сразу понял „несчастье“, но когда понял, что припрятанного портфеля с некоторыми неотложными материалами нет, острое раздражение охватило его. Он чувствовал себя совсем несчастным, и прежде всего его неприязнь вскипела против Кудрявцевой.

— Зинаида Никифоровна! — сказал он, отыскав на палубе Кудрявцеву. — Ты, часом, не заглядывала перед отъездом в мой чемодан?

Голос у него был ровен, но Зина, хорошо изучившая Михаила Иваныча, видела, что он расстроен: щеки его, розовые, литые, гладко выбритые, были неподвижны, а под черными, не сдававшимися времени бровями посверкивал острый огонек.

Она рассмеялась, отбросив книгу. На смуглой щеке ее проступила ямочка, зубы белели, в сузившихся до предела глазах ее прыгал блеск, схожий с тем, что играл в эту минуту под солнцем на волнах.

— Михаил! Неужели я враг тебе? Твой портфель остался дома.

— Но...

Было видно, что он с трудом сдерживает себя.

— Но, право, это ни к чему! Я еще в своем разуме и твердой памяти: опекунов мне не надо...

Голос его ломался. Она положила на плечо ему руку, слегка касаясь грудью отворота его тужурки.

— Достоуважаемый! Не будем хандрить... Жизнь коротка, а дел много... И сейчас мы отдыхаем, только отдыхаем!

Он не спеша отстранил ее.

— Я не понимаю, я совсем не понимаю, как можно с такой легкостью забыть обо всем на свете... во имя отдыха!..

— О, это не только можно, а и должно, Михаил!..

— Ну, относительно того, что́ должно, у нас с тобой, видно, разные взгляды!.. — поморщился он.

Зина еще раз попробовала рассмеяться.

— Какой строгий! Можно подумать, что речь идет об измене революции.

Михаил Иваныч дернул плечом. Теперь ему были невыносимы и этот ее смех, и солнце на реке, и терпкий воздух, туманивший голову.

— Ты страшно легкомысленна! — кинул он взволнованно.

Она вздрогнула, откинула голову, глаза ее увлажнились и захолодели. Он понял и оценил свою неосторожность. Ему стало жаль ее и досадно на себя. Он сказал, пытаясь улыбнуться:

— Ну, ладно, бросим это.

Но ее губы были плотно сомкнуты, и в их углах змеилась колючая усмешка.

— Не сердись, прошу тебя! — повторил он совсем уже растерянно (он знал, что теперь от нее не добьешься ни одного слова). — Я так устал... Мои нервы... Неужели ты не понимаешь меня?

Она молчала, глядя через его плечо на близкий, в садах, берег.

— Кудрявцева! — голос его снова напрягся. — Пожалуйста, не строй из себя царевны-молчальницы... Ты знаешь, как я не выношу этого!..

Тогда она опустилась на скамью. Ее пальцы, перебиравшие оборку на белом платье, были неспокойны.

— Я знаю, что ты перестал уважать меня!.. — заговорила она, глядя в сторону. — И ты, и все другие... Конечно, теперь Кудрявцева только мать, только хозяйка!..

— Неправда! — перебил он ее. — Мое отношение к тебе прежнее! И потом — разве ты не работаешь?..

— Какая моя работа! — она с горечью махнула рукою. — Канцелярия... Эти вечные бумажки, бумажонки... Грош цена моей работе, товарищ Черноголовый!..

Он покачал головою, взглянул по сторонам и подсел к ней.

— Что ты говоришь, чудачка! Всякий труд, если он проделывается добросовестно, ценен...

— Оставь свои сентенции, Михаил! Тебе известно по прошлому, что я способна на более живую и более ответственную работу...

Он вздохнул.

— Не знаю, о чем ты говоришь! В моей достаточно долгой жизни мне доводилось выполнять всякие работы... Я не гнушался ничем, я радовался, что́ бы ни вручала мне партия... Хотя бы то и была простая техника!..

— Но теперь-то ты — во главе огромного дела?

Он с недоумением взглянул на нее.

— Завидуешь?..

Его замечание взорвало ее.

— Не говори пустяков! — воскликнула она, рванув пальцами оборку платья. — Ты отлично знаешь, о чем я! Мне надоела моя роль подруги популярного человека... Я хочу, чтобы меня любили не за то лишь, что я близка тебе! Разве я беспомощна? Разве у меня не хватило бы сил вести самостоятельно любой труд?..

— Любой... труд... — повторил Михаил Иваныч и грустно улыбнулся. — Эх, Зинаида Никифоровна! — Он вздохнул. — Ведь ты уже зрелый человек, а до сих пор не можешь отделаться от дурного тона... Все „я“ да

„я“! „Я“ — в центре всего... Что это такое?.. Когда люди этак вот рассуждают, мне всегда вспоминается бедный Мартын...

Он готов был продолжать в том же духе, его глаза оживились, и на губах заиграла самодовольная улыбка. Но она прервала его.

— Послушай! — сказала она, кладя свою руку на его колено. — Обещай мне никогда не говорить так со мною! Иначе... — она сорвалась, губы ее запрыгали, но голос поднялся. — Зачем ты вспоминаешь Мартына? Ты никогда не понимал его! У тебя слишком алгебраический подход к людям, и не тебе ценить явления, выходящие из ряда вон...

Она поднялась, грудь ее дышала неровно, на круглом, выпуклом лбу выступили капельки пота. Взглянув на этот лоб, обличающий недюжинный ум, но искаженный теперь бессильным гневом, Черноголовый почувствовал раскаяние.

— Кудрявцева, голубчик... — заговорил он, подымаясь на ноги и стараясь захватить ее руку. — Зачем же так? Ты не поняла меня... Я не меньше тебя ценил Мартына, и я не хотел, сравнивая его с тобою, обидеть тебя или его!..

Она, не слушая, пошла прочь. Он следовал за нею до самого борта, где, облокотившись на перила, она долго и молча разглядывала что-то свое среди жарких лучистых волн. Он молчал, не в силах скрыть свое смущение, и она уловила это в его лице, неожиданно повернувшись от перил.

— А где у нас Линочка? — спросил он, пытаясь перевести разговор на мирный лад.

Но она все тем же высоким голосом проговорила:

— Почему ты противишься моему отъезду в Сормово?..

— Что за вопрос? — насторожился он. — Разве я держу тебя?..

— Еще бы!

— Вот так история! — Он снял очки и с укором взглянул на нее. — Разве я отговаривал тебя ехать?..

— Нет, не отговаривал, но я видела, что ты этого не желаешь! И нечего тебе притворяться...

— Зина, поверь мне: я никогда не думал, что ты так страстно жаждешь работы на стороне!..

— Очень жаль, что ты не думал об этом!

Он помолчал.

— Хорошо! Но что дала бы тебе новая работа?

— Ты еще спрашиваешь! — вскинулась она к нему. — Работа в заводском районе, в самостоятельной роли... Пойми, это — моя жизнь!.. Мне опостылела московская шумиха, московская канцелярия... В Сормове я опять найду себя!..

— А как же... с Линочкой?..

— Линочку я заберу с собой!..

Он не торопясь протер носовым платком очки, накинул их на нос, аккуратно сложил платок и опустил в карман.

— Я, право, не знаю... — пробормотал он раздумчиво. — Может быть, ты говоришь резон... Но мне казалось... Впрочем, я ведь — тоже... человек!..

Он замолчал и отвернулся.

Теперь она, в свою очередь, искала момента, чтобы взглянуть на него.

— Ты устал, Михаил... Не будем же гавкать об этом до нашего возвращения!..

— Хорошо, не будем!

— Смотри! Там — Жегули... Я вижу их первый раз!..

— Это — родина Мартына... — откликнулся он тихо. — Ты знаешь, впервые я повстречал его на Волге... Он только что начинал тогда жить... Как быстро летят годы!..

Михаил Иваныч настраивался на лирический лад; это всегда бывало у него после нервных встрясок. Но

почему-то Зине не хотелось слушать его. Ей хотелось остаться одной. Она сказала, покидая перила:

— Не пройдешь ли ты вниз, к машинам?.. Какая-то рабфаковка увела туда Линочку...

— Я иду!..

Он отправился к трапу, но, едва скрылась белоснежная его голова, со стороны носовой части парохода показался ребенок в розовом платьице до колен. Линочка бежала, оглядываясь на преследовавшую ее девушку. Обе смеялись.

— Мамочка...

Зина подхватила ребенка на руки и принялась целовать. Рабфаковка, плечистая, с лицом, усеянным золотом веснушек, говорила баском:

— Мы обошли с нею все машинное отделение... Она у вас ужасно любопытная!..

Линочка высвободилась из рук матери, стала в позу и вдруг побежала вдоль палубы.

— Кудлявцева, лови меня!..

Нарочито маленькими шажками Зина кинулась за девочкой, рабфаковка присоединилась к ней. Так они пробежали круг и на обратном пути столкнулись с Черноголовым.

— Смотри, кого я привел!..

Зина взглянула и не узнала. Перед ней стоял круглолицый, плечистый человек в новенькой тужурке из чесучи.

— Да это ж я, товарищ Кудрявцева! — заговорил человек в тужурке и, перехватив левой рукой свой огромный портфель, протянул Зине правую, тяжелую и красную, в рыжем пушку. — Остапенко!..

Зина ухватила руку, мгновение колебалась и вдруг, притянув его к себе, крепко поцеловала в губы.

— Остапенко! Никогда бы не узнала... Ты глядишь таким фертом!.. И потом... где же твои запорожские усы?..

Остапенко подмигнул карим глазом.

— Бреюсь, как все, под лорда! — сказал он, выпуская ее руку. — А ты звон какая... Налилась, ровно кавун в поле!..

Зина смеялась, осыпая его вопросами: откуда, что делает, куда едет.

Михаил Иваныч заметил:

— Нашего Остапенко нынче голой рукой не ухватишь: директор литейного завода... Рекомендую!..

Остапенко косил глазом, подмигивал, говорил:

— Какой там лях завод! Весь у меня в пригоршне... А это чья же коза? — потянул он к себе Линочку.

— Моя! — сказал Черноголовый.

— Ой ли? — обрадовался Остапенко. — С кем это повезло тебе?..

Черноголовый, молча улыбаясь, кивнул на Зину. Та вдруг смутилась.

— Так вы что ж это, черти, молчите? — затопотал на месте Остапенко. — Значит, обженились? Вот это фунт!..

Он искренно удивлялся и восхищался, Черноголовый посмеивался, у Зины бледность в лице сменилась густым румянцем.

Пароход заносил корму в глубь реки.

Рванул, дымясь и захлебываясь, короткий гудок. Эхо музыкально прозвучало вдоль отвесного берега. Из-за пестрой скалы выглянула кирпичная труба, известковая пыль у подножия отливала снегом. Тяжело и неуклюже поворачиваясь с юга на север, надвигалась просторная долина. На взъемах, оцепивших долину, курились синие, в молоке, туманы.

— Морквашн! — прокричал Остапенко, осиливая шум кипящих за бортом вод.

Зина заволновалась.

— Михаил! — сказала она, касаясь рукою плеча Черноголового. — Я хотела бы сойти на берег... Ты говорил мне когда-то...

— Сойди! — откликнулся Черноголовый. — Но стоит ли тут пароход?

— Пятнадцать минут! — крикнул Остапенко. — Замечательное место... Известковый завод... Кержаки!..

Бревенчатые избы и луга за ними быстро плыли встречу пароходу, а синие лесистые взгорья по сторонам падали, сбоченившись, в голубые дали.

Повеяло навозным дымком. Тесовая, вишневого цвета, конторка на плавнях быстро приближалась, на ее площадке бегали люди. Капитан кричал в рупор голосом великана. Со стороны казалось, что он бранился.

Пароход замер на месте, дрожа мелкою зыбью и оглушая людей клубами пара. Затем, медленно, боком, вдруг приглохнув, он принялся подвигаться к пристани. За кормою, над волнами, с криком носились чайки. Из-за тяжелых кустов боярышника, прямо за пристанью, поднялся ястреб, взмыл к небу и, описав дугу, камнем пал к Жегулям.

Черноголовый с Остапенко остались на палубе. Зина поспешно пробиралась мостками среди рослых белобрысых грузчиков. Бабы с корзинами у ног наперебой окликали ее, предлагали калачи, кур и яйца. Кудрявцева торопилась. Через минуту она уже стояла наверху, в лугах, оглядываясь по сторонам. Ее высокая и все еще девически гибкая фигура резко выделялась на чистом небе. В порывистых движениях Зины, в лице, жарком и настороженном, в глазах, вдруг распахнувшихся и потемневших, было что-то тревожное.

Стадо юных гусенят белело в лугах, девочка в красном, босая и простоволосая, помахивала жердинкой. От изб бежала к берегу собака, лохматая, как кавказская папаха. Заметив незнакомого человека, остановилась и залаяла. Молодая женщина подошла к ней, протянула руку, и вот животное, как бы почуяв друга, покорно склонилось к ее ногам.

— Смотри, укусит!..—покричала от своего гусиного стада девочка в красном.

— Нет, этот пес знает меня!..—откликнулась Зина, пьяно улыбаясь.

Девочка подошла ближе.

— Так ты бывала у нас?—спросила она.

— Никогда!—охотно сообщила Зина, и голос ее задрожал.—Нет, я никогда не бывала здесь, девочка...

Высокий плечистый старик проходил мимо, волоча за собою связку лык. Он посмотрел в сторону молодой женщины. Его глаза были сини, в рыжих ресницах; лицо темно от ветров и солнца; на голове колыхалась копна седых волос.

Смолкнув, Зина следила за ним. Губы ее безвольно распались; изумленно вскинутые брови застыли. Собака сорвалась с места и, взвизгнув, бросилась за стариком.

— Это кто?—спросила Зина у девочки.

Но та молча, торопко оглядываясь, уходила прочь.

Кудрявцева подняла голову. Сердце ее гулко колотилось, в глазах плескалась тугая животная тоска. Она поспешила на пароход.

Михаил Иваныч и Остапенко сидели в рубке, перед ними стоял чайный прибор. Линочки не было, она опять увязалась с рабфаковкой вниз, к машинам.

— Ну, что, хорошо там?—улыбкою встретил Зину Черноголовый и несколько необычно, пытливо, заглянул ей в лицо.

— Да, чрезвычайно!—произнесла она спокойно.—Я бы ничего не имела—провести здесь лето... Ну, что, Остапенко, давно ли ты из родных мест?—продолжала она, усаживаясь рядом.—Не слыхал ли чего о старых приятелях?..

— Представь, Зина, этот Уткин — помнишь?—умер...—сказал Черноголовый.

Она не удивилась и не выразила сожаления. Глаза ее лихорадочно и рассеянно, как бы прислушиваясь к чему-то своему, бегали по сторонам.

— Мы покинули его в последнем градусе...—произнесла она, чуть погодя.—А что с Сухоруковым?..

— Ого, Сухорукова не достанешь!..—воскликнул Остапенко.—Предисполкома губернии!.. Разве же не слыхали?.. А Тулякова помните? Уполномоченный внуторга, развелся с жинкой и чуть не подох от простуды этой весною...

— А ты знаешь, Зина!—перебил его, обращаясь к Кудрявцевой, Михаил Иваныч.—Товарищ Остапенко был в походе вместе с Мартыном!..

— Да?!—откликнулась она, дрогнув глазами.

— Остапенко начал было рассказывать...—продолжал Михаил Иваныч.—Баймаков погиб на его глазах!..

Зина молча, прихмурившись, взглянула на Остапенко.

— Как это случилось?—проговорила она, и углы ее рта опустились.

— Продолжай, Тарас!—попросил Черноголовый, стараясь не глядеть на людей.

— Да что!—начал тот, отодвигая от себя стакан и поспешно извлекая из бокового кармана папиросу.—Тошно ворошить! Мне Баймаков дюже по сердцу пришелся, хоть и был он с норовом... Норовистый парень! Бывало, как заляжем на привал, так и пойдет о своем петь... Случая того, в Липках, никак, вишь ты, забыть не мог!.. От меня он не таился, а других прочих за версту бежал... Заприметили его раз в корпусном штабе: человек, мол, обтесанный, ловкий, давай в политкомы полка!.. А он, понимаешь, как узнал, так в роде даже испугался! „Они,—говорит,—обо мне ничего не слыхали, а я, говорит, никого обманывать не хочу, и место мое—со стрелками!..“ Видал?! Долго уговаривал я его, да рази ж с таким сговоришь?..—Остапенко затянулся

табачным дымом. — Пропал он при полном параде, в цепи... Об екатеринославских боях слух имели? Жаркие были денечки!.. В нашей дивизии тогда многие сложили головушки... Куришь?.. — неожиданно обратился он к Черноголовому, протягивая ему папиросу.

— Давай, попробую, — принял Михаил Иваныч папиросу и неумело раскурил.

— Под Екатеринославом белые в такую работку нас взяли что... ой-ей-ей!..—говорил Остапенко, поглядывая то на Михаила Иваныча, то на Кудрявцеву. — И стала, понимаешь, наша дивизия отступать... Я с Баймаковым в одной роте, а рота — в самом пекле... Притиснули, понимаешь, нас к речке... А у речки, на этом берегу, люди... жители мирные... Собрались со всей своей амуницией: тележонки, лошадеики, куры, поросята... Через речку — пором на канате... Они и переправляются полегоньку, подальше от врага... А перед речкой — бугры, и на тех буграх наша рота! Лежим мы под огнем час, лежим другой... Баймаков у нас — командиром.

— Командиром? —переспросил Черноголовый, приминая папиросу.

— А что ж такого? Сотни верст с боем шел: выучка — полная!.. А тут прежнего командира пулей у нас пришило... Вот он и заступил из политруков!..

— Понимаю, — сказал Черноголовый.

— Ну, лежим мы в цепи, а дело уже перед закатом... Подполз я к Мартыну, кричу: „Давай, братишка, сигнал к отступлению, мочи нет!" А он обернулся ко мне (на лице кровинки нет!) и рукой на реку. „Нельзя,—кричит,— люди там!" Я как глянул, так все и учуял: пойди наша рота впопятную, от беженцев одно мокрое место останется... Одначе, война — война и есть! Баб с ребятишками пожалеешь, самим ног не унести... Э, думаю, товарищ командир, так-то не годится! И опять ору: „Давай сигнал!" А он как зарычит на меня: „Кто тут командир?

Пристрелю!“ Да наганом в меня по-серьезному... А мне хоть бы что! „Невозможно,—свое я,—всех бойцов уложишь!“ Ну, он и обмяк тут... „Остапенко,—говорит,—да ты погляди туда: старики, бабы, ребята... Всех перешерстят!..“ И так это он на меня поглядел... Вижу: сам не свой парень, душою вовсе раскорячился... „Ну,—думаю,—дело твое,—на то ты и командир!..“

Остапенко смолк. На скулах у него жестко ходили желваки. Было видно, что и теперь, через много лет, ему тяжело вспоминать этот случай под Екатеринославом.

Кудрявцева не подымала глаз. Брови ее оставались прихмуренными.

— Как же было дальше?—попросил Михаил Иваныч, протирая очки концом скатерти.

— Да что!—махнул рукою Остапенко.—Лежали мы там до сумерек, и осталось у нас от каждого десятка—по паре живых... Тут и Баймаков сковырнулся!..

— Так и... не отступила рота?—торопливо, но запинаясь, проговорил Черноголовый и поднялся за столом.

— Рота—железная!—отозвался Остапенко.—Обстрелянная рота... Без команды—ни шагу!..

Наступило молчание. Нарушил его Михаил Иваныч.

— А эти беженцы, Остапенко... Им все же удалось переправиться на тот берег?

Остапенко крякнул.

— Переправилось-то их много,—сказал он, покосившись на Кудрявцеву.—А только спаслось мало... которые на нашем берегу задержались...

Кудрявцева откинула голову, как под ударом. Черноголовый молчал.

— Видишь ты, дело какое!—пояснил Остапенко.—На том берегу—низина и ни кусточка... Заприметила белая сволочь людей и—ну по ним жарить... перекидным!..

Михаил Иваныч горестно покачал головою. Затем, глядя поверх очков, начал шагать по рубке. Остановившись у стола, он проговорил, ни к кому не обращаясь, раздумчиво:

— Вот штука! Когда же Мартын совершил свое преступление: там ли, в Липках, спасая себя, или... потом, спасая других?..

Зина резко поднялась со своего места.

— Какой ты... жестокий, Михаил! — сказала она и, потрогав дрожащими пальцами скатерть, вышла из рубки.

Михаил Иваныч взглянул на Остапенко. В карих понимающих глазах литейщика залегла пасмурь.

Ночью, в каюте, когда Зина, укрывшись с головой простыней, лежала в постели рядом с Линочкой, Черноголовый тихонько достал из чемодана свою неразлучную тетрадь, старую, в затрепанном холщевом переплете. Подсев к электрическому рожку, он некоторое время писал. Между прочим, он записал следующее:

„Самое важное в жизни — вера в себя и в свой класс, сознание правоты своей перед ним.

„Раны, нанесенные человеку собственным его сознанием, не залечиваются годами. Но здесь — наша сила. Если бы не было стыда и гордости перед тем, что мы делаем, не было бы дисциплины духа и не было бы самих побед у нашего класса.

„Совесть наша, это — компас: стрелка его всегда указывает на то, что выгодно рабочему классу. Размагнитьте стрелку, и человек деклассируется. Совесть наша жестока и беспощадна. И чем ближе мы к цели нашей жизни, тем беспощаднее сами к себе.

„Мартын вздумал задачу совести разрешить на свой страх. Он и не подозревал, что вступать в единоборство с человеческою природою — затея пустая! И он ничего не сказал—ни своею жизнью, ни своею смертью, ибо что

такое отважность героя, если отважен только класс в целом: кто-то споткнулся, на его место встал другой“...

Тут Михаил Иваныч отложил перо и тяжело задумался. В себя привел его голос Кудрявцевой. Неожиданно она подняла от подушки голову и проговорила:

— Отчего ты не ложишься?..

Он вздрогнул и опустил на тетрадь обе ладони, как бы защищая ее от чужого глаза. Но Зина даже не взглянула на тетрадь. Она поднялась в постели, свесив ноги и прикрывая простыней голые свои плечи.

— Михаил, не сердись, я окончательно решила ехать в Сормово... И ты не держи меня!..

Она настороженно глядела на него. Он сказал, снимая дрожащею рукою очки и осторожно укладывая их поверх тетради, теперь уже не скрываемой им:

— За кого ты принимаешь меня?.. Я перестал бы доверять себе, если бы вздумал мешать твоему решению...

Она молчала.

— Линочку я возьму с собою...— произнесла она шопотом и опустила голову...— Ты станешь приезжать к нам...

— Послушай!— окликнул он ее, чуть погодя.— Мне будет очень тяжело без тебя... и ребенка!.. Моя личная жизнь небогата... Ты слышишь?..

— Слышу, Михаил... Но я не могу иначе... Мне невыносимо без настоящей работы!..

Слезы смочили ее щеку, и кожа на скулах отсвечивала под электричеством.

— Я должна, Михаил... Иначе... я перестану уважать себя... И ты будешь мне... совсем, совсем чужой!.. О чем ты думаешь сейчас?..

Черноголовый повернул к ней лицо. Оно было серо.

— О чем я думаю? Я думаю о том, Зина, что человек с бесстрастным математическим характером — ложь и глупость! И когда рисуют его таким, говоря о будущем,

тоже лгут! Человек будущего столь же здесь надуман, как и первобытный его предок, представляющийся некоторым чем-то в роде кожаного мешка, наполненного рефлексами...

— Опять сентенции? — с горечью усмехнулась она.

— Нет, это голос чрева! — сухо отозвался он. — Я прожил около полвека и все еще первобытен, как младенец... Нет, это не сентенции!..

Он встал и накинул на себя пальто.

— Ты куда? — подняла она голову.

— Я немного пройдусь, у меня болит голова.

Он вышел на палубу. Шаг его был неровен.

Пароход бесшумно шел в ночи, под звездами; упругий ветер, колебля на вышке сигнальные огни, дул поперек черной реки. С капитанского мостика слышался гремучий голос старого моряка:

— Полный ход... Полный!..

Где-то звенели цепи, и под ногами мелкою, зябкою дрожью колыхалось нутро судна.

Черноголовый поднялся по ступеням наверх.

— Капитан, вы?

Бравый, подтянутый, чуть-чуть отсыревший голос отвечал из темноты:

— Есть!

Черноголовый стал рядом.

— Который час, товарищ?

— Полночь!

— А где мы будем на рассвете? Вы знаете, капитан, кажется, я поверну обратно, на встречном... Довольно! Силы мои растут, работа не ждет...

Он сказал это так, точно его могла слышать Кудрявцева: ведь ей было бы непереносимо такое его решение.

Но было в словах Михаила Иваныча, брошенных равнодушному ко всему капитану, еще и другое. Чувство тоски и смятения захлестывало сознание Михаила Иваныча, и он,

как всегда в таких случаях, искал выхода из несносного состояния, а выход тут мог быть лишь один: надо на что-то решиться, что-то предпринять и в движении, в действии угасить, размыкать нудную, бесплодную боль.

Капитан раскуривал трубку. Черноголовый напряженно всматривался перед собою в темноту. Пароход шел полным ходом, могуче неся вперед собственную тяжесть. Он шел упрямо и ровно, разметывая по сторонам горы воды.

— Я всегда говорил... — прокричал капитан, пыхнув в лицо Черноголового горьким, как полынь, дымом. — Всегда говорил я: дайте нам вдоволь нефти, и мы разовьем бешеные рейсы... Теперь это видят все!..

— Да, капитан! Вы говорили правду.

Ветер посвистывал у груди Черноголового, и Черноголовый не пытался противиться ему, как ласке — суровой, но надежной.

— Вы говорили правду, капитан! И я могу вас порадовать: еще пять лет и — не узнать нашей Волги... Мы дадим ей не только нефти — до края, до предела! — вы увидите новые дизеля, мы переоборудуем пристани, мы снабдим вас...

Капитан слушал, заливая заревом трубки плечо и точеный подбородок Черноголового.

И в эту самую минуту Кудрявцева, вдруг затревожившись, торопливо накидывала на себя платье. Справившись с этим, она заметила развернутую тетрадь на столике, заглянула в нее и, не раздумывая, прочитала одну из строк:

„...Самое важное в жизни — вера в себя и в свой класс, сознание правоты своей перед ним“.

Холодом никогда не отступающей воли повеяло на нее от этой случайно вырванной, обнаженной фразы.

Это он — весь тут, Черноголовый, это его излюбленные мысли, это вся его безукоризненная, ежечасно стоящая начеку жизнь.

О, как хорошо знает она этого человека и как много обязана ему, обязана всем: прозрением своим, вторым своим рождением на свет. Но отчего же сжимается, отчего холодеет теперь ее сердце при одной мысли о нем, никогда не ошибающемся, никогда не падающем духом?

Зина опустилась на табурет и закрыла глаза. Она перебирала в памяти события последних лет, она искала случая, хотя бы единственного, когда Черноголовый был бы иным, и — не находила.

Вдруг как-то выпало из ее памяти все, что связано было с теми моментами жизни, когда и Черноголовый ошибался, говорил о своих ошибках, страдал при неудачах и, не стыдясь, искал у нее успокоения, забытья от этих неудач... Все позабыто было Кудрявцевой. Она сидела, подняв лицо к свету, стиснув зубы, закрыв глаза... Ах, этот холодный, расчетливый, безукоризненный Черноголовый!

Наконец она пришла в себя. Что с нею? Разве Черноголовый был другим, когда впервые вошла она в его жизнь, как женщина, как друг, как жена? Разве тогда не видела она, с кем связывает свою жизнь?..

Нет, тут что-то неладное! Какой-то дурман туманит ей голову. Она явно несправедлива к Михаилу Иванычу... Или эти пять лет, проведенные в обстановке мира и довольства, изменили ее к худшему, сделали ее нечестною, несправедливою к людям?..

Чувствуя себя виноватой, она собрала все силы, чтобы разомкнуть свое настроение. И, прежде всего, мысленно перенеслась она в прошлое, к тем дням, когда стала близкой, совсем, навсегда близкой Михаилу Иванычу... Ведь именно то, что теперь так настораживает ее против него — уравновешенная его сила, — толкнуло ее когда-то к нему. Ведь именно такой—он казался ей тогда совершеннейшим среди людей. Взять хотя бы Мартына... Мартын и Черноголовый! Мятущийся, не знающий своего будущего человек и

истинный герой, холодно управляющий каждым своим шагом... Тонущее судно и утес, спасительный берег среди бушующего жизненного моря...

Зину передернуло от этих пришедших ей в голову сравнений (Мартын и Черноголовый, тонущее судно и утес!). Совсем как в романтической сказке! Но разве все это выдумка? Разве так оно и не было?..

Тут только заметила она, что за окном уже посинело, а Михаила Иваныча все еще не было. Она встала и нетерпеливо начала шагать из угла в угол.

Он возвратился позже, много позже. Еще с порога повеяло от него свежестью, ветром, предутренней речной влагою. Лицо его отливало кумачом, белоснежная голова светилась, стекла очков льдисто поблескивали.

Стягивая с себя пальто, он заговорил приподнято, возбужденно:

— Слушай, Кудрявцева, ты еще не спишь? Какой я был дурак, какой дурачина! Помнишь тот доклад о положении с топливом? Мы бились тогда с месяц, а самого главного не видели... Суть дела ускользала от нас из-под самого носа! Ты понимаешь, в чем была тут заковыка? Они просчитались, наши великолепные спецы!..

Он сел на свою койку и потянул ее за руку к себе. Он был нездешний, неуязвимый, странно напоминая собою в эту минуту мудреца и ребенка.

— Мне сейчас все это как на ладони представилось... Беда заключалась в том, что...

Он прервал себя, смолк, заметив устремленные на него глаза Кудрявцевой. Нет, окружающее было ему не безразлично, он еще сознавал себя в нем. Он уловил в прищуренных глазах женщины нечто, что остановило поток его слов. Ему почудилось, что глядит она на него сторонне, изучающе и как-то слишком уж уверенно, как на явление, ей давно знакомое и теперь лишь

сравниваемое ею с тем, что она раз навсегда установила для себя.

— Ты что? Что ты видишь во мне?

Голос у него вдруг сорвался, и в глазах угасло, он весь как-то посунулся к ней, старый, измученный, с мешочками под глазами.

И, заметив в нем эту перемену, она отвернулась.

— Итак, ты ничего не имеешь против моего отъезда?

Он улыбнулся устало, издалека.

— А, это?.. Но, Зина, ты же решила не говорить до нашего возвращения... И... кстати: не повернуть ли нам обратно? Капитан говорит, что на рассвете мы можем высадиться на этой... как ее...

Она прервала его. Нет, он положительно несносный человек... Как! Сорвать отдых, повернуть ни с того, ни с сего обратно?.. Нет, это было бы безумием!..

Он слушал ее, сняв очки и устало помигивая ресницами.

— Значит, не годится? — покорно, но не без разочарования, произнес он.

Она в упор взглянула на него и внезапно залилась смехом.

— Тише, — окликнул он ее, обернувшись к спящей Линочке.

— Ах, Михаил! — говорила она, поглаживая его по плечу дрожащею рукою. — Большой ты ребенок!

Он притих под этою неожиданною лаской, пытаясь, однако, выразить в лице недоумение и строгость.

— В чем дело, Зина?..

— Ой, я и сама желала бы знать, в чем тут дело! — проговорила она, отворачиваясь. — Но ты... не обращай на меня внимания! — добавила она другим тоном. — Все на свете проходит... Об одном жалею я: отчего у меня нет ни того, что было у Мартына, ни того, что есть у тебя?..

— Теперь ты пытаешься быть несправедливой к себе!..

Ей стало неловко под его взглядом.

Он продолжал:

— Мне кажется, тебе, в самом деле, надо опять окунуться в работу! Поглубже окунуться и вплотную стать к тем, которые...— Он замялся.— Которые могли бы в свое время спасти Мартына! Я говорю о жизни массы... рабочей массы... Но ты еще и женщина, Зина!— неожиданно закончил он и растерянно уставился на нее.

Она вскинула голову.

— С этим-то я справлюсь!..

Он взял ее руку и легонько пожал.

— Самое важное в жизни...— начал он с чувством.

Но она прервала его:

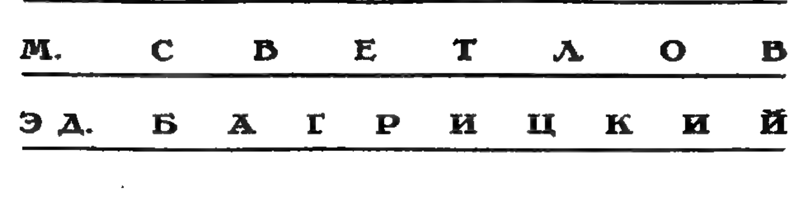
— Не надо, Михаил! Поменьше глубокомыслия...

Он встал и принялся снимать с себя тужурку. Но, сняв, впервые за совместную с Зиною жизнь не решился раздеваться дальше.

— Давай, все же, на покой!— предложил он, в нерешительности держа в руках свою тужурку.— Свет тебе нужен?..

Оба они—Кудрявцева и Черноголовый—уснули не сразу. Оба они думали о прожитой жизни и о будущем, неясном для них обоих.

И когда, наконец, забылись они, стало светать за окном, Линочка открыла глаза, приподняла голову, безмятежно улыбнулась. Через мгновение, охватив ручонкою шею матери, она снова уснула, и на смуглых ее щечках проступил румянец, разгоревшийся позже в пожарище.


С. Обрадович

М. Светлов

Эд. Багрицкий

СТИХИ

БЕЗМОЛВЕН И ПУСТ поцелуй утомленный;
Чернеют чащобой и омутом сны.
День кончен.
Как будничные знамена
Обои повисли с осклизлой стены.

Уж путался шорох ненастья и мыши...
Вдруг, телом тугим обжигая, жена
В ночь—шопотом задрожавшим:
— Слышишь?
С тобою — я не одна. —

И руку мою, огрубелую за день,
Так бережно — на живот. И рука
Тревожным узлом мозолей и ссадин
Легла, тяжела и тиха.

Забыв ненастья назойливость мышью,
Секунд оглушительную капель, —
Я слушал, как нежною песней колышет
Нежнейшую колыбель.

Когда листопадом напропалую
Гуляя, октябрь покинет поля, —
Он синим подснежником взглянет, ликуя
Из-под сугроба перин и белья.

Но задыхаясь от горечи первой,
От жажды звериной жить, —

Что встретит он за этой дверью,
Тело матери обнажив?

Наш дом неуютен;
наш мир неспокоен;
И стены и заговоры кругом.
В дороге суровой — строитель и воин —
Могу ли я быть отцом?..

И в полночь, как призрак неотвратимый,
Неумолим и глух, вдруг
Над распростертым телом любимой
Склонился хмурый хирург.

Ланцет заскользил, рассекая крики;
И вспыхнул багровым комком предо мной
Еще не оформившийся и тихий,
Быть может, бессмысленный,
но — живой.

Он с человеческим тем же страданьем,
От ужаса затрепетав, поник,
Задушен, и скомкан, и в клочья изранен
Под праздничное рожденье иных.

День бился над койкой голубем белым;
Дымясь хлороформом, металась мгла
Над вялым телом,
таким опустелым,
Над обокраденным догола...

Тогда-то из тьмы слепыми глазами —
Несметный,
обрубками рук грозя,
Он встал, нерожденный и скорбный, над нами...

. . . .

Любимая! Дорогая!.. Нельзя!..

В открытом окне, воробьями волнуясь,
Весенний рассвет будоражил ветлу.
Жена у окна хлопотала, злую
Рвал ветер, врываясь, паучью мглу.

Стихала, влача разбитые крылья,
За городом бредом ночная гроза.
И пухлые почки, сияя, раскрылись,
Как заспанные ребячьи глаза.

Ночь — хрустом костей и гарью полынной;
Но ей пробуждение — не превозмочь...
— Родная, роди мне к осени сына. —
Жена, улыбаясь: — А мне бы — дочь...

УЖЕ не мальчиком,
Уже почти мужчиной
Перехожу десятую межу.
В одиннадцатую
Нашу годовщину,
Накрыт противогазом,
Прихожу.

Мне десять лет
Знакомы поименно,
И в голове моей
Уже давно
Висят воспоминанья,
как знамена,
Простреленные
Батькою Махно...

Пусть молодость моя
Горит неутомимо —
В ней десять лет
Глядят из-под золы,
В ней с ароматом
Пороха и дыма
Смешался запах
Стружек и смолы...

Вдоль старых стен
По кладбищам печальным,
Над мертвым

успокоенным полком,
Я прохожу
Чуть-чуть сентиментальный,
Задумчивым
иду
большевиком.

Завязаны шнурки
Моих ботинок,
И в прачечной
Лежит мое белье,
И отдано оружие мое
Милиции,
Поставленной на рынок, —

Но в десять лет
Команда не забыта,
Но вычищено
Старое седло,
Но чувствую,
что время подползло
Почти неслышным
Шорохом иприта...

Вдоль новых крыш
Пройдут года украдкой,
Сквозь гущу лет
Придет знакомый год...
Сойди, поэт!
Здесь будет пересадка!
Оставь трамвай!
Тебя тачанка ждет!..

Мы десять лет
Надеемся и терпим,

Пока под взрывы
Пушечных зарниц
Проскачет эскадрон
Нетерпеливым темпом
Через барьер
Разрушенных границ...

В АЛЛЕЯХ столбов,
По дорогам перронов,
Лягушечья прозелень
Дачных вагонов;
Уже окунувшийся
В масло по локоть,
Рычаг начинает
Акать и окать...
И дым оседает
На вохре откоса,
И рельсы бросаются
Под колеса.
Приклеены к стеклам
Влюбленные пары, —
Звенит палисандр
Дачной гитары:
— Ах! Вам не хотится ль
Под ручку пройтиться? —
„Мой милый. Конечно.
Хотится! Хотится!“
А там над травой,
Над речными узлами
Весна развернула
Зеленое знамя, —
И вот из коряг,
Из камней, из расселин
Пошла в наступленье
Свирепая зелень...

На голом прутье,
Над водой невеселой,
Гортань продувают
Ветвей новоселы...
Первым дроздом
Закликают леса,
Первою щукой
Стреляют плеса,
И звезды
Над первобытной тишью
Распороты первой
Летучей мышью...
Мне любы традиции
Жадной игры:
Гнездовья, берлоги...
Метанье икры...
Но я человек,
Я не зверь и не птица,
Мне тоже хотится
Под ручку пройтиться,
С площадки нырнуть,
Раздирая пальто,
В набитое звездами
Решето.
Чтоб волком трубя
У бараньего трупа,
Далекую течку
Ноздрями ощупать;
Иль в черной бочаге,
Где корни вокруг,
Обрызгать молоками
Щучью икру;
Гоняться за рыбой,
Кружиться над птицей —
Сигать кожаном

И бродить за волчицей;
Нырять, подползать
И бросаться в угон,
Чтоб на сто процентов
Исполнить закон;
Чтоб видеть воочью:
Во славу природы
Раскиданы звери,
Распахнуты воды,
И поезд, крутящийся
В мокрой траве,
Чудовищный вьюн
С фонарем в голове...
И поезд от похоти
Воет и злится:
— Хотится! Хотится!
Хотится! Хотится!

АННА КАРАВАЕВА

ЖАЛО

РАССКАЗ

КОКШАЕВ ШИРОКО шагнул напоследок — и тропинка кончилась. Лес был пройден, и надо бы глубоко и облегченно передохнуть. Но Кокшаев остановился, ошеломленный и бледный — было совершенно ясно, что лес он пересек не в ту сторону. Он должен был выйти на просторную поляну, где сбоку возле болотца с тонконогими березками пролегает тропка. По этой бы тропке — прямой и легкий путь к трактовой деревеньке. Там бы явка у верного для ссыльных чалдона, а потом бы лихая езда до пристани на Оби — и свобода... эх!

Но тут не было ни поляны, ни болотца, ни надежной тропки. Среди безлесной равнины в еле приподнятых берегах текла бледно-серая, сонная река. Книзу, у самой воды, еще темнела глина — недавно спало половодье, и река шла тихая, будто насыщенная недавними бурями. Она текла без извивов, не выплескиваясь, охраняемая сухими метелками вереска.

Он, Виктор Кокшаев, потерял дорогу, грудь его раздирает отчаяние; он, человек, верховодитель над всеми, задыхается от кипучего биения сердца, а здесь, над рекой, оскорбительная, враждебная тишина и покой.

Кокшаев вытер рукавом рубахи крупный, холодный пот на лбу и потряс кулаком.

— Ах ты... сволочь!.. мерзость ты этакая...

Он грозил тишине и немоте, бессильный против нее и одинокий. Поглядел на свои расхлюпанные, пыльные

сапоги — они показались большемордыми, в них была ехидная усталость. Представил сейчас свое лицо, потное, с жидкой бороденкой, спекшееся на солнце, и возненавидел себя яростно и злобно.

— У-у... безмозглая башка... растяпа... леса не смог верно пройти... Все наставления дорожные растряс, словно малый мальчишка... Понесло куда-то, к чорту на рога!..

Вспомнил, как квартирохозяин, опытный таежник, учил его пробираться через тайгу к тракту. Тогда стариковы наставления показались даже надоедливыми, и Кокшаев, сдерживая нетерпение, останавливал душевного старика: „Ладно, ладно, дедушка, понимаю... за три года ссылки я к тайге уже привык“.

Кокшаев сел на зеленую кочку и зашептал:

— Вот тебе и привык... б-болван!.. Что же теперь делать-то? Что?

Место было незнакомо, безлюдно. Кокшаев с болью наморщил лоб — от напряженной ходьбы с раннего утра тело томила жестокая усталость, и мысль будто пробиралась сквозь какие-то темные преграды.

— Куда ж это меня занесло?.. Балакаевка будет, пожалуй, в той стороне... к югу... Значит...

Глянул на лениво угасающее, какое-то ржавое солнце и угадал! Заплутавшись, он отошел к северу, назад, убил зря драгоценный день! Столько времени готовился к побегу — и вот сразу же проруха, нелепое распыление сил.

— Если утром в Балакаевку придет урядник, тогда старику его не надуть... Снарядит погоню. А я за их спинами шлепаю... вот и попаду в полицейские зубы... А-ах... ну и дурак... ну...

Кокшаев вдруг почувствовал мгновенную, липкую слабость; в этом было что-то от зверя, который завертелся в кругу облавы.

Захотелось пить. Кокшаев поднялся, перемахнул дорожный мешок на спину и шатучим, подламывающимся

шагом начал спускаться к реке. На загибе тропинки вздрогнул и схватился за куст — внизу, у самой воды стоял человек!.. Значит, он, Кокшаев, здесь не один — у реки человек!

По низко склоненной спине неизвестного, по упорно и быстро мелькающим его рукам Кокшаев угадал, что человек этот так же одинок, как и он, среди этих скудных вечереющих берегов.

— Э-эй! — негромко, но полной грудью позвал Кокшаев, махая рукой. Уже видно было, что человек высок ростом, тоже в сапогах, из-под широких полей соломенной шляпы густо темнеет загар лица и шеи.

— Э-эй! — беспричинно радуясь, метался Кокшаев, прыгая по кочкам, забыв про устаток.

— А-а! Откуда идете? — не двигаясь и будто насторожась, спокойно и бесприветно спросил человек. Голос его, четкий и суховатый, был почти до страшного знаком. У Кокшаева почему-то сдавило грудь.

— Я... — невнятно начал он, широко прыгая. И вдруг отбросился назад, точно перед ним загорелась земля.

— Ты?! Мальгин... Ты?!

Стало сухо во рту, язык застрял у передних зубов, будто охваченный параличом. Ноги неловко врылись в песок.

— Ты...

Год назад руки его, Виктора Кокшаева, в такой же июньский вечер сжимали, впивались в смуглую, крепкую шею Павла Мальгина. Под таким же июньским закатом руки его, Виктора Кокшаева, жаждали смертельной дрожи Павла Мальгина. Но Павел вырвался, их розняли. Жизни их разошлись. И вот опять встреча.

Теперь Кокшаев слышал свой хриплый, задышливый шопот.

— Значит... ты... ты... вот как...

Оттягивал потными пальцами ворот рубахи и тупо вглядывался в эти ненавистные, до боли знакомые черты.

— Что ж ты на меня... уставился, как на выходца с того света?

В четком басовитом голосе только легкая сдавленность — Мальгин щурился, и его крупный извилистый рот улыбался скупо и зло.

— Бежишь? Наверно, к Томску?

— Да... бегу... к Томску...

Кокшаев сел, тяжко уронив мешок. Опять подступила легкая усталость, все кругом стало бессмысленно и противно.

— Когда вышел? — допрашивал Мальгин, отмахиваясь шляпищей от мошкары. — Когда, говорю, вышел? Я не из простого любопытства, а для ориентации в расстоянии. Примерно, в котором часу вышел?

— В четвертом утра, — вяло бросил Кокшаев.

Мальгин прошелся в два шага и, щурясь куда-то мимо чужого лица, деловито высчитывал:

— Если взять весь этот путь приблизительно за семьдесят — семьдесят пять верст... и если мы имеем сейчас восьмой час вечера, то... следовательно, путешественник Кокшаев шел максимум по... по пять верст в час. Эт-то маловато. Темп ходьбы беглого политического должен быть усилен... да-а...

Он вел себя так, будто все забыл, будто никогда не отдергивал от своей шеи ледяных от ненависти рук Кокшаева. Если бы голос его дрожал и глаза туманились, Кокшаеву было бы легче. Но Мальгин глядел просто и озабоченно, будто наперекор горькой злобе воспоминаний. Кокшаев вдруг ужаснулся за себя, возненавидел свое потное, неловко распластавшееся иа песке тело. Тут же болезненно-остро уяснил, что это из-за Мальгина.

Показалось, что Мальгин все делает сейчас с расчетом унизить его, Виктора Кокшаева. Ненависть вдруг прорвало, как вслед за пробкой перебродившее вино.

— Ты... какого чорта издеваешься, подлец? Рассуждения развел, ир-ро-нию!..

Кокшаев, закобенясь и дергая бороденкой, передразнил Мальгина:

— Пу-те-шест-венник... Ма-к-симум... Не можешь случая пропустить, чтобы не хвастать... Я, мол, выше тебя, жалкий человечишка!.. Н-но... м-мы зна-е-ем таких героев... вида-али!..

Кокшаев вдруг закашлялся, выкатывая глаза. Подумал бешено, что вид его глуп до крайности.

Мальгин прервал его, выговаривая четко и торопливо:

— Не понимаю, с чего ворошить старое?.. Было и прошло!.. Значит, отрезано и кончено. В данный момент я к подобным выпадам не расположен, повода не подавал, кажется. Ты просто устал, озлобился неудачей и обалдел малость.

Убил у себя на щеке комара и глянул безулыбными холодеющими глазами.

— Имей в виду: таких тирад я выслушивать более не намерен. Наше положение таково: или мы сейчас же расходимся, или заключаем союз. Случаю было угодно, чтобы мы из разных мест вздумали бежать в одно время... и оба заплутались. Тайга в этом месте предательская, лукавый лесище. Двоим ее одолеть легче, чем одному.

Неожиданно сел рядом, касаясь Кокшаева локтем.

— У тебя оружие есть?

Кокшаев ответил, покоряясь чему-то:

— Оружие есть. Наган.

— Сколько зарядов?

— На полсотни хватит.

Мальгин хлопнул себя по мешку у пояса.

— Дело. У меня тут зарядов хоть и маловато — десятка полтора, зато винтовка охотничья... Есть еще топорик, молоток, гвозди, даже пила складная.

— А это зачем?

— Бывалые люди посоветовали — все может в таежных местах случиться. Да вот уже и сгодилось. Видишь, плот делаю? На утре можно будет плыть на нем вниз, к югу. Иди-ка взгляни, каково сооружение!

Под кустами, неприметный на первый взгляд, тихонько покачивался на воде плотик из мелкого прибрежного сосняка. На свеже-ободранных рогульках набросано крупное корье — шалашик, как надо.

Мальгин хозяйственно хвастался:

— Есть запасные шесты, даже худомалое правило наладил. Работал с утра... Я ведь на день раньше тебя вышел... Вижу, проплутал... не назад же в тайгу, лучше спуститься водой. Ну, как тебе плот нравится?

— Ничего, — кашлянул Кокшаев, — плот ладный.

Было что-то покоряющее в этой бревенчатой площадке, плавающей под кустом. Это малое творенье одиноких человеческих рук таило в себе возможность толкать жизнь вперед. На этих скользких бревнышках можно уйти от этой тишины, от ржавого, немого неба.

Кокшаев загляделся на речную дымчатую даль — там, за тысячами верст, гудели родные заводы; там распрямлялся человеческий хребет, готовясь встать в настоящий свой рост. Но что значат нагромождения верст перед жадной, упрямой волей? Они будут побеждены, ибо только человеку было угодно и только он, человек, смог сосчитать их, представить их угрожающую величину. И он же одолевает ее — человек!

— Одолеет! — беззвучно, одними губами шепнул Кокшаев — необъяснимая радость будто обогрела каждый уголок мозга.

— Ты ведь куришь?

Мальгин протягивал ему готовую кручонку махры. Насмешливой улыбкой изогнул свои полнокровные резкие губы.

— Табак-с... индивидуального производства... будешь доволен... Гляжу я — ты что-то заскучал, вот я и предложил покурить... Я, знаешь ли, союзник требовательный, а нам впереди еще... шага-ать до чорта!.. Потому — требование момента: грудь вперед, мозг ясный, ноги ходкие... Стой! Ты не тем концом берешь, чудак. На, прикуривай. Ну, каков табачок?

— Н-ничего, сносный...

Кокшаев говорил сквозь зубы, чем-то неясно оскорбленный Мальгиным. Согретость и свет в мыслях исчезли, будто выгорели в один миг в пахуче-горьком дымке мальгинской махры. Даже в годы их тесной дружбы Мальгин досадно смущал этой привычкой: в минуты особо одухотворенной грусти или восторга Мальгин умел врезаться, как нос лодки в мягкий песок — быстро, расчетливо и беспощадно. Его небрежный вопрос, предложение были мелки, пустяковы, но будто создавали какой-то комический контраст. „Одухотворенное“ и „прекрасное“ он с небрежиой ловкостью, словно раскрашенную статуэтку, снимал и ставил на землю. Потом насмешливо разъяснял о „причиниости и целосообразности в человеке“ и о „лишнем психическом хламе“. Сейчас, даже во вражде, он не постеснялся применить старый прием — это, по его, всегда было необходимо, и потому он считал себя правым.

Кокшаев с тихой злобой бросил недокуренную кручонку и сжал губы. Мальгин с непроницаемым спокойствием делился размышлениями.

— Допустим, что нас уже хватились. Та-ак. Снарядят погоню. Но никому, конечно, в голову не придет итти назад... к действительному нашему пребыванию. Нас им сейчас не открыть, ибо нет худа без добра — мы шли по безлюдным местам, никто нас не видал. Конечно, маршрут мы теперь изменим. Мы должны итти не к Томску, а выйти дальше: я запасся на случай другой явкой. Это в селе Волькове, двадцать верст за Томском. Ссыльных,

я знаю, там нет — значит, урядники не такие глазастые. Та-ак... Дальше, я считаю, нам будет благоразумнее разойтись кто куда... итти порознь...

— Конечно, — нервно фыркнул Кокшаев.

Выход из неудачи был найден, но тут он, Кокшаев — покорный исполнитель. Как всегда, Мальгин без усилий легко вставал на первое место — руководить, вести, указывать. Жизнь сейчас ухмылялась особенно ехидно, и было отчего: Павел Мальгин, кого он, Кокшаев, чуть не задушил в припадке горьчайшей ярости, теперь дает ему пользоваться трудами рук своих и ведет за собой по вольным дорогам.

На миг где-то сбоку от главных путей сознания пробежала мысль: „А как бы ты поступил на его месте?“ Но другая, темная и увесистая, оттолкнула маленькую, как приживалку: „Э, да что ему стоит?.. Насобачился!.. Да и разве есть у него какие-либо чувства?“

Кокшаеву вдруг жадно, как с голоду хлеба, захотелось сбить Мальгина.

— Ты говоришь... запасная явка в Волькове? А направленьице-то... знаешь?

Мальгин пожал плечами, сказал лениво и сухо:

— Надо бы быть, по меньшей мере, дурнем, чтобы не запастись направлением. Оно есть.

— Где же это?

Мальгин показал себе на лоб.

— Тут. Карту видал у своего хозяина-охотника. Любопытное произведение примитивной географии: карта на холсте, реки и горы нарисованы цветной охрой и маслом. Я, знаешь, когда очутился здесь, вспомнил даже и эту речонку. Ее зовут Недосыпка. Говорят, волки тут бывают по ночам — редкий охотник доспит спокойно до утра. А насчет направления к Волькову, то это будет так...

Мальгин взял прут, уровнял подошвой песок и начал вычерчивать зыбкие и манящие линии прохожих троп,

трактовых дорог, рыхлил песок, изображая глухие, темные куски тайги. Память у него была замечательная, запоминал он быстро, метко, запасливо прихватывая по пути, как он говорил, „подходящие ассоциации".

Действительно, направление ему было ясно, придраться было не к чему. И тут Мальгин, опять же без усилий, не торопясь, был во много крат сильнее Кокшаева.

— Итак-с... волчье времячко близится, — смешливо поохал Мальгин, вынимая из своего мешка байковое одеяло. — Надо условиться с ночевкой, так как двоим спать нельзя.

Тихая злоба в груди Кокшаева назойливо густела и ныла, как больной, гниющий зуб.

— Пожалуйста, не говори провокационных слов!.. Условиться, условиться... Чего там еще? Пр-иказ-зывай пр-рямо, давай директивы! У меня, чорт подери, никаких преимуществ нет. Да и перед тобой разве может кто-нибудь быть первой спицей в колесе... ха-ха-ха...

Мальгин, сидя на одеяле, несколько мгновений смотрел молча. Потом встал, выпрямил плечи и вдруг тяжело опустил руку на плечо Кокшаева.

— Ты... вот что... Я ведь предупреждал тебя! Довольно!.. Понял?

И только тут, кажется, даже сильнее, чем год назад, ощутил Кокшаев разящий холод недвижного мальгинского взгляда. Чувствовал с ужасом и презрением к себе, что плечи горбятся, а голова слабеет на шее, но выдерживать взгляда Мальгина не мог. Голос Мальгина, четкий и тихий, молотками отдавался в ушах.

— Все еще помнишь прошлогоднее? Млеешь? Ненавистничаешь? Яд в душе копишь?.. Ну, у меня иначе. Некогда сор собирать — других забот много, дела поважнее есть... И... ежели ты еще раз будешь нарываться подобным образом, я... я просто выстрелом сгоню тебя, как самую мерзкую помеху.

Глубоко вздохнул во всю грудь, размахнул руки.

— А-ах... Устал, чорт возьми! Айда спать...

Он опять понял, оценил, взвесил — конечно, Кокшаев согласен: человек ведь меньше всего враг самому себе.

Уже ровным голосом Мальгин спросил:

— Ну, кто будет первый караулить? Я могу, пожалуй, часика два посидеть...

— Нет, нет, — заторопился почему-то Кокшаев. — Я посторожу... все равно не заснуть.

— Ладно, — зевнул Мальгин и сразу лег, положив руки под голову. — А-а-ах... Через два часа разбуди меня... В мешке найдешь спички и сухую бересту, разожги костер... Ну, ладно, я сплю.

Сдвинул локтем шляпищу на лицо, неразборчиво бормотнул что-то насчет комаров — и уже дышал ровно и глубоко, как дышат во сне люди с прекрасными легкими и бесперебойным, крепким сердцем.

Луна встала уже над самой рекой, над потухающим костром, над спящим лицом Мальгина. Лунный свет белил его, загар будто исчез на ночь, чтобы напоминать ярче и больше, какое бывает лицо Мальгина зимой. Зимой лицо у Мальгина бледноватое, с ленивым румянцем. Так определила его Ольга с первой же встречи.

Ольга... Бывает же так на свете, что в одном человеке все с необычайной щедростью отвечает каждому стремлению другого, все — даже и недостатки. С такой женщиной, как Ольга, жизнь походила на малый солнечный прибой, когда море схватывает тело в любовную охапку и мягко бросает на песок вместе с волной. Так же легки были дни с Ольгой. Она умела рассыпчато-заражающе хохотать, и припухлые ее губы влажнели, а мелкие неровные зубки блестели, как под лаком. Она умела в трудные минуты молчать, мерцая серыми глазами с черными подвижными искорками. Ее сосредоточенная тихость как-то

помогала думать. Она вся была легкой и по-детски любила перемены, к людям была приглядчива и любопытна. Когда зимой перед святками Мальгин приехал в ссылку, Ольга сказала:

— Какой у него румянец... ленивый! Нет, правда, правда... вот именно такой... ленивый. Кажется, что крови-то в нем много, но это он сам не велит ей течь, как она хочет... Она бы бурлила, а он — нет; держит кровь под спудом, оттого и румянец такой.

Интерес Ольги к Мальгину вырастал, а вместе с тем росла и страшная нервность в его присутствии. Полюбила с ним спорить, насмешничать, иногда даже огрызаться. Кокшаев огрызался за старого друга и шутя уговаривал жену „не взъедаться". Он был спокоен и втайне даже совестился своего довольства: милая у него жена, да и друг его многолетний Пашка Мальгин тут же вместе. Весной и летом Кокшаев на несколько дней езживал на рыбалку, если знал, что Ольга настроена „благодушно" к Мальгину. Он не сомневался, что Павел развеселит жену. Через два года, вернувшись так же вот с реки, потный и веселый, Кокшаев не нашел дома Ольги. Она пришла поздно вечером, продрогшая от дождя, иссиня-бледная, с тряскими губами. Язык у ней заплетался, как у пьяной, глаза закрывались. Будто не замечая мужниного ужаса, рассказала, что любит Мальгина больше года, что он „всех, всех дороже и родней", что она не однажды ходила к Мальгину и умоляла его о любви. И он, не устояв раз, жил с ней по случайной страсти, налетами, но она была бы счастлива и этим, да, да... Но в последнее время он стал непреклонным, отказывался, предложил ей „одуматься", не надеяться на него, уйти. Она не в силах этого сделать. Как безумная, рвала она пальцами свою тяжелую косу: „Я жить без него не могу, слышишь, не могу!" Назавтра ее нашли в огороде между картофельными грядами. Губы у ней были в пене, как у

загнанной лошади. Чем отравилась Ольга, никто не мог добиться. Кокшаеву больше всего запомнились ее широко растрепавшиеся волосы: они разбросались мелкими торчкастыми прядками вокруг страшного, перекошенного лица и напоминали два нежноперых исклеванных крыла. Легкая, как птица, жила Ольга и к смерти пошла так же стремительно, какой была ее походка при жизни. К полдню она лежала уже на столе, и женщины убирали бледными сибирскими цветами ее когда-то задорно смеющееся лицо. Все это произошло так дико, негаданно-быстро, что Кокшаеву казалось, будто шею ему свернуло набок, а в мозгу какая-то сокрушительная сумятица. Он то бился головой, то гладил Ольгины ледяные руки, то звериным скачущим шагом бегал по задворкам ссыльных квартир, искал Мальгина. Но Мальгин как раз на три дня уехал в соседнее село на заседание бюро ссыльной колонии. Кокшаев выследил его вечером за околицей. Не вспомнить, что кричал тогда, но ненависть была невероятной силы, гудела в груди, как буря. Впился пальцами в горло Мальгина, в мускулах росла страшная жадная сила. Все мысли и чувства свернулись в змеиный комок — уничтожить, стереть с земли Павла Мальгина... Двое мужиков, ехавшие с возом, вмешались, оторвали его руки от Павловой шеи. Мальгин попросился куда-то в другое село. А Кокшаев на многие недели впал в глубокий столбняк тоски. К миру, к людям он стал равнодушен. Омертвение начало спадать к зиме.

Тогда облюбовалась тайная мечта: выследить Мальгина, завести его в глушь, в какую-нибудь землянку, держать его там связанным, как побежденного зверя. Обессилить бы его голодом, унижением, раскрыть ему до дна все свое перекипевшее, испепеленное тоской сердце. В бессонницу Виктор Кокшаев метался, сжимая кулаки и хрипло бормоча: „О-о... только бы ты мне попался в руки!..“ К лету восстановилась связь с партийным комитетом

родных мест. Комитет уже оправился от разгрома, много появилось молодежи, и в старых руководителях была большая нужда. В мертвящую глушь вдруг ворвался громкий боевой звук трубы, изменившаяся мысль взыграла, как скакун, заскучавший в стойле—и Кокшаев решил бежать.

И вот — эта встреча, разбередившая все, и вот он, Кокшаев, опять с врагом своим... сторожит его сон и их общий покой. Но рядом — мешок Мальгина, и там острый топор, крепкий нож и веревки. Не это ли грезилось в злую бессонницу.

Мальгин повернулся на бок и сонным усилием невпопад совал руку под щеку. Он был беспомощен, как ребенок, тих, как ночная река. Его большое тело распростерлось так близко, что любой удар будет решающим и без промаха.

Кокшаев стиснул холодные руки на коленях и смотрел неотрывно на эти безусые твердые губы. Мальгин, видно, недавно брился — подбородок его был гладок... Ха... Не даром же Ольга в последнее время досадовала на мужнину бороду.

— Ты... Железный... Тебя-то не тронуло... Аккуратно бреешься? Гимнастикой занимаешься попрежнему?.. А ведь ты обобрал меня... ты!.. Ольга... Оленька... бедные, обожженные губки твои... Разве не ты подтолкнул к ним смертное ужасное питье?.. О-о... дьявол!.. Что для тебя значило истоптать жизнь-цветок... да, да... Ольга моя была цветок, полный медового сока... Ольга моя была птица с нежными перьями... А ты скручивал их, ломал, как веник. Ты дружбу мою сбросил со счетов, как худую костяшку. Ты из меня чуть развалину не сделал... И... за это не посчитаться? А?..

Рука дотронулась до мешка, нашарила прохладную скользкость топора... Вот его острие, слегка иззубренное, цепкое острие, которое не сразу вытащишь. А-а... какая от него будет извилистая, широкая рана на затылке!..

Пальцы защемило судорогой — выдернул руку. Карман оттягивало наганом. Вынул. Положил на колени. Замирая и беззвучно похохатывая, гладил черное дуло, совал в него мизинец, озоровал пальцами вокруг барабанчика с семью длинными пульками, подкидывал на ладони малое чудище истребления.

— Ха... Вот тем острым начать... а этим огненным кончить... ха... бах... бах... Вот будет дело!

Дунуло внезапным порывом на костер, вскрутило огонь, пахнуло на руки горячей золой.

— Ах ты... чортово место! — и Кокшаев, сунув наган в штаны, длинными прутьями начал загребать разметанный костер.

Ночь бледнела. Какая-то птица шелохнулась в кустах. Невдалеке мимоходом будто ревнул кто-то, может быть, волк. И опять непобежденная человеком угрожающая тишина встала над рекой.

— А-а-ак...—так смачно зевнул Мальгин, что даже длинное эхо раздалось где-то на другом берегу. — Чорт подери, однако... я здорово дрых. Уже плыть можно. Переходи-ка на плот. А-а-ах... Сейчас отвяжу. Залезай под шалаш.

С минуту Кокшаев слышал, как крадучись заплескалась вода под бревнами — и дальше все пропало в мягкой блаженной тьме.

Проснулся — плыли глинистыми кочковатыми берегами Мальгин сидел у правила голый до пояса. Его грудь и плечи блестели, лоснились под коричневым загаром.

— Выспался? — спросил он, не вынимая курева изо рта. — Мой физию, да где-нибудь на бережку чаю попьем.

В годы юности, рыская по праздникам за городом, Пашка Мальгин говорил ему таким же голосом: „Мой физию, да шамать будем".

Ночные бреды об истреблении рассеивались в плавном движении плота, в жулькающем беге струи возле

бревенчатых краев. Над серебристой живой рекой ходил такой свежий и напористый ветер, что Кокшаеву захотелось громко и молодо кричать.

— Хо! Хо!

— О-о-о! — отдало эхо за далекими лесами.

— Плывем, — крепко утираясь после умывания, говорил Кокшаев, стоя на коленях над водой. Видел свое отражение: белокурое, обновленно улыбающееся лицо. В душе опять громко, по-боевому, запела труба, и утро мгновенно, как в чуде, закрылось вечерними облаками, в забвении очутилось солнце. И вот привиделся городской вечер: огнеглазые заводские корпуса, голубыми пожарами кудесят во мгле мартеновские печи. И у людей там прокаленные сердца отзываются искрами. С гудами и свистами машины могуче спорят грохоты тысячных людских шагов... „Забасто-о-ов-ка-а!..“

— Эй, не зевай!.. Причал хороший!

Мальгин, стоя у правила, одной рукой бросал Кокшаеву веревку. Повелительно показывал иа какой-то пень на берегу.

— Прича-ли-ва-ай!

Опять был день, плот, река и ненавистный голос. Кокшаев подавил стон, забросил веревку. Молча возился с костром, помогая готовить чай и еду. Мальгин, будто ничего не замечая, оживленно суетился, ел с аппетитом, шутил, даже напевал что-то.

Кокшаев ел вяло, больше для виду, и наблюдал исподлобья — нет ничего противнее вражеского довольства и благодушия. Тихая, ноющая злоба росла и надувалась, как гнойный нарыв. От голубых видений и звонкого пенья трубы сознание сразу будто упало куда-то в мрачные низины, как седок на досчатой качели: бух — и не видать неба, и больно телу от тяжкого толчка. С Мальгиным вновь свела его привередница-жизнь, лукаво сливая их воли в одну — и вот неизвестно теперь, до каких пор

будет продолжаться эта дикая качка, и выдержит ли он ее?

А Мальгин, полуголый, коричневый, подвижной, считал версты, жадно оглядывая дали.

— Завтра к утру будем у Беличьего Кургана — есть такая приметная гора, а за ней тайга-а... Там плот ко всем чертям, и айда в тайгу.

Назавтра в полдень пахучей прохладой и голосистым перепархиваньем птичьим встречала путников тайга.

— По моим расчетам,—сказал Мальгин,—мы пройдем с неделю. Поэтому надо итти ходче, приналечь на скорость.

Шли, продираясь через кустовые и хвойные заросли. По очереди работали топором, просекая тропу. Передавали друг другу по очереди топор, черенок которого непрерывно сохранял теплоту их ладоней. Один прорубал, а другой шел сзади, сторожил, слушал, выглядывал эту предательскую зеленую глушь.

У Кокшаева стерло сапогом ногу.

— Больно... до крови разодрало пятку... остановимся...

— Пустяки, — бросил на ходу Мальгин, — напихай в сапоги листьев.

У тропы приветно зеленела полуосыпавшаяся землянка — чье-то покинутое охотничье становье звало отдохнуть.

Кокшаев даже протянул руки к землянке.

— Эх... остановимся тут, ноги разомнем.

— Ерунда! — опять бросил Мальгин, вскидывая за плечо винтовку.

— Слушай... ты...—зазвеневшим от обиды голосом крикнул Кокшаев. — Я не могу... это безобразие... так тянуть человека...

Мальгин приостановился.

— Снимай сапог, — сказал он тоном спокойного приказа. — Снимай... Ну! ну!

— Ой... подожди... не торопи... кожу еще сорвешь... это безоб...

— Н-ничего-о... кожа новая вырастет... Рви вот эти листья. Еще!.. Еще-е! Ну? Так. Обертывай пятку, держись за мое плечо. Теперь надевай сапог. Да обеими руками надо. Вот чудак, право! Надел?.. Ну, айда дальше! Рано еще привал делать.

Кокшаев пошел прихрамывая. Казалось, широкая мальгинская спина заслоняет собой и без того скупое небо, солнце, зелень, тропу впереди и весь мир, всю жизнь. Ненавистна была каждая складка его потертого пиджака, его круглый, ершистый затылок...

И опять ужасным озорством зачесались пальцы, и согревшееся в кармане дуло нагана ожигало кожу. Губы сохли у Кокшаева, как перед пламенем пожара. Сердце сжималось в змеиный комок, разгоняло кровь грубыми толчками, кровь мутнела, застаивалась в жилах спекшимися сгустками. Но зато в мыслях вдруг наступило мертвое молчание, черная пустота — дикая качка сбросила сознание с летающей доски.

Кокшаев надрывался перегорающим шопотом:

— Качает чорт качели мохнатою рукой. Чье это?.. А, Сологуба... Качает чорт качели...

Кровь рвалась, распирала жилы, а дух молчал, уходил в неведомую тьму.

— Доска скрипит и гнется... это оттуда... Держусь, томлюсь, качаюсь... Какое мерзкое стихотворение... какое мерзкое...

И вдруг физически ощутимо сдавило грудь страхом перед пустотой и молчанием духа. Надо, надо было вырваться из этой пустыни — и Кокшаев выдернул руку из кармана.

— Возьми-ка теперь ты, я что-то приустал уж вырубать... экая чортова дорожка! — и Мальгин подал ему топор, а сам пошел сзади.

— Давай, — сказал Кокшаев. Он рубил по колючим сплетеньям вереска, можжевельника и дикой малины. Пот со лба и щек крупными каплями падал за ворот рубахи, и Кокшаев не знал, откуда этот пот — от рубки, или это освобождение сознания после ужаснейшей качки.

— Знаешь что? — остановился Мальгин, глядя на небо. — Придется нам вернуться к той землянке — небо темнеет к дождю... вернее, даже к ливню. Вернемся-ка и переждем.

У Кокшаева складывалась было язвительная отповедь: „А-а, вышло по-моему, и это ведь по существу издевательство — заставлять шагать назад“. Но освобождение от черной пустоты ощущалось так блаженно и глубоко, что Кокшаев не сказал ни слова и зашагал назад.

— Итак, мы с тобой на неопределенное время превращаемся в „робинзонов“...

Мальгин ворошил дрова в каменной печурке — кто-то оставил большой их запас, во всю стену плотную поленницу.

— Ну, да это не беда в общем ходе событий. Тут нас никто не словит, во всяком случае. Отдохнем, и то не худо.

Дождь бушевал, расплескиваясь по тайге шумливыми ручьями. Мальгин захлопнул деревянную створку окна. Дождь стал сразу глуше. От огня в печурке шел веселый трескоток, будто щелкали там неуемные березовые кастаньеты.

— Представим себе, — насмешливо сказал Мальгин, потирая руки, — что мы находимся перед пр-рекрасной решеткой камина, разгребаем угли длинными щипцами и пьем... что мы пьем, чорт подери?

— Токайское, — невольно подпадая под его зазывающую смешливость, сказал Кокшаев.

— Пусть так. В стаканах иг-грает вино, мы щуримся на золотые игривые его искры... и решаем м-мировые

проблемы... А так как времени сейчас всего восемь часов вечера, то до ночи мы успеем их решить не одну... ха... ха...

Он умел незаметно даже самого хмурого человека втянуть в разговор, разогреть смехом. Читал Мальгин всегда много и быстро, любил и умел рассказывать. И Кокшаев перестал молчать. Была какая-то особо сочная, как наливное яблоко, радость в том, что среди лесной бури слышишь свой голос, посылаешь свои мысли навстречу другим, слышишь ответный человеческий голос. А кругом мрак, гром, ливень.

Мальгин слегка заикался, и в краткой фразе это не замечалось. Но, увлекаясь длинным разговором, Мальгин не мог сдержать своего заикания. Но, странно, оно не портило его нервной и яркой речи и в обычную четкость произношения вносило какую-то упрямую подчеркнутость.

— Человек, — говорил Кокшаев, дергая бороденку, — человек извечно стремится к добру, он жаждет этого добра даже продираясь сквозь горы костей и реки крови. Века, века люди ищут верных границ этому добру и любви...

— Ч-чепуха, — досадливо отмахнулся Мальгин. — Человек вовсе не стремится к подобной установке бытия. Извечно он ж-жаждет одного — изменять мир, развернуть свои силы, вм-мешать их в мир, как изюм в тесто. О-о, как он жаден и необъятен — человек! С-столько прошло тысячелетий, а человечество, может быть, только в одной миллионной доле выявило себя... И до чего он огромен — человек. Какая в-величайшая амплитуда колебаний и градаций духа. От подзаборного пьяницы, убийцы и вора до чистейших высот творчества и организации. Общая установка т-такова, что опыт человечества, накапливаясь веками, ускоряет этот темп изменения мира. Революционные взрывы — показатель этого темпа.

— Ты о классах, о социальном неравенстве установку давай, — горячился Кокшаев.

— Да-да... Изменение мира происходит н-на принципе выбора, в приложении насилия. Освобождение пролетариата — вот почти целый век, как эта в-вернейшая цель поставлена перед человечеством. Им-менно эта огромнейшая часть мира всего больше страдает от к-колебаний этой амплитуды духа и культуры. И вот почему л-лучшая, п-прекраснейшая любовь может быть нап-правлена только в эту сторону.

Он раздумчиво подбросил дров в печурку. Кокшаеву показалось, что Мальгин не договорил, намеренно заканчивает разговор какой-то преградой. И Кокшаев будто ударился в эту преграду, и от толчка мысли сбились, как овцы с горы, к одному незаживающему месту. Ольга!.. Нельзя говорить о любви, не сказав и об Ольге. Она лежит в сосновом некрашеном гробу, и дожди размывают над ней глинистый холмик... А он, муж, углубился в философские споры с человеком, чья жизнь смертельно скрестилась с жизнью Ольги.

Кокшаев передернулся в ознобе раскаяния, жалости, ненависти и сдавленно хохотнул:

— Ха-ха... Ты как-то проповедывал, что революция — самая сильнейшая и требовательнейшая страсть. Далее ты утверждал, что в отношении индивидуальной психики истинный революционер действует по принципу неравных весов.

— Да. И выбор ч-чашек неп-преклонно определенен. Полновеснейшая чаша в сторону борьбы, работы, хотя бы ты и не дождался победы. Легчайшая чаша — да будешь ты сам. Захочешь перетягивать собой весы — пропадешь. Обвешенная чашка п-пошлет з-за себя отплату: психика, все тяжелея, начнет... как бы это сказать!.. начнет урастать... да, урастать в землю, сохнуть до карликовой обывательщины.

Кокшаев захохотал, сотрясая дергающимся телом худоногие нары.

— А-а-а... Мы эти рассуждения зна-а-ем! Они у вас красиво получаются, милсдарь, прямо каллиграфическая пропись... ха... ха... Но под шумок в мутной воде такие умники ни-ко-г-да не откажутся половить рыбку!

Мальгин молчал, о чем-то думая. Кокшаеву все нестерпимее хотелось вызвать на эти смуглые щеки багровый пятнистый румянец стыда, хотелось увидеть тусклый бегающий взгляд.

— Ты, например, чрезвыча-ай-но нетерпимо выражался... о любви. Твой собственный термин: возбудитель какофонии в психике.

— Ладно, — терпеливо кивнул Мальгин, вполглаза наблюдая его нервическое, злобно играющее лицо.

— Продолжаю-с, мы тоже не без языка-с... Затем ты трактовал ее по Анатолю Франсу. Как это? Ах да! „Любовь похожа на болезнь печени: не знаешь, когда заболеешь“... Ха!.. Ты брал только, но... не болел... за тебя болели другие.

— Стой! — спокойно прервал его Мальгин. — Говори прямо: тебе все охота мучиться об Ольге?

Встал перед рыже-золотым жерлом печурки, большой, крепкокостный, шумно вздохнул. Медленно двигался его крупный, резкий подбородок.

— Если бы не сиденье под этой земляной крышей, я бы, конечно, не стал тратить времени на эти лишние разъясиения...

— О... о... для тебя это только... разъяснения! Что тебе значит, например, наступить на человека?

— Погоди, — хрипло кашлянул Мальгин.

И в первый раз Кокшаев увидел, как низко опустилась его голова, а в голосе была придушенная дрожь.

— Ты... г-глубоко ошибаешься... Я... Ольгу... я .. едва ли меньше твоего ее любил. Ты... что смотришь?.. Я ее л-люб-бил... ну... Я ведь здоровый человек... и... право же, мне трудно было не л-любоваться на Ольгу... Я было

решил даже не показываться у вас... Но вышло еще хуже... Ольга пришла ко мне сама... и я...

Бритые, твердые губы дрогнули тихонько, нежно, будто покоряясь чьему-то зову.

— И ты?.. ты... — дергался на нарах Кокшаев.

Мальгин закрыл глаза.

— Я взял ее благодарно, радостно... Она, действительно, умела вносить в жизнь т-такое тепло...

Кокшаев вдруг высоко вскрикнул и вцепился пальцами в свои потные, нечесанные волосы — Ольга вставала перед глазами. Звенела бесплотным смехом, протягивала свои маленькие, ласковые ладони... и все не ему, а Мальгину, Мальгину!

Кокшаев бился затылком о стену.

— Да... она была такая... жить с ней... чувствовать ее близко...

Лицо его искривилось, на кончике носа висела капля слезы. Он всхлипнул и затрясся.

— Ты... дьявол... Холодный подлец! — перекрикивал Кокшаев бушующий ливень за оконной створкой. — Ты... обманщик, вор...

Лицо Мальгина было во тьме, желтое пятно света из печурки освещало только его волосатую голую грудь — он дышал высоко и часто.

— Оп-пять же нев-верно. Я сразу же хот-тел сказать тебе, что произошло... считал необходимым обсудить в-вместе создавшееся положение, но Ольга умоляла меня молчать.

— Сколько раз... она... была у тебя?

— Восемь раз... Мне все труднее становилось отказывать ей...

Мальгин закрыл глаза, от переносья напряглась жила. Он низко склонил голову, глядя в огонь.

— Я понял, что... запутываюсь... Ольга... это была такая женщина, которая покоряла... да... Она могла одним своим

волосом зат-тянуть руки с-сильнее веревки... Д-да... Ольга... Она н-не выносила дележки с борьбой, с раб-бо-той... Она т-требовала н-настойчиво... и... и... уд-дивительно прекрасно отдаться ей ц-целиком...

Голос Мальгина вдруг сорвался, затеплел грустной нежностью; в басоватом этом голосе оказались неслыханные ноты, бархатные, мягчайшие.

— Она, понимаешь, даже п-предлагала б-бежать с ней... Какие у ней были т-тогда глаза!.. Вот тут-то я... призвал на помощь весь свой арс-сенал выдержки и т-твердости... и сказал ей, что в этом узле б-больше путаться не буду... что в-все это надо п-прекратить... Я уехал раньше времени на заседание бюро... по п-правде говоря, от самого себя бежишь всего сильнее...

Кокшаева трясла бешеная лихорадка ревнивой зависти. Надрываясь кричал:

— Ха!.. Как она тебя любила, а? А ты... распутывал узел... ты убил ее... А-а... пусть бы вы с ней обманывали меня... год... два... о, чорт! Но пусть бы...

Кокшаев вдруг повис на плечах Мальгина, крепко впиваясь пальцами.

— Пусть бы только она была жива... жива...

— Стой! — Мальгин оторвал руки Кокшаева от своих плеч и взял его тряские пальцы в свои, теплые от огня.— Слушай же... Нельзя было иначе... Я с самого начала говорил, что я боюсь семьи, что не нужно ничего строить на мне... Она же была слишком праздничной, неприспособленной... она и не умела держаться против ветра... Я, возможно, односторонний, негибкий человек... я не пытался найти равнод-действующую, г-где всего было бы понемножку... Иначе бы меня недостало на основное... Жизнь для меня не хаос, а научно-предопределенное движение, порой т-точное, как схема. Я разложил все ее тропы, я выбрал с-свою... Я об-бязан, в силу этого, воспитать в себе н-нужное равновесие, отмерять необходимое движение

крови. Эт-то бывает трудновато, но я — средний человек, и по-другому нельзя, сил больших у меня нет...

— А-а... — хрипло, в полуслезах хохотал Кокшаев. — Лавочник ты... Все рассчитал на граммы... Любовь... вдохновение... все обездушил...

— Да!.. И вдохновение для меня не причина, чтобы лезть в огонь и тащить других.

— Ты кричал когда-то... не машись, это было перед пятым годом!.. Да!.. Ты кричал: „Верьте вдохновению революции, верьте мощному гневу пролетар-р-риата!..“ И предлагал начать восстание со Щукинского рудника... явное безумие... Я первый восстал тогда... ибо в тебе много какого-то н-народнического романтизма...

— М-молчи! — Кокшаев топал по земляному полу, взвизгивал, взбрасывал вверх кулаки.

— Молчи и ты! — выставлял крутую, раздувающуюся от вздохов грудь Мальгин.

— Молчи! — Кокшаев шатался от злобы. — Я потом загладил свою ошибку работой, ссылкой, наконец... А тебе нужно... нужно лишний раз унизить меня... У-у... как я тебя ненавижу-у!..

— Ха!.. ха!.. ха!.. Слышь, как я тебе отвечаю, ничтожный человечишка? — Мальгин, почти упираясь головой в потолок, басил гремуче, будто посылая свой хохот навстречу ночному ливню.

— Ага, святоша-а, — торжествующе взвыл Кокшаев и даже тяжко подпрыгнул на месте. В его оскаленных зубах было что-то от пещерного человека, пляшущего с дубиной над врагом. — А-а... святоша-а!.. Проповедник, мо-ра-ли-ст! И тебя забрало... Хо!.. хо!..

— До чего ты... мерзок! — И Мальгин плюнул.

Кокшаев, будто спасаясь, на миг вскочил на нары, потом бросился к самому их краю. Напружил спину звериной яростью, вынес вперед кулаки...

— А... вот как!.. Нена-ви-жу-у... Будь у меня один заряд только... и тот бы я вс-сад-дил в тебя... Ну... подходи!.. Подходи!..

Мальгин отшатнулся от этого дремучего голоса.

— Ты... одурел вовсе! — и Мальгин неожиданной цепкой хваткой соединил у кистей напрягшиеся кулаки Кокшаева, давя на вздутые его жилы. — Надо... ж... чорт возьми... меру знать! Хочешь прошлогоднее повторить? Да?

— Пусти! — хрипел Кокшаев, выдергивая одну руку, чтобы выхватить из-за пояса наган. Нары шатались под ногами, двое людей хрипели, хрустели костями, повторяя чей-то праисторический пример.

— Пусти! — брызгая слюной, извивался Кокшаев, но Мальгин перебарывал и меж вздохами тяжко бросал слова:

— Не вы... пущу... подождешь... Я не боюсь твоих озверелых рук. Охота ненавистью ужалить... до смерти... Хор-рош-шо ж-жалит пчела, но жало оставит в ране, и умрет сама... Попробуй... если удастся... отправить на тот свет... А потом попробуй... с эт-тими руками коснуться рево... лю... ционной работы... Ты увидишь себя гниющим т-трупом...

Мальгин откинулся от Кокшаева и почти упал на широкий обрубок у дверей. А Кокшаев жался спиной к стене, вдруг невыносимо ослабнув, весь в липком поту. Тело скользило вниз, сыпалась на лицо и плечи земля, будто его толкали в могилу.

Печурка погасла, только в глубине слабо тлел рыжий глазок.

Мальгин сказал уже охладевающим голосом, через силу, будто что-то собирая вокруг:

— Мы идем... по одному зову...

Кокшаев свалился возле нар, ударился плечом об доски и вяло простонал. Мальгин протяжно и сдавленно дышал в другом углу.

В печурке слабо треснуло — в землянку пришла черная бессильная тишь после крушения. Тишина густела, пригнетала, давила грудь душной лапой. Даже ливень будто перестал слышаться — так истомила эта ночь.

Оба не видели друг друга, лежали неподвижно, разбитые страшной усталостью. За эту тесную, ненавистническую ночь слишком перекипела кровь, слишком многое было сосчитано и разрублено...

В щелях деревянных створок что-то засерело. Мальгин с усилием приподнял голову и сказал сухими губами:

— Светает...

— А-а... — бессмысленно бормотал Кокшаев, и оба опять замолкли, опустошенные, обессиленные.

Внутри разбивалась в брызги, глохла буря, и мокрый ветер над земляной крышей казался убаюкивающим свистом...

Проснулись оба поздно. Оба долго, не считая минут, лежали молча, не двигаясь и ничего не желая. Потом вяло напились кипятку, пахнущего болотом. Безвкусно грызли сахар и сухари, еле двигая челюстями. И опять сон сковал тело.

Кокшаев проснулся первый. Дождя уже не было. Створки оконца открыты, и на косяк упал золотистый налет.

— Солнце... солнце...

Кокшаев вскочил и на носках прошел мимо Мальгина. Тот спал, прижавшись щекой к согнутому локтю; вокруг закрытых век облегла темножелтая тень. Эти тонкие веки быстро и как-то жалко дергались — видно, мучили беспокойные сны.

„Подвело тебя здорово“, — подумал Кокшаев, осторожно пробираясь мимо спящего — злобы почему-то не было. Хотелось скорее быть под солнцем, как, бывало, в ребячьи годы.

Кокшаев вышел на порог и громко ахнул, задохнувшись медовой прохладой. Вверху, неизмеримо высоко,

в хвоях и курчаве листвы плыла, вилась молочно-голубая, напоенная сиянием, небесная тропа. В пятнах тончайшей позолоты блестели травы. На хвоях, на длинных отекших ветках берез дрожали, светились капли дождя — алмазами отряхалась переволновавшаяся тайга.

— Вот благодать! — раздувая ноздри ухмыльнулся радостно Кокшаев. Рванул большой пучок мокрой пахучей травы и с наслаждением вытер ею лицо, волосы, шею. Рванул еще и еще, тянул носом и крякал.

— Ах ты... чорт! Вот хорошо-то!

Впереди, за мелким сосняком, ломало, корежило ветки. И вот — оглушительный треск раскатами по всему лесищу!

Кокшаев глянул и осел. В кустах ворочалась пышная медвежья морда. Миг — и четвероногий, еще малорослый юнец, переваливаясь, вышел на поляну.

— А-а... — метнулся назад Кокшаев, встретя черный, непроницаемый взгляд зверя. Медведь потянул носом, помотал мордой — четвероногому, видно, тоже надоела таежная мокреть и буря.

— Вот... подлец, — крякнул Кокшаев, вытащив наган из кармана. Медведь, будто что-то подумав, оглядел человека, негромко рявкнул и, приподняв передние лапы, готовился прыгнуть.

— Шалишь, — весело озлился Кокшаев и нажал курок. Медведь взревел. Отрывистое звонкое эхо раскатилось по тайге. Медведь, шатаясь, встал на задние лапы, под передней правой проступала густая краснота. Он широко разинул пасть с молочно-белыми клыками и взревел два раза, тоскующе, высоко, будто звал кого-то. Увидел сквозь слезы человека, отчаянно поднял нетронутую лапу и, тяжко упав на нее, прыгнул вперед на трех.

Кокшаев бахнул четыре раза под ряд — и все промах. Зверь, уже наполовину красногрудый, боком перепрыгнул через куст, беря тропу наперерез человеку. Кокшаев ахнул, хотел увернуться вбок, к землянке, но задел

ногой за гнилой пенек и упал, ударившись правым локтем. Вскочил, еле удержав равновесие. Локоть вмиг онемел от боли. Кокшаев изо всей силы нажал курок левым большим пальцем, неумело, скверно, дал осечку.

На миг остался без дум, без воли, в удушьи предсмертного вздоха; кровяные глаза зверя, пенная от слюны клыкастая пасть, кислый, отвратительный пар от его мокрого сизого языка — зверь продирался через преграду шиповного куста.

— Мальги-ин! — вспомнил Кокшаев, и перестал слышать свой голос: грохотом выстрелов покрыло все голоса тайги.

Бах!.. Бах!..

Медвежья морда откачнулась, исчезла... Стало сразу свободно, отпустило где-то у сердца.

Бах!

Позади, на пороге землянки, стоял Мальгин, опустя дымящийся ствол винтовки. Он ворочал головой и щурился, отыскивая глазами Кокшаева.

— Мальгин... Па... Павел... я тут!

Кокшаев протянул руки над поломанным кустом и кричал всей грудью, переполненной победой освобождения, которую делили они двое.

— Я тут... Я жив... жив!

Навстречу к нему шел человек-брат, человек-союзник. Каждый его шаг, каждое движение были драгоценны — в них дышала жизнь-победительница.

— Мальгин... Ты... Знаешь, этот косолапый... чуть не задрал меня... и ты... Ну, брат, это такое...

Кокшаев сжал обеими руками жесткую ладонь Мальгина. Какой-то растопляющий стыд мешал дышать.

— Если бы не твой выстрел...

— Ну, ну, — смущенно и холодно жмурился на солнце Мальгин. — Надо вот еще посмотреть, как я в этого косматого попал...

Медведь свалился возле куста, не успев разогнуть грозно сготовленную для человека лапу. Его маленькие круглые глаза застеклели, как две синевато-бурые пуговицы. Черноносую морду откинул он вверх — заряд раздробил его пышный меховой затылок, и жирная медвежья кровь лилась, уходила в податливую, размокшую землю, чтобы травы потом росли гуще и выше.

Мальгин раздвинул ножом звериные челюсти.

— Совсем молодяга еще... недавно от материна брюха оторвался, только еще взрослеть начал.

Ночью пришла мать-медведиха и разбудила людей-победителей своим ревом. На лунной поляне, над темным пятном крови, прилегла мать-медведиха, темнорыжая, большебрюхая. Наматывала пышной мордой и ревела жалобно, тягуче, как женщина по убитом сыне. И сидела-то она как-то по-бабьи: уткнула морду в лапу, покачивалась — так женщины прячут лицо и томятся своими слезами. Медведица шла по следам своего резвого, любопытного юнца, изнемогая от слепой, бессловесной тоски зверя. Теперь она нашла и в грозной боли вопрошала тайгу о четвероногом детеныше, коричневом, теплоносом. Нюхая ночной воздух, она учуяла еще один из запахов детеныша — малинной кислотцой, дикой сладостью пахла где-то близко его шкура... Медведица кратко взвыла, будто всхлипнула, и прыгнула на знакомый запах.

Мальгин с Кокшаевым смотрели в щель в створке. Походом живой своей твари шла на них тайга.

— Эх!.. Шкуру-то мы содрали да возле двери и повесили... Медведиха-то... смотри, прямо на нее идет... вон нюхает как...

— Я уберу! — заторопился Кокшаев.

Но медведица уже последним прыжком перемахнула тропку и кинулась к двери. Сосновые плахи заскрипели — медведица, рыча, рвала шкуру, царапала дверь.

— Готовь заряды! — шептал Мальгин. — Вот так гостья!..

А медведица чуяла запах своего юнца и за дверями — люди перенесли побежденную его кровь на подошвах своих сапог, на одежде. Медведица поняла, что его шкура — это холод, смерть, невозвратимое. Истоки смерти были за этой дверью. Горек был запах свежей шкуры, а люди за дверью пахли назойливо, враждебно, возбуждая неимоверную свирепость. Медведица грозно, по-боевому взвыла, вместив в своей мохнатой груди все таежные голоса... Встав на задние лапы, она навалилась на дверь. Из щели ожгло огнем, попало медведице в ухо. Она взревела, пьянея от боли и запаха собственной крови, и бешено ринулась на схватку с человеком.

Лунная безветреная ночь шла к концу, когда убили медведицу. Эта ночь не походила на вчерашнюю: две человеческих груди дышали вровень, мускулы напрягались в одном усилии — победить зверя, победить тайгу.

Наутро пошли дальше.

На седьмой день пути свалился, простудившись, Мальгин. Накануне провалился в болотце и долго шел в мокром. Уже ночью слег сразу, ослабел от жара, метался, бредил. За двое суток лицо его словно подменили: щеки втянуло внутрь, обвело чернотой глаза, рот стал меньше, тонкий, слабый, почти ребячий.

Мальгин бредил четыре дня, изнемогая под раскаленным ярмом воспоминаний. Он видел свою юность и добродушного друга, Витьку Кокшаева, заводский свой цех, бурные улицы пятого года, подполье, ссылку. Видел Ольгу, боролся с ней и побеждал самого себя.

Кокшаев слушал его путанную, распаленную речь, качаясь от бессонницы.

— Не сдамся-я!.. — грозил кому-то Мальгин, и огненные его зрачки, потеряв мир, следили за мельканьем зарева в пылающем мозгу.

— Павел!.. Очнись!.. я тут... Павел!.. — кричал ему в ухо Кокшаев. Мальгин с усилием приподнимал голову, зрачки тускнели, пересмякшие губы тянуло в жалкие морщинки — он что-то вспоминал, он хотел улыбнуться.

— А... это ты... Виктор... я рад... Не давай мне умирать... Нет?

И Кокшаев сжал его сухую жаркую руку.

— Не дам!

Голова Мальгина припадала к его плечу.

— Ты мне... малины кипяти больше... малины... и кутай меня, кутай... чтобы тепло... солнце...

Он опять забывался, и черно-сизые его веки, тонкие, как пленки, дрожали над горящими зрачками.

Кокшаев пристроил шалашик возле необъятного ствола старой сосны. Натаскал хвои, палого листа, закрыл медвежиной шкурой — вышла мягкая, пахучая постель Мальгину. Ходил вниз, где в логу сочно вызревала малнна. Кипятил ее в чайнике и поил темножелтым пахучим соком Мальгина, яростно вздыхал о спирте.

— Эх, хоть бы полбутылки иметь, вмиг поднять его можно!

Днем стрелял легковерную, непугливую таежную дичь, варил или коптил над костром, а потом крошил ножом твердое мясо и кормил Мальгина из рук, как маленького.

Среди этих непоседливых забот росла в Кокшаеве какая-то еще незнакомая гордость. Павел Мальгин, сильнейший подпольщик тысячеверстного заводского района, будет, будет жив, если он, Кокшаев, будет поить его малиной, стирать и сушить его потные рубахи и кормить с ладони мясом дикой птицы. Еще много раз прислушивался Кокшаев к другому чувству — к тоске своей об Ольге. Как талый снежок, неприметно, хоть будто и на глазах, уходила она в парную вешнюю землю. И почему-то не жаль было этой замирающей тоски. Даже напротив: как из-под стаявшего снега показывается зеленая яркая

трава, так и в сознании, он чувствовал, освободились какие-то новые, свежие пласты.

Четыре ночи Кокшаев жег перед шалашом большие, праздничные костры. Выбирал головешку подлиннее, высоко махал ею — и весь в искрах, в дыму выхаживал одиноким человечьим дозором, грозным голосом орал песни — пугал зверье. Уже на свету засыпал сидя, держась за ствол мальгинской винтовки, будто это боевой поход — драгоценна, неповторима жизнь человека-брата, товарища, идущего с тобой по одному зову.

На пятый день к вечеру Мальгин щедро обливался облегченным, освежающим потом, смеялся задышливо, высоко, опять словно осчастливленный ребенок. Кокшаев же, дымный, грязный, с заострившимся носом и впалыми глазами, улыбался и сушил у костра мальгинские рубахи.

— Сто-ро-жишь меня? — и Мальгин смеялся, водя большими глазами по золотой меже неба.

Кокшаев взглянул на него и вдруг заслаб ногами, вокруг сердца шумно обтаивало, и над закатными зеленями чудно закурилась розовая заря.

— Павел... Павел... как это я мог думать... что тебя... уб...

— Да ладно-о... Иди ты сюда-а! Сядь рядом... ну!.. В г-глубине души я и не думал, что... ты можешь меня... убить... да-а... знаешь, какое чувство с-самое драгоценное в человеке? Оно, по-м-моему, выше доброты, чуткости, любви к женщине... Эт-то чувство я наз-зываю так: закон сохранения объективной энергии... и объективной истины... Это все для нас — в революции... да? В этом законе т-требуется м-максимум соблюдения правил... Тогда человек находит в себе необычайные залежи сил и возможностей, ибо он преодолевает свою индивидуальную малость... П-понял?.. Что бы н-ни было, а только ты... не смог выйти из этого круга... нет!.. И я... я... чертовски рад...

Он потянулся к Кокшаеву и обнял обеими руками его дымную голову.

На двенадцатый день этого дремучего, жесточайшего пути они вышли к огородам заимки. Внизу, под горой, возле тракта, жарче спелой малины алело краснотой крыш дородное село Вольково. А по обе стороны горел золотой утренней пылью солнечный тракт.

— Дошли-и!.. Ура-а!.. Дошли-и-и!..

Из домов заимки шел дым, и пахло свежим заревом.

— Отдохнем тут денька два и к пароходу будем пробираться, — блаженно вздохнул Мальгин.

А Кокшаев вдруг вспомнил, что в нагане остался еще один заряд. Может быть... как раз этот заряд попал бы в Мальгина... тогда... ночью... в тайге...

И вдруг эта последняя пуля показалась чем-то позорящим. Кокшаев поднял наган и выстрелил в воздух.

— Ты что? — удивился Мальгин.

— Ничего... просто порченый патрон, — и Кокшаев раскатисто, освобожденно расхохотался, заглядевшись на птичьи хороводы в розовом небе.

1927 г.



БОРИС ПАСТЕРНАК

Н. АСЕЕВ

СТИХИ

С УТРА ЖАРА. Но отведи
Кусты, и грузный полдень разом
Всей массой хряснет позади,
Обламываясь под алмазом.

Он рухнет в ребрах и лучах,
В разгранке зайчиков дрожащих,
Как наземь с потного плеча
Опущенный стекольный ящик.

Укрывшись ночью навесной,
Здесь белизна сурьмится углем.
Непревзойденной новизной
Весна здесь сказочна, как Углич.

Жары нещадная резня
Сюда не сунется с опушки.
И вот ты входишь в березняк.
Вы всматриваетесь друг в дружку.

Но ты уже предупрежден.
Вас кто-то наблюдает снизу:
Сырой овраг сухим дождем
Росистых ландышей унизан.

Он отделился и привстал,
Кистями капелек повисши,

На палец, на два от листа,
На полтора — от корневища.

Шурша неслышно, как парча,
Льнут лайкою его початки.
Весь сумрак рощи сообща
Их разбирает на перчатки.

Н. Н. Вильяму

К НОГАМ прилипает наждак,
Долбеж понемногу стихает,
Над стежками капли дождя,
Как птицы, в ветвях отдыхают.

Чернеют сережки берез,
Лозняк отливает изнанкой.
Ненастье, дымясь, как обоз,
Задерживается по знаку,

И месит шоссейный кисель,
Готовое снова по взмаху
Рвануться, осев до осей,
Свинцовою всей колымагой.

Недолго приходится ждать.
Движенье нахмуренной выси, —
И дождь, затяжной, как нужда,
Вывешивает свой бисер.

Как к месту тогда по таким
Подушкам колей непроезжих
Цветные, как лес, пятаки
Пропитанных мглой сыроежек!

И заступ скрежещет в песке,
И не попадает зуб на зуб,

И знаться не хочет ни с кем
Железнодорожная насыпь.

Уж сорок без малого лет
Она у меня на примете,
И тянется рельсовый след
В тоске по стекле и цементе.

Во вторник молебен и акт.
Но только ль о том их тревога?
Не ради того и не так
По шпалам проводят дорогу.

Зачем же водой и огнем
С откоса хлеща переезды,
Упорное, ночью и днем
Несется на север железо?

Там город, и где перечесть
Московского съезда соблазны,
Домов освещенную шерсть,
Романтику мглы непролазной!

Раздавшись на обе зари,
Не ломом числа племенного, —
Он былью одной изнутри,
Как плошкою, иллюминован.

Он каменным чудом облег
Рожденья стучащий подарок;
В него, как в картонный кремлек,
Случайности вставлен огарок.

Он с гор разбросал фонари,
Чтоб капать и теплить и плавить
Историю, как стеарин
Какой-то свечи без заглавья.

Травою зеленой одет,
Лукавя
прищуренным глазом,
Охотничьим длинным рассказом
прошел и умолкнул
мой дед.

Он бросил и дом, и жену,
И службу
в казенной палате
И слушал в полях тишину,
которой
за подвиги платят.

Сверкала его Лебеда
На двести шагов без отказа,
и зверю
из черного Лаза
двуногая мнилась беда.

Медведицы жертвенный рев,
на лапах качавшейся задних,
когда
выступал медвежатник
из мрака
зеленых дерев.

И зимнею ночью он шел
с волками

на честную встречу,
и ахало эхо картечи
по заимкам заспанных сел.

Какой там помещичий быт!
Он жил
между сивых и серых
в оврагах,
лесах
и пещерах,
умолкших времен следопыт.

И я,
его выросший внук,
когда мне приходится худо,
лишь злую подушку примну —
все вижу в нем
Робина Гуда;

Веселые волны хлебов,
ведущие
с ветром беседу,
и первая в мире любовь
к герою,
к охотнику,
к деду!

Бабка розовою была,
бабка
иволгою плыла
из далекого,
из веселого,
из зажиточного села.

Бабка ласковою была,
бабка
радугою цвела,

пирогами
да рукодельями
знаменита
и весела.

Свеж и чист
у старухи рот,
Синь и быстр
у проворной глаз,
станет
сказывать —
дрожь берет —
словно
вышивкой
шьет атлас:

— В дальних странах,
в чужом краю,
люди ищут
судьбу свою,
— Я ж
кладу ее при тебе
под подушкою
в колыбель.

— Будет жалиться —
не держи,
не нуди ее
жить силком,
расцветает пускай
во ржи
синеватеньким васильком!

Бабка розовою была,
бабка иволгою плыла,
над грядами

да огородами
бабка радугою цвела.

Был у иволги
серый день,
села радуга
в тучу-тень:
дед
охотницкими шагами
перешагивал за плетень.

ФЕДОР ГЛАДКОВ

РАССКАЗЫ

ГОЛОВОНОГИЙ ЧЕЛОВЕК

Вы ДУМАЕТЕ, я от работы устал? Чорта два! Работа, ежели живешь ею, ежели она пропитывает душу и ежели чувствуешь, что в делах твоих ты размножаешься стаями голубей, — такая работа делает тебя владыкой жизни. От работы, если ты вжился в нее и она стала твоим дыханием — нельзя устать. А кажется, у нас настали времена, когда труд становится источником нашей жизни, и мы вольны стать творцами своих деяний. Ибо нет ничего в жизни превыше сознания, что ты — уже не раб своего труда, а созидатель — не во имя торжества твоего маленького тщеславия, а во имя будущего, — во имя бессмертия. Что для нас теперь труд? Я говорю с восторгом и волнением: вот этот наш труд, — труд на одной шестой части мира — это легенда, которая пленяла людей многие тысячи лет. Теперь этот труд — весь человек во всей сложности его даров и дерзаний. И никогда еще идеалы не были так достижимы и осязательно-близки, как в эти вот наши с вами дни!..

Да, конечно, устал. Но отчего устал? От людей устал. Это — заблуждение, что можно устать от работы. От работы не устают: устают только от людей. А ведь люди очень причудливая, мало изученная и жестокая штука. Люди — не дело: они очень неуловимы и жутки. Энергии в них много, но как эту энергию разумно направить, использовать и превратить в неисчерпаемый аккумулятор чудесных движений — это уже выше наших дерзаний. Это — проблема лишних людей, говорите? Чепуха! Сор

нашей жизни — социальные мертвецы, прошлогодние листья истории — это не лишние люди. Это — мнимая величина. Лишние люди — это не те люди, которых я именую неуместными. Это люди — несвоевременные: „слишком ранние предтечи слишком медленной весны". Вспомните, например, гражданина Рудина. А вот люди неуместные, это — люди, которые быстро приспособляются ко всяким условиям жизни и чувствуют себя превосходно во всяких различных стихиях: и в воде не тонут, и в огне не горят. Неудачное определение — неуместные? Вернее назвать их хамелеонами? Возражаю категорически. Хамелеон меняет только свой цвет, в зависимости от среды, по закону мимикрии. Сущность его не изменяется. Здесь — совсем наоборот: человек меняется органически, он рождается сызнова, много раз, в зависимости от социальных сдвигов.

Есть у нас такие гражданчики, которых хочется назвать штопорами. Лично я, по своему положению ответработника, встречал их немало. Это — люди, которые ввинчиваются в жизнь до самого корня, и будьте вы хитрее чорта — не удастся вам вышибить их из вашего бытия. Хоть кричите „папу, маму" — никакой динамит не поможет. Вы издохнете, надорветесь от честной вашей ярости, попадете в сумасшедший дом, в тюрьму — а они смотрят на вас невинными глазами, бодро и жизнерадостно, улыбаются так нахально и снисходительно, и еще вас пожалеют да похлопают по плечу! В революцию я их мало встречал: они жили в подполье, а может быть, их и стреляли порядком. А вот сейчас они размножились, как грызуны в хлебном амбаре. Да-с. Так вот одного такого штопора и грызуна я и хотел коснуться...

Теперь я — в хлопковом комитете, а раньше был директором одной текстильной фабрики. Рабочий район. Большой пролетарский центр. Наша фабрика считалась до революции одной из самых оборудованных. Техника —

последнее заграничное слово. Больницы, школы, ясли, детские сады, прекрасные общежития. Было даже техническое училище. Рабочие работали на фабрике целыми семьями из поколения в поколение. В гражданскую войну шли скопом, тоже целыми семьями. Крепкие ребята, хорошие коммунары. Словом, чистота и жар пролетарской крови — самой высшей пробы. Я — тоже тамошний потомственный пролетарий и там же прошел полный курс средней технической школы.

Как и все, мы тоже пережили тяжелую полосу кризиса. Хлопка нет, машины поизносились,— голодное время. Маета с сокращениями рабочей силы. Скандалы, конфликты, рабочие обалдели от страха перед безработицей. Надрывались от усилий, чтобы успокоить каждого, заразить его бодростью. Ребята — свои, знаешь их с детства, вместе еще бегали без порток. Приходит этакий Петруша или Ванятка — вместе с ним на фронтах бок о бок геройствовали,— смотрит на тебя осатанелыми глазами и панически улыбается:

— Что же это, Гриша?.. Свой ведь ты брат-то... директор... Неужели нельзя эту бузу предотвратить? Околеют ведь ребятишки-то!..

Будто обо всех хлопочет, а видишь — о себе говорит: струсил, и сумятица в душе. Ну и говоришь с ним, как сам с собой:

— Ты, Петруша, паники не разводи. Сам должен знать положение страны. Как-нибудь перемелемся...

Взаимное дружеское доверие было и высокое сознание.

Так вот в это времечко входит однажды ко мне в кабинет неизвестный мне маленький шустрый человечек. Портфель, сложенный по-адвокатски. Шевелюра. Выбрит плохо. Обмотки, рваные башмаки из юфти. Грязная рубаха, жирная от пота. Штанина на коленке разевает рот, и голая грязная коленка — будто

оскаленные зубы. Смотрит этак упруго и шею по-гусиному вытягивает.

— Это вы — директор фабрики, дорогой товарищ?

— Да, дорогой товарищ, это — я. Что вам угодно?

Уверенным шагом, без всякой робости, подходит к столу, небрежно протягивает руку и оглядывает комнату. И что особенно запомнилось в нем: это — руки. Когда он жал мои пальцы, рука его, мягкая, потная, гуттаперчевая, прилипала, всасывалась в мое тело, и мне как-то трудно было отодрать ее от его ладони. Было противно и тягостно. Вынимает коробку папирос, закуривает, вертит в пальцах горящую спичку, играет ею и потом бросает в сторону.

— Дорогой товарищ, пепельница — перед вами, спичек не следует бросать на пол. Чем могу служить?

На мои слова — ноль внимания. Морщит один глаз от дыма, крутит шевелюрой и этак — чвык через зубы.

— Прошу, товарищ, на пол не плевать.

И опять — ноль внимания! Оглядывается вокруг и этак ехидно скалит гнилые зубы:

— А у вас в кабинете буржуазная обстановочка...

Садится в кресло — не на стул, а в кресло! — уютно кладет ногу на ногу и опять — чвык через плечо.

— Да, у вас — мягко. Располагает к безмятежности и обрастаиию...

Бесцеремонно шарит и глазами, и руками по столу. И опять эти руки: беспокойные, непоседливые, извивающиеся, ползающие. Вцепился в какую-то бумажку, которая лежала около него развернутым квадратиком, и тянет к носу. Смотрю на него и чувствую, что теряю стержень — проваливаюсь со своей выдержкой и самообладанием. Так и хочется схватить его за шиворот и выбросить за дверь. Даже в руках и ногах лихорадка. Протягиваю руку, чтобы изъять бумажку из его рук, а он чуть-чуть уклоняется. Рванул это я бумажку-то, а он целомудренно, с младенческим удивлением, смотрит на меня

и — ни тени конфузливости!.. Точно ожидал, что это так и должно быть. И что особенно меня поразило, это — огромная в нем сила уверенности. Он дышал этой уверенностью, весь был вылит из нее, как из металла. Держал себя самодовольно, панибратски, даже немножко свысока и презрительно, точно я перед ним был этакая замызганная пешка.

— Вот что, товарищ, — говорю, — кто вы такой — я не знаю. Если у вас есть серьезное дело — говорите. И вообще, мне некогда, и прошу оставить меня...

А он хоть бы бровью дрогнул.

— Зачем же уходить, дорогой товарищ? Нелепо же гнать человека, не узнавши, чего он хочет!

— Да что вам угодно?

Ехидно скалит зубы и смотрит мимо меня.

— Мало ли что мне нужно. Сейчас, например, я пришел к вам на работу...

— То-есть, как это пришли на работу?

— Очень просто: пришел на работу.

— Но у нас нет для вас работы.

— А для кого же у вас есть работа?

— У нас сейчас большие сокращения, и никакой работы не может быть...

— Как это так — не может быть?

— Так и не может быть. Вы же понимаете русский язык?

— У меня Пушкин — настольная книга, а Плеханова и Ленина я читаю каждый день по ночам, лежа в постели.

— Это вы к чему?

— Да вот насчет русского языка. Да и фамилия моя самая кузнечная — Ковалев.

— Ну, так вот, товарищ Ковалев. Шагайте домой — работы у нас для вас подходящей нет. Сокращения...

Встает с кресла и, как старинный друг-приятель, тихонечко, важным шагом, с ленивым шарканьем, точно этот кабинет им уже облюбован, подходит ко мне сбоку, смеется интимно и шлепает меня по спине — понимаете, по спине шлепает так покровительственно и любовно!..

— А вы почему знаете, директор, какая работа для меня подходит и какая не подходит?

Я отваливаюсь на спинку стула и смотрю на него с волчьей опаской. Мне бы нужно его выгнать вон и предупредить, чтоб его на порог не пускали, а я, как дурак, смотрю в его глаза, — а в глазах этакий выпуклый чортик, — и любопытство разбирает: что это, думаю, за фрукт такой зацепился за душу? А главное, это — его органическая увереиность и кристальное спокойствие обезоруживают. Понемножку начинаю приходить в себя, и уж мысль о том, чтобы выгнать его, кажется мне дикой, глупой, ничем не оправданной. Дай, думаю, погляжу на иего, что это за птица в полете, а выгнать его я еще всегда успею. Гляжу на него и не знаю, чего в нем больше: нахальства или ума?

— У нас — текстиль, товарищ Ковалев...

— Ну, текстиль. Это я и без вас знаю...

Усмехается и пристально смотрит мне в глаза: прямо за дурака считает! Оседлать, мол, тебя и сесть тебе на шею для меня иичего не стоит...

— Что же вы понимаете в текстиле?

— Ничего. Я и пришел к вам за тем, чтобы понимать...

— Раз вы не нюхали текстиля, вам и нечего здесь делать.

— А вы нюхали этот директорский стул, когда стояли у станка?

— Положим, не нюхал.

— Положим, и я не нюхал.

— Так что же из этого следует?

— Да почему бы и мне не понюхать вашего текстиля?

— Что же вы можете выполнять?

— Все.

— Например?

— Пример — это дело. Вот вам заявление, пишите резолюцию, — и пример налицо. А вот тут — другой пример.

Ловко хватает свой портфель, щелкает застежками и извлекает пачку бумажек.

— Вот вам письмо такого-то... и такого-то...

И все выворачивает наши большие имена: тут и ВЦСПС, и Совнарком, и даже Коминтерн. И туда влез, и там, вероятно, держал себя так же независимо, спокойненько и чудовищно-уверенно. Видно было, что фаталистически настроен человек: необычайная, гигантская вера в себя и свое предназначение.

— Нет, — говорю, — товарищ Ковалев. Уберите ваше заявление и засуньте подальше эти бумажки. Никаких рекомендаций не приемлю.

— Что же, это можно. Не приемлете — не буду спорить. Я умею твердо стоять на своих ногах: дороги меня не пугают, а заказанных мест для меня не существует.

Вы понимаете, прямо захлестывает, чорт его подери!

— Какая же ваша основная специальность?

Он засунул руки в карманы брюк, и почему-то широко зашагал около моего стола, и шаги свои с грохотом отбивал подошвами. И небрежно, этак углом рта, через папироску дымит:

— В нашей советской стране всякий способный человек, не моргая глазами, обязан выполнять всякие специальности.

— Как? Даже если предложить вам быть химиком, архитектором или экспертом по хлопководству, вы и глазом не моргнете?

— Моргают глазами золотушные люди. О них здорово говорит Ницше...

— А Красную армию нюхали?

— Теперь люди в двадцать лет знают все запахи жизни. Красная армия — не по мне. Там маршируют слишком прямолинейно, а я не люблю прямых линий...

— Ну, а я, — говорю, — не люблю очень извилистых и путанных линий. Поэтому нам с вами — не по пути. Я занят, оставьте меня в покое. И, пожалуйста, не трудитесь являться...

— Я — не тень отца Гамлета: я не являюсь, а изыскиваю пути для достижения целей...

Ушел он от меня бодро, с достоинством, как победитель. И опять я увидел в нем неудержимую эту уверенность и сознание своей непреоборимой силы. Даже спина его с широкими лопатками, даже волосатый затылок наливались этой уверенностью в себе и гордостью, что он ходит по земле не напрасно.

Прошло дня два. Я забыл о нем в суматохе и хлопотах. Дни были утомительные, нервные: рабочие были в тревоге и страхе. То и дело нужно было уговаривать, успокаивать, урезонивать. Бабы ревут. Воздух спертый от мата. Общее обалдение, испуг, растерянность, злоба. В РКК — скандалы, недоразумения, буча. Фабрика скрипит, как немазанное колесо. Рабочие смотрят на тебя угарными глазами, и с болью чувствуешь, что между тобою и ими рвется какая-то родная нить. Точно на угольках поджариваешься, и в каждом из былых друзей видишь замкнутого раненого врага...

Вот в один из таких дней вхожу в фабком. В коридоре народу — как тараканов в щели. Мнут друг друга, орут, мурзятся, а иные сидят и угрюмо ждут чего-то. Прохожу через комнату культкомиссии, вижу: сидит за столом, рядом с предкульткомом — парнем, хоть и глубокомысленным, но не охочим насчет изобретательности, — сидит этот

самый штопор и что-то красноречиво доказывает ему. Пальцы играют бумажками и ноготками выклевывают строчки. Предкультком совсем опешил — глядит на него рыбьими глазами и только глотает слюну.

— Вы и сюда заползли, товарищ Ковалев? Что вы здесь поделываете?

Мило улыбается, как старому другу, и весело, с младенческим восторгом, протягивает руку. Не успел я решиться, дать или не дать ему руки, как он панибратски, почти небрежно, всосался в мою кисть. Потом уверенно отваливается на спинку стула, развязно бросает ногу на ногу и закуривает папиросу:

— Мы, товарищ директор, вот с предкультkомом решаем сложные задачи культработы. Я внес некоторые серьезные коррективы и открыл ему несколько Америк. Он находит, что я не лишен энергии и талантов. Я с ним вполне согласен...

Предкультком ошарашенно улыбается и в возбуждении, на какое он только способен, шлепает ладонью по бумагам и вкусно жует слова:

— Должен сознаться... очень много ценного... надо использовать, подработать и провести в жизнь...

— Выходит — клюнуло, товарищ Ковалев?

— Выходит — клюнуло, товарищ директор.

— Нахрапистый же вы парень!..

— Человек измеряется его целями. Какие цели — таковы и их достижения. Четкие цели воплощаются в упрямстве...

Неглуп! А неглупыми людьми всегда хочется любоваться.

Предфабком был парень осторожный, очень чуткий к настроению рабочих. Вместе с ними рос и знает каждого, чем он дышит. Друг моей молодости, вместе с ним дышали и революцией, и порохом, вместе с ним и фабрику отогревали, выхаживали и ставили на ноги. Душевный

парень: последнюю рубашку отдаст и за товарища жизнью пожертвует. А как представитель профорганизации — иногда здорово брал меня за горло. С лица — угрюм, быковат, нелюдим, и новому человеку он показался бы бессердечным, грубым и, пожалуй, самодуром. Потом большую роль в смысле внушения оторопи играли у него усы: они длинными рыжими волосами закрывали у него губы почти до конца подбородка. Что-то в них было паучье и свирепое. Души же он был нежнейшей.

— Ты, брат, гляди, Андрюша, не споткнись. Во время сокращения брать новых людей как будто нехорошо.

— Какой чорт — новые, когда нам старых девать некуда! В чем дело?

— Вот этот грызун уже царапал меня. Я его послал к чорту. А теперь он у тебя вертит делами в культкомиссии.

— А, ты о товарище Ковалеве?

И в глазах играют огоньки, а усы шевелятся, как паучьи лапки.

— Ты, брат, кажется, ничего не понимаешь в людях. Парень — очень ценный, и в культработе — настоящий виртуоз. Он нам чудеса наделает.

— Ну, брат, он, кажется, и в тебя влез до отказа. Смотри, как бы чего не вышло: сокращения,—будет трепка, когда пронюхают рабочие...

— А я его держу в качестве гостя — на расстоянии. Я, брат, прощупаю его на все сто процентов. Дурак я, что ли?..

Через некоторое время вваливается ко мне с полдюжины сокращенных рабочих—молодых парней. Потные, с одними белками вместо глаз, задыхаются, захлебываются, машут руками:

— Что же это такое, товарищ Мухин? Нас выкидывают за борт, как навоз, а каких-то наездников и блошиных налетчиков по высокому разряду в передние ряды!

Мы этого переносить не намерены! Мы не позволим плевать себе в затылок...

— В чем дело, ребята? Никаких наездников нет, и никто не плюет вам в затылок. Чепуху вы плетете...

И будто я их ударил плетью: все гамузом, с остервенелыми лицами, напирают на стол. Орут наперебой.

— Мы не позволим издеваться!.. На кой вас чорт здесь посадили? Довольно было и старых хозяевов... Новые хозяева норовят похлеще оседлать рабочего человека...

Прокричались немножко по-рабочему — и я, и они.

— Ты пойми, товарищ Мухин. Нас выгоняют, как паршивых собак, а фабком за наш счет принимает какую-то крысу...

Кое-как успокоил. Ушли. Влетает секретарь партколлектива, бойкая такая, зубастая — Анюта Шустова. Одна из тех, которые с винтовкой в руках совершали с нами великие переходы с Урала на Север, с Севера — на Кавказ.

Стучит суставчиками по столу и рубит как топориком:

— Я этого дела не оставлю. Я шарахну по партлинии. Вы, верховоды, только подрываете доверие масс к партии и советской власти.

И все — о том же товарище Ковалеве.

Иду к предфабкому.

— Что, брат Андрюша, заварил кашу? Изволь, брат, расхлебывать сам.

А он улыбается, шевелит паучьими ножками и быком поглядывает на меня.

— Брось панику валять, директор. Все улажено. Товарища Ковалева упустить не желаю. Нам не следует швыряться крепкими, активными работниками. При нашей бедности — это преступная неряшливость. Я отправил его в губотдел, с условием, что нам возвратят его,

когда потребуем. Только сомневаюсь, чтобы они добровольно расстались с ним.

Признаюсь, рад был, что, наконец, развязались с ним.

Не прошло и недели, встречаюсь с Анютой. Берет она меня под руку, и необычиость этой нежности удивила меня.

— Ты что это, Анюта, такая ласковая?

Одна у нее была слабость — как голодная набрасывалась на хороших работников и возилась с ними по-матерински заботливо.

— Не прощу себе, Мухин, громадной ошибки: отпустила замечательного активиста и талантливого работника.

— Не товарища ли Ковалева?

— Именно. Сегодня приходил ко мне, и мы с ним беседовали по многим вопросам. Исключительный парень! Подал заявление о вступлении в партию. Надо принять. Я его обязательно вызволю из губотдела. Дураки мы, директор, и нечуткие люди: не умеем разбираться в людях.

Я посмеялся и сказал ей, что считаю товарища Ковалева ловким авантюристом и завоевателем. Такие люди, как товарищ Ковалев, при всяких условиях и режимах чувствуют себя, как рыба в воде. При всяких превратностях судьбы вылезают сухими из воды. Это — карьеристы, честолюбцы, махровые жулики, которым нет дела до общественных интересов, и всякими идеалами и лозунгами они играют, как шулера краплеными картами... Они добиваются высоких мест, давят автомобилями людей и плюют на мир с самодовольством и презрением счастливых мошенников.

Ох, какой огонь выдержал я от Анюты!

— Ты — бюрократ, узколобый хозяйственник. Ты оторвался от масс и от партии. Ты проникся духом старого буржуазного кабинета...

И здесь товарищ Ковалев до сердцевины ввинтил свой штопор.

Прошло что-то около полугода. История эта забылась, хотя имя Ковалева не раз било по ушам. На губсъезде профсоюза я встретил его во фракции. Не сразу признал: стал он будто выше ростом, пополнел, выбрит до телесной чистоты. Шевелюра вымытая, сизая. Синяя толстовка. Сапоги. И что изумило меня: он резко запоминался, и что-то в нем было типическое от профсоюзника.

— Ну, как, товарищ Ковалев? Похоже, что вы пошли по широкой дороге. Несомненно, вы имеете сапоги-скороходы.

Смотрит на меня сбоку, скользом, усмехается в нос, с небрежной рассеянностью.

— Несомненно, товарищ директор. И сапоги-скороходы есть, и широкая, твердая дорога под ногами.

— И в партию успели вступить?

— Не только успел вступить в партию, но даже стаж восстанавливаю.

— Стаж? Какой же у вас стаж?

— Четырехлетний, директор. Я был исключен из партии. Это была ошибка. Товарищи из ЦКК находят тоже, что вычистили меня без всяких оснований.

Хочу уязвить его, одернуть, показать ему, что я вижу его насквозь и цену ему хорошо знаю.

— Да, вы — ловкий и предприимчивый человек, товарищ Ковалев.

— Ага, не правда ли? Не ловкий, а — деловой, знающий себе цену, незаурядный работник.

И тон в голосе — авторитетный, дидактический. А в повороте головы, во всей фигуре, в глазах — дыхание чудовищной самоуверенности. И я около него чувствовал себя бездарной пешкой, трубочистом.

Выступал он в прениях и во фракции, и на пленуме. Любо-дорого послушать. Гладко, умно, с экскурсами в Ленина, Энгельса, Маркса. Вспоминал кстати остренькие словечки Плеханова и Ильича. И держал себя в меру гордо, независимо, и каждое его слово дышало великой преданностью партии и глубоким знанием профдвижения. И та же, как и всегда,—непоколебимая уверенность в себе и убеждение, что он ведет счастливую игру.

У Анюты горело лицо, и она несколько раз с восторгом дергала меня за рукав.

— Ну, что?.. Я говорила тебе, дуролом.. Сыщи мне другого такого работника и умницу...

Андрюша только шевелил усами, покрякивал и шлепал себя по коленке.

— Вот это я понимаю—шерстобит... молодчага, подлец!..

Прошел он в члены правления и в секретари губотдела.

С этого времени карьера его запрыгала вверх большими скачками. И с этого же времени я остро почувствовал, что мы—враги с ним на всю жизнь.

Этот человек обладал исключительной способностью завязывать и укреплять связи с высшими людьми. Когда я встречался с ним, он небрежно, почти отмахиваясь, с фамильярной насмешечкой, сыпал именами.

— Ну, что—Троцкий... Я ему не раз указывал, что он в своей ограниченной последовательности—нелеп... Михаил Павлыч Томский—прекрасный человек, но он иногда увлекается до ребячества... Николай Иванович Бухарин—рубаха-парень, а статьи его по литературным вопросам—смехотворны... Я уже говорил ему, что он в этих вопросах ничего не смыслит...

И говорилось это с таким уменьем и чувством меры, что все верили ему и считали, что товарищ Ковалев—человек исключительный и пойдет очень далеко.

Признаюсь, что я сам иногда смущался: чорт его знает! может быть, правда, что этот человек с большими талантами, что я не понимаю его, что место ему — на больших руководящих постах... Уж действительно, не ошибаюсь ли я?..

Держался он со мной корректно, оказывал всяческое уважение, но я видел, что через эту корректность и уважение изливается на меня ирония, презрение и что-то похожее на ненависть. Я чувствовал, что этот человек не остановится перед первой возможностью сделать мне пакость и подложить хорошую свинью. Как я ни старался держать себя с ним холодно и официально, все же никак не мог бороться с своим раздражением. И он видел это — ему нельзя было отказать в прозорливости и знании людей, — смотрел на меня со спрятанной насмешкой в зрачках, держал себя победителем, с чувством превосходства, и всячески, очень тонко, старался вызвать наружу это мое раздражение против него.

Однажды он приехал ко мне в автомобиле, весь упругий, чистоплотный, с новеньким портфелем, но с подчеркнутой пролетарской простотой в костюме. Сел против меня важно, весь пропитанный деловым духом, с сознанием великих задач, возложенных на него историей. А разговор шел о самых простых вещах — об урегулировании вопроса о заработной плате низким разрядам, согласно колдоговору. Тут у нас произошло первое столкновение, которое запутало клубок наших дальнейших отношений и втянуло целый ряд лиц в позорную склоку, которая продолжалась до последнего времени. Разрешился вопрос в несколько минут. Смотрит он на меня, как обычно, сбоку, с брезгливой усмешкой в нос, и лениво, досадливо тянет, брюзжит:

— Вот видишь, товарищ Мухин, дело выеденного яйца не стоит, а ты заставляешь меня трястись к тебе на машине.

— Я вас, товарищ Ковалев, не тянул за нос. Напрасно вы беспокоили свою важную особу.

Пристально щупает меня знающими глазами и старается уколоть побольнее.

— Я приехал не для твоих прекрасных глаз. Мне дороги интересы рабочих.

— Ах, батюшки! Выходит, что интересы рабочих мне чужды? Только вы один — защитник их интересов.

— Ясно. Иначе я сюда не приехал бы. Нечего либеральничать: ты администратор и хозяйственник. Как и все, ты зарываешься и способен вызывать только конфликты.

Вся кровь бросилась мне в лицо. До боли взорвалось сердце. Все скрепы лопнули у меня внутри. Этот мозгляк, выскочка, попрыгун смеет шельмовать меня в упор! Я вскочил со стула и заорал на всю комнату:

— Вы забываетесь, гражданин Ковалев. Вы — карьерист и демагог. К чортовой матери!

Он спокойно, очень выдержанно, без тени волнения, смерил меня с головы до стола и обратно, и холодно, с достоинством, с проникновенной заботливостью спросил:

— Ты, товарищ Мухин, давно был у доктора? Откуда у тебя такой нервный надрыв?

— Пошел вон отсюда к дьяволу! Авантюрист!

Правда, я погорячился немного. Потом стало стыдно. На другой день заходит ко мне Андрюша, пожимает руку и пытливо изучает меня быковатым взглядом.

— Как это ты, Гриша, дурака свалял вчера?

— Ты это — насчет Ковалева, Андрюша? Хорошо, что я его не выбросил в окошко. Этот проходимец только этого и достоин!

— Устал ты, браток. Полечил бы свои нервы, что ли? Разве хорошо нашему брату горячку пороть? В губотделе только и говорят о твоей выходке.

— Как? Он смеет еще трепать языком? Я покажу ему, где раки зимуют!

— Да брось ты, чудак. Как это мы скоро стали забывать, что мы — коммунисты. Теряем почву под ногами и, чорт его знает, позорно срываемся на глупости. Я не узнаю тебя, Гриша.

— Ну, баста. Действительно, я вскипятился. Нужно было взять себя в руки и выдержать тон. Но я заявляю тебе, что я этого проходимца и на порог не пущу.

— Во-первых, Гриша, он — секретарь губотдела, а не проходимец. Это заруби на носу. А во-вторых, ты должен перед ним признать свою ошибку.

Я даже вскочил от неожиданности и опять почувствовал, что сердце мое срывается с цепи. Никак я не мог допустить, чтобы предфабком, мой близкий товарищ Андрюша, с которым мы жили душа в душу и понимали друг друга с полуслова, — чтобы он, Андрюша, был способен на такой фортель.

Молча взглянули мы друг на друга и расстались, и в этом его взгляде из-под лохматых бровей я увидел отчуждение и угрюмый вопрос.

В тот же день врывается ко мне Анюта, с размаху бросает портфелишко на стол и лихо подсаживается ко мне, с грохотом и гневом. Губы посинели, из глаз брызжет ртуть.

— Скажи мне, пожалуйста, Мухин: на месте у тебя голова, или мозги твои опарой стекли на просиженный директорский стул?

Решил быть невозмутимым — отделываться шуткой и притворяться, что вся эта глупая история не оставила во мне никакого следа.

— Нет, Анюта! Я только что сейчас, как увидел тебя, вспомнил, как мы с тобой когда-то страдали и горели пафосом борьбы на фронтах. Удивительное было время — незабываемые года.

— Что было — то было. Поэзию нечего разводить. Теперь время деловое, хозяйственное. Надо быть вдумчивым и крепким работником, а гонор свой показывать нечего. Вы, друзья, на своих командных высотах превратились в генералов и стали позорным образом обрастать. Куда уж тут вспоминать о фронтах. Лицемерие одно!

— Ну, довольно обличительных тирад, Анюта. Сама видишь, что ни к селу это, ни к городу. Ведь не один день, не один год знаем друг друга и живем общей жизнью. Чего ты мою бедную голову мылишь? Шайтанка!

— Я вовсе к тебе не для шуток пришла, Мухин. Ты допустил по отношению к Ковалеву возмутительный, нетоварищеский поступок.

— Ах, Анюта, опять этот Ковалев! Что вы в сговоре, что ли?

— Ликвидируй все это, Мухин.

— Что значит — ликвидируй?

— А должен написать ему, что ты неправ, и оценить свой поступок по достоинству...

— Но если я этого не сделаю?

— Ну тогда дело дойдет до контрольной комиссии, и ты будешь осужден.

— Знаешь что, Анюта, если бы я не знал тебя и не любил, как товарища и друга, я бы тебе своевременно закрыл рот. Имей в виду, что больше я не позволю разговаривать со мною в такой форме, и об этом проходимце больше со мной ни слова!..

— Ах, вот как! Теперь я убедилась, что̀ ты за тип. Заявляю тебе открыто, что буду с тобой бороться. Против тебя не только я, но и предфабком. Я уже не говорю о товарищах из губотдела...

— Не стращай, пожалуйста: я — не из пугливых. Это — склока, товарищи дорогие. Я считаю вдохновителем ее и главной действующей пружиной Ковалева. Я знаю, куда он метит, и знаю, что он способен на всякую мерзость.

Я предупреждаю тебя, Анюта. Подумай и разберись в этом объективно и внимательно.

— Мне все ясно, Мухин. А сейчас я увидела, что ты совсем зашился: барские замашки, хозяйский гонор, спесь. Мы были слепы, а Ковалев давно уже расчухал в тебе хорошего карася!

Она ушла так же торопливо, как и пришла. И когда захлопнулась за нею дверь, я впервые почувствовал, что я — один, что те люди, с которыми я прожил вместе целую жизнь, отвернулись от меня. Из моих соратников и кровных друзей они превратились в противников, и связь между нами рвется неудержимо. До слез, до нестерпимой боли жаль было оборвавшихся дней. Уж больше не заходили ко мне ни Анюта, ни Андрюша. Когда же мы встречались в ячейке или на совещаниях, мы не смотрели в глаза друг другу. А во время прений они больно и обидно щипали меня и всячески старались создать атмосферу недоверия ко мне, и те небольшие изъяны в хозяйственных и административных аппаратах, которые неизбежны в наши тяжелые дни восстановления промышленности, старались раздуть в преступную бездеятельность, в злостный саботаж и прочее, тому подобное. И огромного труда и самообладания стоило доказывать с цифрами в руках нелепость этих обвинений и разрушать весь арсенал их преднамеренной клеветы.

Изменилось как-то и лицо рабочей массы по отношению ко мне. С рабочими у меня всегда была самая теплая дружба. Очень часто бывало: в свободное времечко, в дни отдыха, встречаешься в клубе, на улице, и по-старинке разговоришься, вспомянешь прошлое, поиграешь в футбол или в рюхи. Затешешься к какому-нибудь приятелю в общежитие, а там — все до одного друзья детства. Чай, подчас пивко, толчея, гам, песни... И ни разу не было случая, чтобы кто-нибудь упрекнул меня в чванстве, в отрыве, в обрастании. А тут вдруг между мною и ими выросла черная, холодная тень...

В клубе или на улице — вокруг меня пустота. Поклонятся смущенно или угрюмо и торопливо отходят. Стоят толпой, разговаривают, смеются; подойдешь — сразу густеет атмосфера, все чувствуют себя подавленными, все глядят в сторону, а в глазах — настороженность и муть.

Как-то в клубе встречаю одного моего старого приятеля, слесаря инструментальной мастерской. Беру его за плечо и пристально смотрю в глаза. А лицо у него было странное — все вогнутое в переносье, точно ему когда-то двинули кулаком между глаз, да так эта яма и осталась на всю жизнь. Но глаза были всегда живые, яркие, прозрачные. А теперь они вдруг будто заржавели.

— Скажи ты мне, друг Коптяев, почему всех былых однокашников вдруг точно подменили? Что случилось?

Смотрит Коптяев в сторону и смущенно морщится от улыбки.

— Не чую, товарищ Мухин... Ребята как будто все на своих позициях...

И это „товарищ Мухин“ вместо прежнего „Гриша“ сразу садануло меня по сердцу.

— Мы были с тобой, Коптяев, друзья с детских лет. Неужели ты можешь притворяться передо мною?

— Мне что же притворяться? Как я Коптяев был, так и остался Коптяевым. Видишь, морда моя и по сей день как вдавленное ведро.

— Не то, Коптяев. Не чувствую я прежнего к себе душевного отношения.

— Что ж, товарищ Мухин... Ты — вверху, мы — внизу. Положение — разное, как ни говори.

— Ты пойми, Коптяев: так работать нельзя! Все затаили что-то внутри. Я ничего не знаю и стал вдруг обидно одинок. В чем дело? Тут идет какая-то буза. Скажи, по старой дружбе...

— Что ж... Где ж мне знать, товарищ Мухин?.. Ты — директор, высокое лицо... Ну, и стесняются малость ребята...

Мигает, морщится смущенно, как прижатый к стене, и вертит башкой, точно ищет лазейки и удобного момента, чтобы улизнуть.

— Но ведь до сих пор этого не было? Ведь не со вчерашнего же дня я — директор? Тут дело нечисто. Надо распутать.

— Видишь, какое дело, Гриша...

И в глазах у него блеснула прежняя детская ясность. Будто я внезапно коснулся больного места его души.

— Видишь, какое дело, Гриша... Я скажу тебе прямо, по-рабочему... Сердись, не сердись... Зарываться ты начал... Хозяйские прежние замашки перенял... Как коммунар, я должен сказать тебе это прямо... Тебе указывали на это и Андрей, и Анюта... Щипали другие товарищи... Помнишь — на пленуме ячейки это было... А ты, как норовистый конь, лягался... Держал себя вызывающе... По-генеральски... Конечно, тебя положение обязывает... Ну, а братва расценивает по-своему...

— Да ведь это же неправда!.. Ерунда! Неужели ты этого не видишь?

— Ну, как тебе сказать... Анюта и Андрей ведь тоже свой брат, а однако здорово они тебя грели...

И отошел. И ни разу не оглянулся.

Невыносимо было в тот час. Впервые я пережил подлинный страх от собственного одиночества. Пошел домой. Было темно. Фабричные здания черной махиной давили меня. Трубы грозили, как высоко поднятые кулаки. Встречались люди по улице, и они казались чужими и зловещими. Дома не находил места. Выходил на улицу. Черная ночная пустота. Где-то далеко пели песни — очень хорошо и грустно. Всхлипывала гармошка, и мне казалось, что это переливались в звуках звезды и стонала басами луна. А она была низко над горизонтом, мутная, закопченная с краю. И от этой тьмы и грязной луны сердце отравлялось отчаянием. В ту ночь я не спал до утра.

Вы спрашиваете, нет ли некоторой правды в словах Коптяева? Люди в борьбе, как бы они крепко закалены ни были, всегда распаляют душу докрасна. А в борьбе я никогда не сдаюсь добровольно. На войне были моменты, когда мы были на краю гибели. И я не бежал, а лез напролом, и этот героизм отчаяния спасал меня всякий раз: или — победа, или — смерть. Вот и тогда, в борьбе с клеветой, я был горяч и непоколебимо напорист. Разве я должен был сложить оружие?

Да, Ковалев. Видел я его в этот период раза три, и каждый раз я восхищался им, как первоклассным игроком. Играл он без проигрыша, и никому в голову не приходило, что это — ловкий шулер, что в запасе у него для каждого случая новая колода крапленых карт.

Держал он себя великолепно. Стройный, упругий, чистоплотный, одетый под рабочего (даже в голосе у него появилась этакая пролетарская грубоватость), он стоял перед столом председателя губотдела с почтительным достоинством, как человек, знающий себе цену. Говорил четко, крепко, умно, красиво, без лишних слов, и упорно, не мигая, смотрел в глаза председателю. А председатель был тоже с нашей фабрики — Паклин — человек тщеславный, не любивший противоречий, с воробьиным лицом, болел одной слабой стрункой — терял голову и замирал от лести. А лесть, как известно, всегда поражает людей слепотой и идиотизмом, а героя делает тряпкой.

— С твоим умом и опытом, товарищ Паклин...

Или:

— Зная, что ты, товарищ Паклин, твердо и четко проводишь директивы... я настоятельно требовал...

Или:

— Под твоим руководством, товарищ Паклин, я вырос до неузнаваемости...

Вы говорите, что эта грубая лесть шита белыми нитками. Совершенно верно. Но послушали бы вы его и поглядели

бы, какая это была артистическая игра! Я видел его насквозь, но искренность его, проникновенность, уменье с удивительным тактом протянуть свои щупальцы до самых глубин души обезоруживали меня. Я сам заражался его непосредственностью, волнующей чистотой и терялся: а вдруг я его не понял? Вдруг это — редчайший экземпляр человеческой честности?

А Паклин после тыкал меня под бок и подмигивал торжествующе:

— Ну, что, брат, каково? Спасибо тебе, что ты когда-то ошибся в этом человечке...

Потом я слышал, как Ковалев делал доклад на пленуме губпрофсовета. Красота! Отчетливо, деловито, в меру — цифр, в меру — веселой шутки, в меру — цитат из Ленина, в меру — крылатой обоснованной лести собранию и председателю. Вероятно, он уже не один раз выступал в губпрофсовете, потому что его встретили шумными аплодисментами, с жадным любопытством и вниманием. И там же кто-то из товарищей насмешливо упрекал меня:

— Что же это ты, батенька, не оценил такого молодца? а? Проворонил, брат. Ведь умница наредкость. Далеко пойдет парень. Вы, аппаратчики и администраторы, терпеть не можете около себя даровитых людей. А туда же все норовите стрелять подальше. Что это ты окрысился на него? Говорят, что у вас что-то пахнет контрольной комиссией...

Однажды, будучи в ВСНХ, я увидел его у секретаря одного высокого лица. Говорил он с ним, как свой человек. Они стояли в сторонке, покуривали, разговаривали и посмеивались. Секретарь скрылся в кабинете, а Ковалев рассеянно посмотрел на меня, и в этом взгляде была ирония и наглое торжество. Открылась дверь, и секретарь громко позвал его:

— Ну, иди, Ковалев!

Дверь была закрыта неплотно, и я услышал громкий разговор и смех, а потом обычный четкий, воркующий голос Ковалева.

Да, этот человек далеко идет. Это мне было ясно, и ясно было то, что я должен был во что бы то ни стало вывести его на чистую воду и раздавить, как гада.

В эту встречу с ним я впервые мучительно ломал голову над вопросами: откуда берутся такие люди? Что вызывает их к жизни? Почему они так прочно укрепляются в нашей действительности? Почему я, старый революционер, большевик, солдат гражданской войны, пасую перед ними? Почему я работаю, как вол, болею за каждый пустяк в производстве, а они, как вот этот Ковалев, живут играючи, делают головокружительную карьеру, чувствуют везде себя как дома и при всяком удобном и неудобном случае дают понять, что я — дурак, тупица, осел, кляча, который нуждается в их руководстве, в их кнуте, что я — ничтожество перед ними, бездарь, сморчок?

И впервые тогда же в мозгу тоскливо и настойчиво чесалась мысль: что-то я видел когда-то похожее на этого типа. Думал долго, чуть ли не целый день, мучился и не мог вспомнить. Не мог работать, говорил с инженерами, отвечал невпопад, забыл пообедать и все терзался от бессилия вспомнить тот образ, который разбухал где-то близко под черепом. И пугался: уж не болен ли я в самом деле? не страдаю ли я навязчивыми идеями?

И только ночью, когда я уже лежал в постели, вдруг этот образ ярко, почти до галлюцинации, всплыл перед глазами. Есть такой головоногий моллюск, который называется, кажется, каракатицей. Из головы у него выходят длинные плети с присосками. Они — гибки, упруги, скользки, сильны, эластично ползут по камням, проникают в щели, в расселины, в поры, — как змеи. Бороться с ними трудно, они до жути неотразимы. Так вот этот головоногий моллюск в моем воображении вдруг слился с образом

Ковалева. Головоногий человек! И сразу мне стало легко, почти радостно, точно я совершил над ним какую-то очень существенную победу. Я заснул с уверенностью, что я знаю, как его взять, что он с этого часа — в моих руках.

Вызывают меня в контрольную комиссию, к следователю. Даю показание — все, как было, честь-честью. Вызывают и Анюту, и Андрея, и еще кой-кого из рабочих. Потом еще раз, для дополнительных вопросов. Следователь—хороший парень, чудаковатый, старого подпольного вида большевик. После официальной процедуры берет он меня под руку и спрашивает многозначительно:

— Скажи-ка, брат, почему этот пострел так быстро вскарабкался в гору?

И этот вопрос обдал меня, как теплой водой. Сразу почувствовал, что нашел близкого товарища и брата. Я был очень потрясен этой близостью и проникновенностью, и этой минуты не забуду никогда. Я пожал ему руку и несколько секунд смотрел на него молча и чувствовал, что не могу сдержать слез. И только сказал, мешаясь в словах:

— Мы боролись долгие годы, сидели в тюрьмах, мыкались по этапам, шли на смерть, и теперь из сил выбиваемся, чтобы строить новую жизнь, честно, по-своему, своею кровью, душу отдаешь, отказываешься от себя. А тут выползают откуда-то из темных мест головоногие и присасываются к нашему телу... А мы их культивируем, опираемся на них и подлость их принимаем за ценные дары!

Он засмеялся и крутнул головой.

— Головоногие... верно ведь... как это ты удачно определил!.. Ничего, товарищ... Дело выеденного яйца не стоит: мы его прекратим... Я же тебя знаю не первый день. Может быть, ты навел бы справки. Он, видишь ли, раньше пребывал будто бы в Саратове.

Как раз в это время наступил период оживления в производстве. Некогда было думать о гражданине Ковалеве. Как-то быстро он даже вылетел у меня из головы. Около года кипели мы, как в котле. Очень быстро довели работу фабрики до довоенной нормы. С большим трудом кое-как обновили технику: кое-что выписали из-за границы, кое-что усовершенствовали собственным изобретательством. Фабрику пустили на полную нагрузку. И почти все сокращенные рабочие были призваны к станкам. Повеселели все, поуспокоились, и опять стало как-то по-новому легко на душе. С Андрюшей опять завязалась старая дружба, и Анюта как будто отмякла немного. Но где-то в глубине глаз и у того и у другой все еще не растаяли мутные льдинки. Нет-нет да и брызнут холодком, нет-нет да и царапнут словечком, и на мгновение опять промелькнет черная тень между нами. В эти моменты мне было очень грустно и хотелось душевно напомнить им о прежних наших чудесных днях, когда сердца наши были открыты друг другу, и червяк отчуждения не точил нашего мозга. Думалось: пройдет еще немного, и все эти болячки заживут, и сердца наши очистятся от шелухи...

Как-то на майской демонстрации (в учреждении — он строг и пунктуален) Ковалев дошел до пафоса и, с восторгом глядя на толпы, внушительно сказал:

— Моя цель — это руководить людьми. Глупо быть рядовым, когда можно стать командармом. Всяким активным человеком руководит самолюбие, а талант, это — изобретательность и четкая цель. Для достижения целей — все средства хороши. Нужно быть подлинным большевиком, чтобы не отступать ни перед чем и не гнушаться никакими средствами и орудиями борьбы.

И опять бросились мне в глаза его руки: они были длинны, гибки и все время находились в движении. Они у него так

и остались липкими, точно были покрыты множеством присосков.

Я не утерпел и возмутился.

— Как! Даже не останавливаться перед подлостью, лестью, клеветой и жульничеством?

— Конечно, если это — благо в борьбе за достижение целей. Что ты ребенок, что ли?

А Паклин тыкал меня в бок и шептал:

— Чорт возьми! Вот — башка... слушаешь его, наблюдаешь за ним — прямо возбуждаешься, и хочется ненасытно жить.

Был солнечный день — по-весеннему теплый и голубой, по-весеннему насыщенный запахами молодой земли, новоявленных листьев и травы на бульварах. Небо было вымытое, протертое, праздничное, и по-праздничному белыми дирижаблями гуляли облака. Даже грачи орали на деревьях, будто пьяные. На душе было крылато, как в детстве на пасху, когда до самых горизонтов звонят колокола. Чтобы не нарушить своего настроения, я вышел из колонны, — хотел быть подальше от Ковалева. А он шел, как счастливец, с высоко поднятой головой, непобедимый в своей уверенности и власти над людьми... Шел он впереди, около знамени, вместе с руководящей головкой профсоюза.

Ну-с, так вот дальше. Однажды вечером, когда в заводоуправлении никого уже не было, а я остался, чтобы поработать над докладом для текстильтреста, входит ко мне Андрюша и как-то крадучись вертит ключом в двери. Никогда я его таким еще не видал.

— Ты что это, Андрюша, как пьяница от зеленых чертей прячешься?

Идет ко мне быком, смущенно шевелит усами, а глаза — обалделые, в слизи.

— Зеленые черти — это элемент неорганизованный и безвредный. А тут каждый клоп имеет подвесные уши. Тебе это невдомек, а я уж испытал на своей шкуре.

— Что такое? Говори толком.

— Ты, брат, извини: я отниму у тебя одну минутку.

Сел около стола, снял кепку, которую не снимал с головы уже года четыре, бросил на пол, потом опять поднял, крякнул и опять надел на лоб. Это у него — жест при сильном волнении.

— Видишь ли, какое дело, Гриша... Как ты думаешь, к какому сорту дураков и идиотов можно отнести меня вместе с Анютой?

Смеюсь и чувствую, что люблю его попрежнему.

— Затрудняюсь, Андрюша. Думаю, что — к разряду тех, которые иногда садятся в калошу. Но они отнюдь не убеждены, что сидят в удобном кресле.

— Ну, это ты что-то многословно. По-моему, мы — просто набитые дураки и пареные идиоты. Анюта еще остается и набитой, и пареной на все сто процентов. А я вот сейчас не захотел — баста! Ты знаешь, что Анюта, кажется, в любовной связи с гражданиом Ковалевым?

— Что ж, завидная пара. Пожелаем им плодиться и множиться.

Смотрит на меня медведем из-под бровей, и вижу — свирепеет парень, и усы топорщатся и мокреют.

— Ты, брат директор, ваньку не валяй. А что ты скажешь, ежели я тебя поставлю в известность, что в твоем заводоуправлении и в моем фабкоме треплются осведомители Ковалева?

— То-есть, как осведомители? Шпионы, что ли?

— Вот именно—шпионы. Объегорил он меня здорово, друг. Сколько лет жили с тобой душа в душу, и вдруг через этого червяка стал перед тобой предателем... В жизнь этого себе не прощу!

В сердце у меня полоснулась горячая волна. Опьянел и замер от потрясения. Встал я со стула и со всего маха бросился к нему на шею. Дышит он по-бычьи, и усы щекочут мою шею.

— В жизнь себе этого не прощу, Гриша!

— Я тебя любил, Андрюша, всегда и не переставал любить. А теперь, Андрюша, люблю пуще прежнего. Я знал, что подкупить тебя нельзя. Ошибки со всяким бывают.

За стол больше я не сел,—куда к чорту, когда в душе—музыка, а каждая клеточка тела трепещет крыльями. Эти минуты — самые дорогие в жизни: только через эти внезапные волны горячей крови познается истинная ценность человека и глубокий смысл братских, человеческих связей. Такими связями крепла и одухотворялась в былые годы наша подпольная партийная работа. И только такое живое общение и дружба теперь, когда работа — владыка людей, спасает их от окостенения, от бездушного формализма и делает их непобедимыми титанами на земле.

Я даже забыл в первые мгновения, о чем мы разговаривали. Да и Андрюша замолк, раздавленный волнением. Вижу, делает он суровое лицо и шевелит бровями и усами.

— Я к тебе, директор, пришел не сантименты разводить, а говорить о деле... Терпеть не могу этой в тебе интеллигентщины. Пора бы изжить в себе эту подпольную заразу... Эти гнилые белоручки испортили немало рабочего народа...

— Ну, валяй, валяй... говори о деле, Андрюша. Ведь притворяешься ты, стервец, — ведь проняло...

Смеюсь, а на глаза набегают слезы восторга и любви к нему.

— Будешь с тобой трепаться, поневоле кислой капустой станешь...

И руки у него дрожат, и веки покраснели и разбухли от невылитых слез.

— Да, так вот ковалевские шпионы, брат. Он их здорово настрочил, как заправский охранник. Пообещал им всяких благ — одному повышение, другому — несменяемость, третьему — всякие гарантии... И так далее, и тому подобное...

А они, брат, регулярно доиосили ему о всяких мелочах— все больше о недостатках нашего механизма, о мелких промахах, доставляли всякие документы. Как ни приду в союз, так сразу и ошарашит: „У вас там — сплошная бесхозяйственность, разгильдяйство, полное неуменье справиться даже с ничтожными мелочами!..“ А вот вчера начал выкладывать весь мусор. „Я, — говорит, — как честный и пристальный работник, как коммунист, каленым железом выжгу таких работничков, как вы с директором“. Вылетел я от него, как из бани. Целый день бродил шальным, не спал всю ночь, а на другой день пришел в фабком будто после лихорадки. Что ж это у нас творится? В какие времена мы живем? Как же это мы грязищу эту развели у себя? И тут впервые увидел, какой я был идиот, сволочь и предатель. Как можно ослепнуть, как можно добровольно превратиться в мерзавца, не догадываясь об этом? Теперь у нас с Анютой — контры. Все рвется по швам. До чего дожили!

Он схватился за голову и закачался на стуле, точно у него сильно болела голова.

И решили мы с ним в тот вечер не бить набата, а следить за служащими и выжидать событий.

А наша история не любит медлить с событиями. И лозунг наших дней один: будь всегда на-чеку и гляди в оба.

Получаю телеграмму из правления треста: явиться немедленно по срочному делу. Не знаю почему, ио эта депеша вызвала у меня тревогу, и почему-то на этой серой четвертушке бумаги я ясно увидел самоуверенное лицо Ковалева с его шевелюрой, похожей на щупальцы каракатицы. Захожу к Андрею. Прочел он телеграмму и помрачнел. Поглядывает на меня из-под бровей медвежьими глазками, и в них—угрюмое предчувствие.

— Ну, что ж, валяй, брат. Ежели что — срочно телеграфируй.

Поехал. Москва меня всегда возбуждала бодростью и беспокойством. Я люблю Москву. В ее распластанной громадине, распирающей горизонты, в ее беспорядочной скученности и разбросанности, в сказочном мусоре кремлевских и китайгородских хором, в запутанности улиц, переулков и трущоб, в подъемах и спусках, в панических толпах на улицах, в грохоте трамваев, которые на площадях громоздятся друг на друга, в стремительности автомобилей, в неожиданной живучести ее древностей,— в этой ее пестрой, сумасшедшей неразберихе есть что-то неотразимо волнующее, захватывающее, чарующее. Я всегда приезжал домой пьяным от Москвы, и похмелье очень долго оставалось у меня, даже в моменты тяжелой, напряженной работы. Там у меня — прекрасные близкие товарищи, там я когда-то с незабываемой бурей в душе слушал Ленина на съездах партии и советов, там же с винтовкой на плече шагал в тесных рядах Красной армии перед тем же Ильичом,— там я оставил незабываемые миги моих волнений — там, в ее ядреном, своенравном вихре, клокотали лучшие годы моей жизни. Я всегда ехал в Москву с радостью, с восторгом, точно в волшебный город.

А в этот раз я вдруг почувствовал, что еду с неохотой, со скукой, с тошнотой. Москва показалась мне неприветливой, угрюмой. Почему-то сразу увидел грязь, неряшливость, тягостную бесприютность в этих чужих мне толпах. Небо было мокрое, гнилое, моросил вонючий дождь, и вся эта несусветная чехарда на улицах и площадях была тяжелой, сырой, тестообразной, враждебной. И впервые я почувствовал здесь себя одиноким и немного больным.

Председатель правления треста, чиновный, официальный, с серебряной головой, с золотым зубом, весь рыхлый, с деревянным лицом — всегда напоминал мне идола. Застывший, замкнутый, почти немой,— принял он меня молча,

с унылой скукой и почему-то долго смотрел стеклянными глазами в бумагу на столе. Не поднимая рыхлого лица, сказал тускло:

— Вы, товарищ Мухин, переводитесь в трест. Вам нужно поработать в новой обстановке, на более высоком ответственном посту. Ваше перемещение уже согласовано с ЦК.

И мне показалось, что эту фразу он говорил не меньше четверти часа. А в груди у меня была боль и тоска.

— Я должен заявить правлению треста, что я не могу оставить производство, и на перевод не согласен...

Человек удивленно и строго поднял одну серебряную бровь, но лицо неподвижно разбухало над бумагой.

— Ваши возражения неуместны, товарищ Мухин. Интересы государства не могут считаться с личными интересами отдельных лиц. Вы обязаны подчиниться беспрекословно. Потрудитесь в течение недели сдать дела вновь назначенному директору.

И опять говорил он очень долго.

— Кому же вы приказываете сдать дела?

— Товарищу Ковалеву.

Я едва владел собою.

— Это тоже согласовано с ЦК?

— Конечно.

— Я не могу ему сдать дела.

— Это почему?

— Есть достаточные основания. Я поеду в ЦК. Этого я не могу допустить.

— Вы должны объяснить, в чем дело.

— Это — карьерист, авантюрист, мерзавец. Рабочие не пустят его на порог.

— Ну, товарищ, это — не основание. Личные чувства и антипатии нам не ко двору. Вы—старый партиец, опытный хозяйственник, а говорите несообразные вещи. Вы достаточно дисциплинированы, чтобы выполнять решения рпатии и руководящих органов власти.

Его жирное лицо дрогнуло от затаенной улыбки, и он одним глазом безучастно взглянул на меня из-подо лба.

— Вы нужны нам здесь. А Ковалева мы разумно используем там. Вы же сами знаете, что мы на вес золота расцениваем прекрасных работников.

— Ну, так берите его себе, а меня оставьте в покое. Я сросся с фабрикой, родился там и знаю ее до ничтожных мелочей. В повышении я не нуждаюсь и за высокими должностями не гонюсь.

— Вы говорите так, как говорили когда-то наши феодалы, удельные князья. Это тем более недопустимо при нашей системе хозяйства. Постановление проведено в спешном порядке, и дискуссировать нечего.

Он рыхло протянул мне пухлую руку с седыми волосами на пальцах и опять идольски одеревенел.

Я вышел из его кабинета с бурей в душе. С места в карьер полетел в ЦК. И там срезался.

— Нельзя же, товарищ! Ты там обрастаешь мохом. Ты — не чижик, чтобы сидеть в клетке. Крылья у тебя достаточно выросли. Твоя клетка для тебя тесна. Изволь подчиняться.

Вижу, что не договаривают чего-то: не то, что крылья мои выросли, не то, что я сижу чижиком в клетке, а какая-то более важная причина заставила их гнать меня с моего места. Вопрос этот я поставил ребром, а ответ был такой:

— Туда нужно новую метлу. Старая только ворошит сор.

— Я не уйду с производства, а этого авантюриста спущу с лестницы.

— Ну, вот видишь: ты у себя на месте основал какую-то сатрапию. Надо поработать в других условиях.

В этот же день я послал спешной почтой письмо в Саратов. Там в губкоме — мой товарищ по фронту. Попросил безотлагательно собрать справки о Ковалеве.

Приехал домой ночью и прямо с вокзала—к Андрюше. Сидели с ним почти до утра и ни к чему не пришли.

А дня через три произошли такие события.

Отворяется дверь, и обычным уверенным шагом входит Ковалев. В руках — большой пузатый портфель, а в лице, немножко бледном, — этакое самозабвенное чванство и неудержимая министерская деловитость.

И как только я увидел его — меня точно прострелило. Я вскочил со стула и заорал так, что стены завыли:

— Вон!

И вы думаете — он убежал? Чорта два! Будто и не слышал моего рева: ни один мускул не дрогнул на лице, глаза смотрели мимо меня, в стену. Рассчитанными гибкими движениями приблизился к столу и сел в кресло, а портфель положил на колени. И опять эти его резиновые руки и космы шевелюры бросились мне в глаза, как что-то неотразимое и жуткое.

— Товарищ Мухин..

Заговорил бархатно, твердо, с расстановочкой. И опять эта чудовищная самоуверенность, доходящая до наглости.

— Товарищ Мухин... я должен предъявить... постановление... Потрудись...

Больше я ничего не слышал. Помню только, что я вырос до потолка, что сердце разорвалось у меня и заполнило всю грудь, что шаги у меня были гигантские, а руки напрягались звериной силой. Помню, что я схватил его за шиворот и, как щенка, вытащил за дверь, проволок через контору среди обалдевших от паники служащих, вытащил на площадку лестницы и швырнул его вниз. От грохота я оглох и почти потерял сознание.

Когда я проходил обратно через контору, во всех уголках было гробовое молчание, и люди сидели оглушенные и полумертвые. Даже машинки не трещали, и за ними не видно было девиц, точно провалились сквозь землю. И будто во мне черти кувыркались в бешеном

припадке. Я остановился посредине комнаты и, засунув руки в карманы брюк, с зловещим спокойствием скомандовал:

— Все подхалимы и шпионы этого авантюриста — ко мне. Явитесь добровольно, иначе притащу силой.

И слова мои увязли в могильной тишине.

Я долго ходил по кабинету и никак не мог успокоиться. Как будто я получил полное удовлетворение от расправы над этим человеком. Однако, где-то очень глубоко внутри капельками крови обжигало раскаяние: не нужно было этого делать — лучше было бы ловко и дипломатически обставить его, унизить, ошельмовать и намекнуть на его подозрительное прошлое. Ясно же и определенно я чувствовал одно, что после этого скандала мне больше не остаться на фабрике. Вероятно, опять будут осложнения по всем линиям, опять придется иметь дело с контрольной комиссией. И было такое ощущение: все равно — так или иначе запутанный, позорный узел должен быть разрублен. Удар был слишком оглушителен, и пыль поднялась густая: не один человек будет чихать от этого взрыва. Все равно—нечего тянуть канитель.

Началась омерзительная комедия. Робко, в позе виноватой кошки, вползает на цыпочках одна из конторских машинисток, — бабенка очень молодая, с хорошенькой мордочкой, большая модница,—манерно плачет в платочек и бормочет истерически:

— Григорий Иванович, я прошу вас выслушать меня... Ради бога, дайте мне оправдаться перед вами...

Молча встал я перед ней с руками в карманах.

— Григорий Иванович, я не могла иначе... Только, ради бога... дайте мне слово... не говорите мужу... Я еще не порвала с ним... Он опутал меня... Это — выше моих сил... Войдите в мое положение... Я вся — в его руках... помогите мне...

— Напишите мне это... поподробнее...

— Как же это можно?.. Что вы, Григорий Иванович!.. Об этом же узнает улица, и я погибла...

— Улица не узнает.

— Вы даете мне слово?

— Даю. Садитесь и пишите.

— Положим, я напишу... Но вы выгоните меня со службы...

— Я уже сказал вам...

— Григорий Иванович... что со мной будет?.. Как это ужасно!.. Вы сами любили, Григорий Иванович... Вы поймете меня...

Это было первое ведро помоев, которое выплеснули в моей комнате. Не буду говорить дальше. Было душно и мерзко до тошноты... И опять мучило раскаяние, зачем я разворошил этот навоз? Какая польза от всего этого дерьма?

Анюта и эта барынька! Крепкая партийка, крепкий человек, целомудренная женщина, Анюта наивно, безгрешно барахталась в этой грязной яме и не чувствовала гнусности клоаки. Анюту мне жаль было невыносимо. Рано или поздно она должна была узнать все, и удар этот потрясет ее до надрыва.

Уже поздно вечером пришел ко мне на квартиру Андрей. Сел на стул перед столом. Изо всех сил пускает угрюмость в каждый волосок бровей и усов, и смотрит мимо. Не утерпел, взглянул мне в глаза и точно бомбой взорвался: налился кровью и захохотал до беспамятства.

— Как ты его... со второго этажа-то... аэропланом... Барбос же ты этакий!.. Стоит на передке и ногами дрягает... Ох, не могу!.. Уморил, чтоб тебе околеть...

Его бычий хохот смял меня: веревками затрепыхались судороги в животе, и я тоже задохнулся от хохота. Так мы с ним и хохотали с битый час.

— Ну, Гриша, делу—время, а потехе—час. Швах твое дело. С корнем ты вырвал себя из нашего фабричного коллектива. Теперь — шабаш. Но и Ковалеву не видать этих мест, как своих ушей. Что ж, и это — победа. Нет худа без добра. Трепать только будут тебя, друг, — вот что противно.

— Ничего, Андрюша, мы не пропадем на своей земле, а этого гада я все-таки раздавлю и уничтожу. Не с такими гадами боролись.

— Это—так... шагали через смерть и всякие страхи... На своей земле—нам везде место... Только вот—Анюта... С ума схожу от досады... Ведь надо ж ее, как-никак, извлечь из этого омута... здорово он ее опутал и присосался.

— На то он и головоногий.

— Вот именно... головоногий на все сто процентов... Здорово ты его припаял этой кличкой... Каинова печать!

Рассказал я ему, как каялись и ползали передо мною подхалимы, показал бумажку этой мордатенькой бабенки. Он радостно шлепнул ладонью по бумажке, а глаза у него вспыхнули, как у ребятенка.

— Вот... вот чем я ее приведу в человеческий вид... Оздоровлю и сделаю главной пружиной... Заведу ее на все сто процентов, до отказа.

Я охладил его пыл. Вот придет письмо из Саратова, тогда мы будем бить откровенно и беспощадно. Быть не может, чтобы у этого ловкача не было там приключенческой биографии.

Мы расстались с ним бодро, весело и размашисто.

Вы говорите, что с этой барынькой я поступил не совсем чисто. Не возражаю. Но в глазах ее общества она осталась непорочной голубкой. Мне на нее наплевать. Я думал не о ней, а — об Анюте. Да и уличающий матерьял был ценный — не устоял, что же сделаешь? Противно это, правда, — но мы же не белоручки.

А Ковалев, вы думаете, использовал этот выигрышный для него номер? И не подумал. Шито-крыто. Притворился больным и не выходил из дому целую неделю. Потом уже я узнал, что в это время он писал почтительные, умные письма некоторым высоким лицам, в которых сумел всосаться и очаровать, и в письмах этих очень умело, без сплетни, по-деловому костил меня на все корки. Постановление треста о назначении его директором пока оставалось в силе. В губкоме, впрочем, уже знали, что я его спустил с лестницы. Должно быть, разрисовал это Андрюша. Анюта остервенело требовала у секретаря возбудить этот вопрос перед контрольной комиссией. На бюро ячейки, и тем более, на пленуме не решилась обсуждать инцидента—скандально! — и знала, что провалится. Приезжал ко мне Паклин для объяснений. Держал себя непримиримо и вызывающе. Грозил двинуть дело в верхи. Но я спокойно и внушительно сказал ему:

— Вот что, Паклин. Не влипай в это грязное дело — обожжешься. Заявляю тебе, что если этот гнус еще раз заявится ко мне, я поступлю с ним так же эффектно. Знай одно: он — трус, как все карьеристы, и больше не захочет встречаться со мною.

Так он и уехал ни с чем.

Письма еще не было из Саратова, и я начал тревожиться и нервничать. Послал телеграмму — и на телеграмму нет ответа.

И тут-то разразился надо мной страшный удар.

Получаю я повестку от прокурора: явиться к нему в камеру к такому-то часу. Являюсь. Белобрысый человек, очень вежливый, мягкий, веселый, все улыбается и расспрашивает о фабрике, о конъюнктуре, об урожае на хлопок. Потом подсаживается ближе и интимно спрашивает:

— Скажите, товарищ Мухин, как это вы, старый партиец, боец Красной армии, вдруг сорвались?

— В чем дело? Не насчет ли это Ковалева, которого я вышвырнул из своей комнаты?

— Какой Ковалев? Ах, секретарь союза? Кажется, очень умный, дельный и талантливый человек. Ему пророчат большую будущность. Нет, нет, товарищ Мухин. Видите ли, я потому и хотел предварительно переговорить с вами, что тут нужна откровенность. И вы, и я — партийцы: нам нечего вилять друг перед другом. Видите ли, тут поданы заявления от ваших уборщиц — Рябовой и Шиловой — об изнасиловании.

— Что такое?

— Об изнасиловании. Как это вы допустили себя до такого падения?

Я почувствовал, что я замираю от внезапности, и внутренности мои превращаются в лед.

— Ничего не понимаю. Откуда эта чудовищная нелепость?

— Ну, уж я не знаю. Заявления обстоятельные. Есть несколько свидетелей. Ведь работают у вас эти девицы — Рябова и Шилова?

— Работают, да. Но здесь какая-то странная авантюра. Я думаю, что это проделка Ковалева.

— Ну, при чем тут Ковалев? Я его достаточно знаю Этот человек выше всяких подозрений.

— А я настаиваю, что это провокация Ковалева!

— Ну, это мы посмотрим, все это выяснит следствие. Вы видите, я подхожу к этому делу очень осторожно. Я бы мог немедленно применить к вам арест, как грубую меру пресечения, но думаю, что обойдется и без этого.

— Это чудовищная провокация!.. Это чудовищно нелепо и неожиданно...

— Да, неприятная история, что и говорить. Вы всегда и везде на прекрасном счету. Но, как это ни тягостно, а делу приходится дать ход. Серьезное дело.

Как смертельно раненый, помчался я к Андрюше и, задыхаясь, грохнул ему эту новость. Он онемел, встал мертвецом и долго глядел на меня, как помешанный. Обессиленные, разбитые, прошли ко мне в комнату, сели и молчали очень долго. Решили пригласить Анюту и этих двух девчонок. Обе—и Шилова, и Рябова — комсомолки, лет по шестнадцати. Варя Шилова—племянница Анюты, девчонка взбалмошная, ветреница, с задорным личишком, в котором уже блуждало пьяненькое познание любовных грешков. Курильщица. Очень кокетничала — завивалась, слегка подкрашивалась, каждую минуту оглядывала себя, извиваясь змейкой. Неизвестно откуда появлялись у нее изящные французские ботинки и ажурные чулочки. Среди мужчин чувствовала себя беспокойно. Рябова была некрасива и, точно в оправдание своей фамилии, была безобразно ряба. Но и в ней преждевременно и бесстыдно играла блудливая самка. Первая была легкомысленна, шаловлива, нервна и легка в полете. Другая — нахальна, зла, груба, мстительна. Помню, обе они просили о переводе на фабрику, но им было отказано. Так что они имели основание быть мною недовольными.

Пришла Анюта, слепая, отчужденная, враждебная, села у стола и холодно справилась:

— Что угодно, товарищи? Нельзя ли поскорее: у меня— спешные дела.

Я сидел молча, подавленный, и изо всех сил старался быть спокойным. Андрюша с большим самообладанием сразу взял быка за рога.

— Вот что, Анюта. Дело очень ответственное и серьезное. Я знаю, что ты честно, вдумчиво и чутко подойдешь к нему. Я хочу, чтоб для этого раза ты взяла себя в руки и стала выше всяких личных отношений и прочее...

Она строго, почти гневно, рванулась к нему.

— Это еще что за предисловие?..

— Сердиться нечего. Я говорю это, как товарищ и коммунар. Так вот: дозволь сообщить тебе, что Мухину грозит гибель — это не громкое слово. Твоя племянница Варя и Рябова обвиняют его в изнасиловании их. Они возбудили вопрос перед прокурором.

Я еще ни разу не видел Анюту в таком состоянии. Она сразу вся вытянулась, похудела, и лицо ее покрылось пылью.

— Позволь, позволь. Я с Мухиным боролась и буду бороться открыто. Я его уважаю, как коммуниста и человека. Но я никогда не допущу мысли, чтобы он был способен на такую гнусность.

— Однако, дело передается следователю. Заявления поданы и Шиловой, и Рябовой. Есть даже мерзавцы, которые согласились быть свидетелями.

— Этого не могло быть никогда. Это — ложь.

— Что ложь? Заявления или преступление Мухина?

— Мухин этого не мог сделать. Это я знаю и не считаю нужным даже задать ему вопроса.

Я был очень взволнован ее честной прямотой и посмотрел на нее с восторгом и благодарностью.

— Так как же ты объяснишь это? Надо же как-нибудь разоблачить это и ликвидировать в начале!

— Давайте сюда этих девчонок. Я быстро докопаюсь в чем дело.

Андрюша тонко подошел к ней: он даже и намеком не коснулся причастности к этой истории Ковалева.

Девчонки вошли в двери, смущенные и растерянные, толкаясь плечами, но всеми жилочками старались держаться независимо и напористо. На обеих были новые одинаковые блузки, шелковые чулки телесного цвета и модные туфли с неимоверно высокими каблучками. Варя была с завитыми кудряшками и кокетливо, по-птичьи, дрыгала головкой. И смотрела как-то сбоку, и боязливое смущение не потушило женского лукавства в черных

глазенках. Рябова стояла сердито, хмуро, готовая ко всяким неожиданностям. Анюта пытливо и остро уставилась на Варю и протянула ей руку.

— Иди сюда, Варька.

Варя подошла, нервно вздрагивая и озираясь. Лицо ее стало бледным, и вся она ежилась, как в ознобе.

— Ну-ка, говори, Варька, когда тебя изнасильничал товарищ Мухин?

Варя ежилась и никак не могла прорвать судорог в горле. Она хотела оглянуться назад, к Рябовой, но не смогла.

— Ну, говори же!..

— Я не помню... Кажись, с полмесяца...

Рябова крикливо крикнула издали:

— Чего болтаешь, Варюшка... Чай, на прошлой неделе... Аль не помнишь — здесь вот...

Анюта рявкнула оглушительно:

— Молчать! Я и до тебя доберусь!

И потом почти ласково взяла за руку Варю:

— Говори правду, Варя. Мне говори. Ты знаешь, что обмануть меня нельзя. Я правду из земли выкопаю. Было это — говори?

Едва слышно, через слезы, Варя пролепетала:

— Ну, да... было... вот здесь...

Анюта встала. Она дрожала, как в лихорадке. Лицо ее было почти страшно.

— Врешь, мерзавка! Этого не было!.. Не было этого!.. Не было!..

И она в бешенстве стала шлепать ее по щекам.

Андрюша подхватил ее под мышки и усадил в кресло.

— Этого не было, дрянь, сволочь! Не было! Я задушу тебя, а правду выдавлю. Ты не уйдешь от меня. Говори, было?

Варя, полумертвая, задыхалась от рыданий.

— Тетя... тетя Анюта...

Рябова опять горласто крикнула:

— Чего ревешь, Варька? Раз было, так было. Я расскажу, как нас здесь терзали. Бить теперь не позволено!..

— Молчать!

Я подошел к Варе и погладил ее по голове.

— Скажи, Варя: Ковалев обещал вам перевести вас на фабрику по высоким разрядам, купил вам туфли, чулки, кофточки. Ведь так?

Сквозь рыдания она кивнула головой и пролепетала:

— Да... товарищ Ковалев улещал... Только бы мы написали... Ходили к нему по ночам... вино пили...

Анюта, как затравленная волчица, была близка к припадку.

— Врешь, дрянь! Ты изолгалась, как потаскушка!..

— Нет... тетя Анюта!.. нет!.. ей-богу, правда... Тетя Анюта!..

Рябова начала хулиганить.

— Я тебе, Варька, ноги поломаю... Так-то ты поступаешь? Я знаю, что с тобой делать...

Внезапно Варя встрепенулась, заплескалась рыбкой, сорвала с ног туфли и швырнула их к Рябовой, потом так же, в безумии, стащила чулки и бросила их к порогу.

— Вот тебе, дрянь!.. бери!.. ешь!.. Не ты ли меня соблазняла и жужжала в уши?.. Жри, дрянь, паршивка!..

Девочек увели. Варю Анюта заперла в своей комнате. Когда она опять села около стола, она была уже спокойна, почти бесстрастна.

— Покажи-ка ей, Гриша, эту бумажку.

Андрюша хитро подмигнул и потер ладонями, как от холода.

Анюта долго смотрела на четвертушку бумаги, исписанную барынькой, и, полумертвая, молчала, как в столбняке.

Андрей бродил по комнате и бормотал:

— Вот какие дела, Анюта... гляди сама... И с крепкими партийцами бывают ошибки... Какие же мы были с тобой идиоты, что допустили травлю Мухина... ах, какие были идиоты!.. Ну, и ловкач... головоногий чорт!..

И он засмеялся с надрывом, шлепая себя ладонью по лбу.

Я сел около Анюты и обнял ее с нежной лаской:

— Анюта, милый друг! Как это случилось, что ты стала моим врагом?.. Ты! родная Анюта!..

Она осторожно, как во сне, сбросила мою руку, встала и, слепая, суровая, сказала так, будто вела заседание бюро ячейки:

— Товарищи, завтра же я подаю заявление в бюро райкома о том, что я снимаю с себя секретарство. Я не могу руководить парторганизацией. Пусть меня возвратят к станку. Это — решено...

И она, не прощаясь и не глядя на нас, вышла из комнаты.

Мое дело у прокурора оглушило всех товарищей. Волнение было необычайное. И, как это всегда бывает, вся масса работников разделилась пополам: одни — за меня, другие—против и за Ковалева. Каша получилась страшная.

Варя взяла обратно свое заявление и подала другое— против Ковалева. Рябова держалась твердо на своем. Дело пошло своим порядком. Приезжал следователь и снял с меня показание. По срочному распоряжению свыше я был немедленно снят с должности директора фабрики, впредь до решения суда.

И вот в это время неожиданно пришло письмо из Саратова. Много документов и личных записок о Ковалеве. Товарищ писал:

„Я не понимаю, каким образом вы терпите этого фрукта в своей среде. Он был вышвырнут у нас из

партии, как отчаянный карьерист. Ловкий и изворотливый мошенник, он всегда вылезал сухим из воды"...

Так вот откуда эта усталость, этот надрыв среди наших товарищей. Что прикажете делать? Мы призваны к творчеству жизни, к коренному переустройству всей системы хозяйственных и общественных отношений. Мы— молоды, полны сил и энтузиазма. Но всякая революционная эпоха, а тем более наша,—полна противоречий, нелепостей, страданий, ошибок. В истории это самые сложные и трудные полосы. Предназначение наше—необычайно не только по своему героизму и трагичности, но и по взлетам и падениям. Как никогда, гнилые пережитки и люди, идущие из прошлого, напряженно, упорно, отчаянно борются за свое право на жизнь. Они отравляют атмосферу своим смрадным дыханием и заражают, подчас даже смертельно, новые побеги жизни, вносят сумятицу в нашу созидательную работу. Основа их жизни: теряя все в прошлом, я должен перевоплотиться в новых условиях в нового человека и взять от жизни сторицею то, что утрачено за рубежом настоящего. Отсюда—карьеризм, хамство, наплевательство, авантюризм, демагогия, уголовщина. Для нас дорога всякая мелочь, потому что она полита нашей кровью. Мы болеем за всякую неурядицу, за всякую ошибку и промах. А эти каракатицы, живущие в темных углах нашей жизни, пожирают наши молодые силы и мутят свежую стихию нашего общежития своими ядовитыми соками...

Вы говорите, что все ясно без рассуждений, но мы привыкли всегда осмысливать свое положение. Эта привычка не так плоха.

Ну, вот вам и весь рассказ.. Вы спрашиваете—какой конец? Я все рассказал, до конца. А эпилог вы уж доскажите сами.

КРОВЬЮ СЕРДЦА

Весь президиум—все больше комсомольского вида молодежь — тесно и бережливо, с почтительной настойчивостью, выдавила меня со сцены в узенькую дверь и повела по ломаным пыльным коридорчикам, воняющим сыростью и мышами, в неизвестные мне, скрытые дали рабочего клуба. Голова после прений в угарной духоте зрительного зала, набитого сотнями обалдевших людей ныла от тупой, нудной боли. Хотелось домой, в тишину, своей рабочей комнаты, к рукописям, к книгам, к желанному самоуглублению. Сейчас там, за стенами этого старинного здания, воздух прохладен, пахнет небом, первой грозой, теплыми листочками, их восковым таянием. Пусть — город, пусть — грязные стены многоэтажных домов, падающих друг на друга кубическими высотами, пусть ревет и скрежещет железом и электромоторами летающий огнями трамвай, натисканный людом, пусть мычат и поднимают пыль глазастые автомобили, пусть узкие тротуары текут и дуреют людьми, — воздух все-таки свеж, по-ночному небесно-глубок, звездно-призрачен и ядрено волнуется земной испариной, дымно-густой зеленью бульваров и неведомо откуда плывущими радостно-пьяными, невнятными запахами реки. Но мне сейчас невозможно выйти на этот весенний разлив, и комната моя пуста, а в душе — нежность к этим людям, и сердце молодо и расточительно бьется от счастья и восторга.

Ласково обнимая мою руку, шла рядом со мною, путаясь в шаге, широколицая курносая девочка в красной

повязке на затылке, и ее золотые волосы в искрах, и большие немигающие глаза, и широкие зубы улыбались неудержимо. Она не смотрела на меня — ни на кого не смотрела — а слушала только себя и самозабвенно плескалась в улыбке, и я знал, что эти минуты — исключительные в ее жизни, и этого трепетания радости она не забудет никогда.

Сзади шли двое парней. Один из них — в теплой вязаной фуфайке кофейного цвета, с квадратным костистым лицом, с необычайными провалами на щеках. Челюсти от этого выпирали у него в стороны и были угловаты и мощны. Два раза я оглядывался назад и встречался с его виноградными глазами, и эти глаза почему-то тревожили меня быковатым слепым упором. Они смотрели неотрывно в мою спину, точно целились в то место, куда можно было бы сокрушительно двинуть кулаком. Другой смотрел по сторонам, задрав голову кверху, и боролся с задорным смехом, который рвал ему горло. Кепка у него была задрана на шею. Был он тощий, острый, болезненно-желтый, угреватый, с тонким роговистым носом. Он тоже был неприятен мне и мутил обидой мою взволнованную радость. И пока мы пробирались по узким грязным коридорчикам, в тусклых угольных лампочках у потолка, он со странной настойчивостью и вызывающей насмешкой декламировал:

— Ах, какой сверхзамечательный вечер!.. Все толпежом поволокли ноги в постели, а мы, светила, — чай пить с пирожным.

Кто-то сбоку обиженно шепнул мне прямо в ухо:

— Это — рабкор... начинающий писатель... этакий свиненок...

А мне было хорошо: жизнь казалась мне чудесной сказкой, а в мире ничего не было, кроме радости творчества и наслаждения от упоения славой. В ушах еще не остыли водопады оваций, я еще ярко видел эти горящие восторгом и любопытством глаза — целые вихри

огненных глаз, — еще чувствовал, что плескались в меня теплые волны человеческих толп. Мое имя повторяется сотнями тысяч людей, моими книгами зачитываются во всех отдаленных углах нашей страны, и какой-нибудь одинокой учительнице, заброшенной в первобытные дебри наших деревень, я кажусь необыкновенным, легендарным, недостижимым.

Распахнулась дверь, и в меня ударил густой, ослепительный свет. Девочка нетерпеливо рванулась вперед и судорожно сжала мое предплечье.

В глазах ее, прозрачных и хмельных, играли лучистые капли.

Комната была большая, снежно-белая, точно покрытая инеем, с одним большим портретом Маркса в широкой, дорогой раме. Посредине огромным кругом, серебристым от скатерти, четко и вкусно расцветал пирожными и фруктами стол, и янтарные стаканы чая дымились по краям его окружности.

Высокая длинноногая библиотекарша, которая сидела рядом со мною на сцене, стриженная под польку, с толстыми вздыхающими жилами на шее, увитыми синими венами, с раскосыми глазами и носом грача, тупо и осовело глядела одновременно на меня и на Маркса и, потная от растерянности, манерно пятилась назад, приглашая к столу странно-резинными руками.

— Пож-жалста... Милости просим... Знаете... это — наша читальня. Пож-жалуйста... мы так рады бесконечно. Очередь на ваши книжки превышает триста человек. Я обижена за классиков.

И шутка у нее вышла странно исковерканной.

Она долбыкнула грачиным носом воздух, глаза у нее прыгнули в стороны и стали одновременно пристально смотреть и на меня и на дверь.

— А где же пребывает наш критик? Ах, он очень талантливый. Теперь критики похожи на конферансье,

Рабкор с оглушительным грохотом рванул откуда-то стул, бросил его к столу и сел на него верхом.

— А я настаиваю, что они похожи на крыс. Надо говорить точно и просто. Критики происходят от крыс. Одни портят домашние вещи, а другие посланы судьбой, чтобы портить писателей.

Парень с широкими челюстями промычал, как бычок:

— Вот и надо их связать вместе с рабкорами и утопить. Рабкоры — тоже грызуны.

Это было грубо сказано. Все сразу замолчали и сконфузились. А рабкор вдруг засмеялся весело и раскатисто.

— Я бы сказал лучше: рабкоры, это — ассенизаторы.

— Почему ассенизаторы? — парень быковато захохотал, но брови его строго сдвинулись. — Вот это, называется, настенгазил...

С веселой гордостью рабкор внушительно отбарабанил:

— Да будет тебе ведомо, что мы несем ответственную и историческую задачу — вычищать грязные конюшни на командных высотах.

Девочка вдруг рванулась к столу и крикнула звонко и гневно:

— Я прошу прекратить эти пошлые разговоры. Вы болтаете глупости каждый день, дайте хоть сейчас пережить хорошие минуты в общении с нашим родным писателем.

И вдруг заволновалась и струсила, точно вокруг себя ощутила пустоту и одиночество. Она растерянно взмахнула руками и стала беспомощно озираться на людей.

— Ну, что это такое...

Нечаянно она задела рукою за блюдечко, стакан с чаем опрокинулся и плеснул ей на колени. Она в ужасе взвизгнула и вскочила со стула.

Рабкор злорадно засмеялся:

— Вот то-то. Будь строга к себе. Рассчитывай каждый свой шаг. Эх ты, Малаша-бараша. Это — хорошая иллюстрация к положению: критика — ничто, самокритика — все.

Парень с широкими челюстями опять промычал невозмутимо:

— Дубина, ты должен знать, что стаканы опрокидываются от больших уклонов. У комсомолки нет твердой линии.

Малаша опять вспыхнула в порыве и звонко вскрикнула:

— Дураки и оболтусы!

Рабкор смачно крякнул и сдвинул кепку на ухо.

— Убедительно, но без фактических оснований.

Мокрое платьице Малаши прилипало к коленкам, и ноги ее круглились целомудренно и наивно.

— Вы не обожглись, Малаша?

Я ласково положил ей руку на плечо и заглянул в глаза. Она стыдливо и благодарно улыбнулась.

— Чай — едва теплый. Теперь только холодно ногам. Глупистика. Петька обязательно пришпилит меня карикатурой в стенгазете.

Расселись. Малаша — с одной стороны, а библиотекарша — с другой. Она смотрела в свой стакан с чаем, а мне казалось, что глаза ее подозрительно и ехидно наблюдают за мною.

Напротив себя я неожиданно увидел пожилого рабочего. Появился он как-то незаметно, хотя сидел как будто давно, — успокоенно, уютно, никого не замечая. Судя по лицу, по сутулой спине, по седине на висках и жиденькой бородке — ему было уже лет за сорок. Лицо его было худощаво, дрябло, и кожа пропитана металлической пылью. Руки он держал на столе — пальцы в пальцы. Они тоже были пропитаны металлом, но казались необычно маленькими для рабочего. И этим худощавым лицом с синевато-бледным налетом, с жиденькой бородкой, клочковатыми усами и шершавыми пегими волосами на голове он был похож не на рабочего, а на старомодного букиниста или книгочия из мещан. И только глаза

его, маленькие, горящие глубиною роговиц, щупали всех со скрытой насмешкой, которая излучалась мелкими морщинками у скул. Он раза два сбоку, рассеянно, взглянул на меня, и мне почудилось, что он презрительно усмехнулся, и в зрачках его, немного лихорадочных и ртутно-холодных, смешливо вспыхнули искры любопытства. Он слушал, как переругивалась Малаша с рабкором, и смеялся беззвучно, одними плечами.

Критик, как обычно, появился внезапно и сразу заполнил собою всю комнату — и криком, и юркостью, и весельем. Он был маленького роста, яйцеобразен, с плоской блистающей лысиной. Лицо было сытое, полнокровное, тоже блистающее, чисто выбритое, а глаза — выпуклые, бычьи, жадно порхающие и всегда голодные.

— Я на минутку... только на одну секунду, друзья. Мне нужно лететь домой, чтобы на завтра написать две рецензии и отчет о нашем диспуте. Не утерпел — затерялся в толпе, чтобы послушать, что говорит масса. Критик не может исходить из субъективных ощущений: он должен опираться на общественное мнение коллективного читателя.

Он фамильярно похлопал меня по плечу и крикнул, смеясь как-то по-индюшиному:

— Мой дорогой друг! Тебя ругают бесподобно, но и восторгаются пламенно. Мое положение критика очень критическое (он по-воробьиному захохотал от собственной остроты); я должен дать в своей статье объективную оценку твоего творчества. Твое произведение безусловно очень значительно и рассчитано на длительное воздействие, поскольку оно оправдывается известным положением Анатоля Франса, что ценность и долговечность произведения измеряется наличием темных мест, вызывающих споры и толкования.

Библиотекарша гостеприимно встала, и он с размаху упал около меня на стул, плотно и любовно прижимаясь

ко мне. Он понюхал чай, позвенел ложечкой, схлебнул с нее со свистом и потом жадно, залпом, выпил весь стакан. Потом с размаху схватил с тарелки пирожное и мгновенно схамкал его. Рабочий, не меняя позы, остро кольнул его отчужденной насмешкой в зрачках и пошевелил усами. Он хотел что-то сказать, но раздумал. А я с безнадежностью чувствовал, что мне никогда не уйти от критиков: все они удивительно похожи друг на друга. Чем ни благодушнее и любовнее относятся они к писателю, тем острее впиваются в его жизнь. Они всегда голодны и прожорливы, и все они живучие, как клещи, которых трудно растоптать даже тяжелой подошвой сапога.

Поглаживая мою коленку, он самодовольно и снисходительно мурлыкал, давясь пирожным:

— Мой милый друг! Ты слишком талантлив, чтобы быть счастливым, и слишком счастлив, чтобы быть мудрым. Писатель, если он взял слишком смелую художественную задачу и больно ударил своими образами людей, уже потерял свою обособленность, и судьба его, это — трагическая судьба Лаокоона.

Малаша, юная и золотая, нежно и ласково прижималась ко мне, и я с умилением чувствовал, как она робко касалась меня, боясь оскорбить своей любовью. Я наклонился к ней, с наслаждением вдыхал ее пахучую юность и с волнением касался ее упругого плеча, насыщенного молодой кровью.

— Малаша, — прошептал я, — мне хочется написать повесть, где героиней будешь ты с твоей молодостью и жаждой жизни.

Она задохнулась от восторга и пролепетала, как в бреду:

— Это правда? Это верно? Создайте же такую женщину, которая бы была необыкновенной, какой еще не было никогда. Я так хочу необыкновенного и несбыточного!

Рабкор все еще сидел верхом на стуле немножко поодаль от стола и с ехидной смешливостью напевал

тоненьким голоском разухабистые частушки. Он целился в меня с вызывающим задором и в такт напеву долбил подбородком спинку стула.

Парень с широкими челюстями угрюмо и мутно смотрел на него, и под скулами у него, поперек щеки, натягивались веревочками жесткие мускулы.

— Дятел — птица полезная: долбит носом по дереву и тащит за шиворот червяков и всякую насекомую пакость. Но дереву от этого не легче.

Рабкор взвизгнул от хохота, затопал каблуками и ударил его кулаком по спине:

— Вот это — здорово. Ты, предкультком, нечаянно сказал великую мудрость. Браво! Только неожиданная мудрость свежа и ядрена. Мудрость же, изрекаемая жрецами с литературным брюшком, похожа на переменный капитал, рассчитанный на извлечение максимума прибавочной стоимости.

Малаша озлилась и с ненавистью рванулась к рабкору:

— Дурак! Стенгазетный комар!

— Слепая полуночница, ты способна только лететь на огонек и обжигать себе крылья. Я — тоже писатель, и чем я хуже других... маститых жрецов? Ерундистика!

Рабочий смеялся беззвучно, одними плечами.

Малаша опять вскочила со стула и яростно взмахнула рукою.

— Перестань, балбес! Я не позволю хулиганить.

Критик тревожно и панически шептал мне на ухо:

— Мой друг, однако, тебя здесь не особенно жалуют. Мальчик слишком дерзок и смел. Слышится искренний протест, который имеет здоровые корни.

Я брезгливо оттолкнул его и, стараясь быть спокойным, сказал веско и поучительно:

— Дорогой товарищ рабкор. Вы слишком самоуверенны в своем задоре. Это, пожалуй, не плохо. Но вы еще не достаточно крепко стоите на ногах. Научитесь прежде

ходить и заглядывать поглубже в нутро жизни. Это — очень трудно: придется поплатиться и своим задором, и самоуверенностью.

Критик низко опустил голову и хрюкнул. Потом вскочил со стула и забегал по комнате.

Библиотекарша жутко смотрела одним глазом на меня, а другим — на рабкора, и басом, томно и жалобно пропела:

— Давайте, товарищи, без инцидентов. Мы — встретились хорошо, общение прекрасное, литературное... Здесь — библиотека, целая история мировой литературы, и, право, товарищ рабкор, заткните пробкой ваше горлышко.

— Это — верно, с живым писателем не всегда приходится говорить, как с близким человеком.

Рабочий смотрел на меня в упор, не меняя позы, и на лице его мягко играли мелкие морщинки в ласковой улыбке. И впервые в этом пристальном упоре я увидел в глазах его хитренький смешок. И вся его фигура, и неуловимые движения, и легкий наклон головы, точно она была тяжела для его плеч, и углубленная рассеянность глаз — внушали, что этот человек очень много думал в жизни, и у него выработалась постоянная привычка прислушиваться к себе.

Библиотекарша заторопилась и забеспокоилась:

— Это — наш постоянный и упрямый читатель, товарищ Чижов. Печатник. Наша библиотека для него слишком элементарна. Это — настоящий рабочий интеллигент.

Я поклонился ему и пробормотал нелепо:

— Очень приятно.

Он почему-то удивленно уколол меня зрачками, и мне от этого его взгляда стало неловко, точно я сказал какую-то пошлость.

Рабкор с грохотом придвинулся ближе и уставился на Чижова с затаенным ожиданием, точно приготовился встретить какой-то неминуемый скандал. Он перемигнулся

с парнем с широкими челюстями и скользнул по мне злорадными глазами: погоди, мол, я полюбуюсь, как ты полетишь вверх тормашками.

Рабочий с усмешечкой (мне показалось, что она была конфузливой) обвел всех цепкими глазками и остановил их на мне:

— Писателей я читал многих, но с живыми никогда не приводилось беседовать. Очень любопытно встретиться и побыть в общении, а тем более с знаменитостью и происхождением из нашего рабочего класса.

— А как квалифицировать писателей? — вдруг некстати промычал предкультком, — по профсоюзной линии они не подходят ни под одну категорию. Что-то неорганизованное.

Рабкор опять задребезжал воробьем:

— Кустарь свободной профессии.

Парень крутнул головою, и жилы на щеках у него натянулись.

— Ерунда. Раз они писатели, они обязаны быть в штатах культотделов.

Чижов точно не слышал их и через их разговор ближе придвинулся к столу, наклонился над ним и положил руки на скатерть, не разнимая пальцев.

Библиотекарша угощала нас чаем.

— Да, вы — наш знаменитый писатель. И я горжусь, что рабочий класс выдвигает своих художников. Чувствуешь, что в вас есть и частица моего мозга. Страна наша растет, и мы в строительстве социализма в тысячу раз знаменитее Шекспира, а как марксисты — гениальнее самого Маркса. Это нам зачтется историей. А мы, участники, как будто и не чувствуем своего героизма и славы: это наше будничное дело. И мне любопытно спросить вас: не чувствуете ли вы ответственности за свою славу? Я знаю, что слава всегда приятна и всегда неизбежно и вполне законно ведет к заносчивости. Ну, а вот

ответственность за эту славу насколько вы сильно ощущаете?

Этот вопрос поразил меня своей неожиданностью, и я в первые мгновения растерялся. Об этом я не думал никогда. Я работал над словом, над обработкой образов упорно, с огромным трудом, доходил до отчаяния от бессилия овладеть великим чудом преображения жизни. Моя единственная цель была добиться раскрытия великой тайны творчества: волшебством слова создавать подлинную жизнь в сложном переплетении событий и подчинить людей обаянию своего искусства. Но ответственность за эти успехи... это было для меня ново, и я никогда не ощущал ни тревоги, ни потребности помышлять об этом. В одно мгновение я увидел, что Малаша смотрит на меня с восторгом и верою и ждет от меня необыкновенных слов. Все нудно молчали. А я упорно смотрел в стакан чая и мямлил:

— Я не понимаю, о какой ответственности вы говорите? Ответственность — перед кем? Я служу только искусству.

Я услышал, как все вздохнули и разочарованно зашевелились. Рабкор хихикнул и шаркнул ногою. Малаша все еще смотрела на меня, но в глазах ее уже дрожала тревога.

Я почувствовал, как критик заюлил около меня и нетерпеливо протянул руку к Чижову.

— Позвольте мне ответить на ваш вопрос, дорогой товарищ. Писатель независим в своем творчестве от людей: он только подчиняется имманентным законам искусства. Но в то же время его зависимость от общества непреложна, поскольку он неотрывный элемент общественного коллектива. Он — между Сциллой и Харибдой, и в этом его трагедия.

Он холодно и отчужденно отвернулся от меня и, приветствуя всех ручкой, быстро исчез за дверью.

Рабочий смотрел на меня уже строго, почти грозно, и руки его чуть-чуть вздрагивали от волнения.

— Давай, голубчик, поговорим начистоту, прямо и беспощадно. Мы, кажется, немножко приучаемся к этому за эти годы борьбы. Но еще много у нас лицемерия, лжи, самообмана, самообольщения. Разве это не правда?

Я попытался улыбнуться и взглянуть ему в глаза, но почувствовал, насколько я слаб духом, труслив и как я стараюсь охранить себя от глаз окружающих людей. А этот человек — силен своей искренностью, простотой, и тоска его по истине и знание людей и жизни обострили его зрение до глубокого проникновения в человеческое нутро. Он видел меня насквозь, и перед ним я казался себе голым и прозрачным, как стекло. В нем я чувствовал крепкого и большого человека, который жил не потому, что нужно было существовать, а потому, что в жизни своей он видел большое предназначение и великую ответственность за каждый час своего бытия. Он давил меня своими словами, своей внутренней тревогой, и мне было тяжело и хотелось уйти отсюда — опасливо скрыться от его глаз и проникновенных слов.

— Я давно ждал случая поговорить с тобой, мой дорогой товарищ-писатель. Войти в тебя кровью моего сердца и узнать, чем ты живешь и какие ты видишь горизонты. Я — занятой человек, и мне редко приходится бывать на таких вечерах. Через мои руки прошла масса разных рукописей, произведений человеческого ума. Я привык к печатному слову относиться с великим уважением и любовью. Потому что это слово разносится по земле в миллионах книг и питает умы бесконечного множества людей. Ведь ты знаешь, что каждое слово, закрепленное на бумаге, живет не годы, а века и проходит огненным следом через всю человеческую жизнь. Вот и сегодня я целый вечер слушал этот диспут о твоем произведении, слушал тебя и пришел сюда, чтобы близко коснуться

твоей души. Ты пишешь рассказы и повести, написал эту вещь, которая немного взволновала всех. Собрались люди — очень много людей. И вот скажи мне, поделись со мною, с твоим усердным читателем, который хочет знать и понять тебя, который хочет гордиться тобою, — скажи мне: какие откровения возвещаешь ты миру? Что такое твое искусство? Кто ты такой, и чего ты хочешь от людей?

Очень четко и ехидно рабкор крикнул через стол:

— Вот то-то же. Не все же одним рабкорам отдуваться. Писательскую касту тоже нужно шибко протрясти, чтобы не строили из себя жрецов и шаманов.

Я нервничал: в вопросах Чижова я слышал что-то в роде издевательства. Мне даже показалось, что все эти люди, за исключением Малаши, в заговоре против меня, и заманили сюда под предлогом гостеприимства, чтобы унизить и уничтожить меня. Люди, уставшие и забитые жизнью, люди с бесплодной мыслью, которая гложет их во все дни их жизни — мстительны: они не прощают людям их талантов. Они даже и память о мертвецах стараются замазать грязью или опошлить своей завистью. Это — люди, привыкшие к своим уютным норам, к своим маленьким делам, у которых есть только одно сильное чувство — страх перед неизбежностью перемен. Но этот человек был иной — это несомненно. Его глаза были целомудренно честны, и в словах его волновалась заразительная искренность. И все же я притворялся перед ним и упрямо хотел замаскировать свое раздражение против его нескромных вопросов.

— Я не люблю и не умею говорить о своем творчестве. Да и некстати и не ко времени такой разговор.

Чижов подался ко мне всем телом, глаза его вспыхнули в глубине, а брови поднялись от удивления:

— Почему же, товарищ? Редкий случай душевного разговора. А мне хочется побеседовать с тобою, — ведь ты

наш писатель, одной со мной крови. И раз ты вошел в меня своими созданиями, ты, значит, имеешь силу и смелость тревожить, волновать меня, потому что ты тем самым заявляешь мне, что ты больше меня знаешь жизнь и людей, что ты по праву взял на себя дерзновенную задачу зажечь во мне дремлющие силы борца и помочь мне выбраться из трясины будней. Так я смотрю на писателя, и такие требования я к нему предъявляю.

Я не сдавался и глубокомысленно кивнул головою.

— Да, пожалуй, что это так. Вы вдумчиво смотрите на вещи.

Он засмеялся как-то пискливо и захлебнулся.

— Что ж, и на этом спасибо.

Засмеялись и другие, и среди смеха я услышал мычание предкультkома:

— Приперли к стене здорово. Как это называется — личванство? Индивидуалистические уклоны. Обрастание.

Малаша нервно касалась пальцами моей руки и волновалась, и эти ее нетерпеливые движения точно кричали в отчаянии: скажи им одно огненное и большое слово, которое бы поразило и обожгло их, и они онемеют, раздавленные силою твоей мысли. Но я сидел молча, как затравленный, и не мог даже защищаться. Мне казалось диким такое бесцеремонное отношение к писателю, и сидел я уныло и грузно, страдая от обиды.

— Трудные у вас, писателей, задачи, и путь вашего призвания невероятен. Слишком уж огромную ношу взяли вы на свои плечи. Но и ответ ваш перед людьми — велик, ибо это — не обычное дело многих незаметных тружеников, а подвиг перед человечеством, потому что вы имеете дело с человеческим нутром, и в руках ваших — незримые и неугасимые светильники, которыми вы озаряете сокровенные уголки, заставляя нас содрогаться от ужаса перед великими безднами, скверной и необъятными горизонтами. Не думай, что я обличаю, учу или стремлюсь

тебя унизить, я только простой человек, который привык немного размышлять и который хочет разрешить вместе с тобою некоторые проблемы, волнующие как меня, так и тебя, полагаю.

Голос его стал вдруг мягким, немного грустным, вздыхающим, как у всех мятущихся людей, которые поражены раздумьем, не дающим им покоя даже во сне. И этот голос проник мне в душу и стал близким и родным. В сердце у меня плеснулась теплая ответная волна любви к нему, и я в волнении протянул ему руку.

— Простите, товарищ. Ваши слова волнуют меня...

Он обрадовался, как ребенок, и, когда пожимал мне руку, немного даже привстал, тронутый моею искренностью.

— Я хочу, чтобы ты выслушал и понял меня, как человек и товарищ. Я хочу, чтобы между нами не было той пропасти, которая углублялась веками и которая зияет еще и теперь. Пусть наше рукопожатие будет первым порывом к слиянию друг с другом. Мы слишком долго молчали, мы слишком устали молчать, чтобы отказывать себе в удовольствии излить свою душу. А теперь, когда искусство становится не привилегией избранных и немногих, а потребностью миллионов, — теперь, как никогда, мы хотим жить и дышать им, как те узники, которые, выйдя на свободу, наслаждаются земной красотой и пьянеют от жажды ненасытно отдаться радости жизни. Ибо искусство исходит только от человека и, не отрываясь от него, живет и расцветает только в нем. Так вот теперь, когда я хочу жить этим искусством, я попрежнему голоден, попрежнему оно чуждо мне, попрежнему вижу, что нет у нас настоящего, глубокого искусства, а есть только его скверный суррогат.

Рабкор быстро вскочил со стула и строго, но смешливо оборвал Чижова:

— Ага, выходит, что наши стенгазеты поважнее, чем ваше искусство. Не в бровь, а в глаз. Здорово.

Библиотекарша схватилась за уши, и глаза ее в ужасе разбежались к скулам.

— Ах, не говорите этого! Я не могу. Это значит похоронить всю классическую литературу и разгромить все библиотеки, всю нашу культуру.

Чижов будто не замечал их и думал над чем-то своим, большим и мучительным. Он смотрел на меня с тоской и любовью.

— Вместо солнца, вы показываете сковороду, вместо людей — огородных чучел, вместо мечты — слепые слова. Разве это — искусство? Ведь искусство должно стать впереди жизни, быть немного выше жизни. А вы роетесь в навозе, как жуки, и жизнь наша прозябает в буднях. Она сложнее и мудрее вашего искусства, и мы скучно смотрим вокруг и тоскуем: где вы, наши певцы и властители дум? Вы слишком ничтожны и бедны, чтобы звать нас за собою. У вас ничего нет за душою, чем вы могли бы потрясти и поразить нас и совершить силою своего слова чудесное перерождение человека. А он — раб: он стремится к безмятежности и благополучию. Рабство приучило его к покорности, к тишине, к благостным сумеркам — к мухам, к попам, к свинушнику. Не давайте людям уставать. Спасайте его от уюта и сна. Заставьте его быть постоянным мятежником против самого себя.

Предкультком вдруг встал, махнул безнадежно рукой и промычал:

— Ну, это пошла какая-то мистика и высокая материя. Тут нет никакого делового подхода. Для культработы это не годится. Я отчаливаю. Всего... пока...

И он лениво и разочарованно пошел к дверям. Библиотекарша сначала забеспокоилась, а потом низко нагнулась над столом. Малаша слушала Чижова, и я уже не ощущал ее упругой теплоты. Рабкор скучал, зевая.

— Вас очень много сейчас — так много, что спотыкаешься о вас на своем пути. Вы засорили собой все

дороги и закоулки. Вы возитесь, как черви, в навозе нашей жизни и дурно воняете нечистотами наших будней. Ваши голоса — гнусавые и чавкающие — это голоса жалких обывателей, для которых ничего нет превыше собственного гнезда, которые умирают от страха перед раскатами небесного грома. Вы ушли в низменный мир задворков и с наслаждением смакуете прелести тараканьего благоденствия. Беспросветной скукой своего полусонного бормотания вы усыпляете человека, убивая, вытравляя в нем единственный дар — мятущееся его недовольство, дерзновение, бодрость, смелость, бунт, жажду героического подвига. Человек молчит. Почему вы даете молчать человеку? Не давайте ему ни на минуту забывать о его великом предназначении творца, строителя и героя на земле. Бейте его, жгите огнем, бунтуйте его кровь, потрясайте его ужасом перед бездушным и безрадостным существованием. Вы часто и очень много говорите о живом человеке. Ха-ха! Но что я вижу через эти ваши слова? Не мятежника я вижу, не творца и строителя, не революционера и энтузиаста, а маленького, самодовольного, глупенького успокоившегося мещанина, чиновника и поденщика, для которого настоящее — все, а будущее — ничто. Но, мой друг! Надо же понять, наконец, что человек, это — неугасимая мечта, это — борьба, подвиг, наконец, что человек — это падения и победы. Мы совершали великие перевороты, мы вели мировые войны за великие идеалы человечества, мы потрясали земной шар за блистающее будущее, за коммунизм. Впереди нас шли бесстрашные вожди, гении, которые будут жить вечно в памяти людей, как титаны мысли и действия. Эти дни и годы были торжеством человека. Скажи, где этот огонь, который нестерпимо горел тогда в людях? Зажгите этот огонь и не давайте ему погаснуть. Вот тут упоминали классиков. Эти люди никогда не забывали о самом дорогом, чем жив человек. Они тревожили в людях дух

протеста, недовольства и мятежа. Что же вы восприняли от них? Ничего. Вы только жалко эпигонствуете и питаетесь только их словесным хламом и отбросами. Вы кричите: это — норма. А я говорю вам: вы — невежды и жалкие подражатели. Вы жуете только гнилую солому нормы, но не можете найти семя, брошенное ими, чтобы взрастить его на иной почве новыми руками и дать богатый урожай. Вот ты написал новое произведение, и это произведение немного взволновало людей. Это — хорошо. Но чем ты взволновал их? Не широкими горизонтами, не дерзновенными призывами — нет, увы! Ты приписал им только то, что они способны на бо̀льшие мерзости, чем они в силах совершить. И они протестуют. И вполне законно, потому что они способны делать маленькие мерзости, которые именуются обывательством. И я тебя спрашиваю сейчас, — а я имею достаточное основание предъявлять тебе запросы, — так вот я спрашиваю тебя: имеешь ли ты после этого право называть себя писателем, не совершаешь ли ты тяжкое преступление перед тем обществом, к которому ты принадлежишь?

— Ну, это уж слишком...

Библиотекарша отмахнулась от него и панически смотрела на меня одним глазом.

— Вы, товарищ Чижов, точно прокурор. Мы рады писателю, что он с нами. Ради нас он потерял свои рабочие часы. А вы его в чем-то обличаете и обвиняете. Это нехорошо и оскорбительно. Я очень ценю современную литературу.

А Малаша шептала мне в волнении:

— Вы ведь скажете, да? Ответите ему, да?

А я смотрел на Чижова и удивлялся: откуда у него такие полновесные слова, точно вылитые из металла? Они горят в нем и плещут, как кровь, и книжность их совсем не коробит меня. Этот человек знает силу слова, живет им, и думы его распирают его мозг и отравляют

сердце. Мы слишком разучились говорить нутром, и сердца наши спрятаны друг от друга. Мы холодны, мы неряшливы с собою, мы замкнулись в себе, и нет искренности и открытой любви у нас друг к другу. Закорузлыми стали люди в своем практицизме, делячестве, и ценность их измеряется не богатством внутренней красоты, а степенью их внешней квалификации и активной исполнительности, и правило их поведения — не огонь творчества, а инструкция о внутреннем распорядке. И вот я смотрел на Чижова и с радостью чувствовал в нем человека, у которого сердце обливалось кровью по живой трогательной дружбе: он тосковал о человеке, рождение которого он предчувствует мучительно и нетерпеливо. Я порывался высказать ему свою радость, но он, точно боясь, что у него отнимут лишнюю минуту, задумчиво и скорбно говорил:

— Бесприютно и бедно мы живем. Грязно живем. Дико живем. Скопидомство, уютное гнездо, курятники и огурцы. Быт. Где же этот новый быт? И как вы изображаете этот наш быт? Когда читаешь ваши книжки, становится стыдно, больно за вас. Неужели выведенные вами истуканы, наделенные всеми пошлейшими добродетелями, совершали великую мировую революцию? Неужели то тусклое и темное житье, которое вы слюняво восхваляете, есть зародыш и основа будущего человеческого общежития? Почему вы не кричите, не бьете тревогу о том, что ведь бездарно мы живем, бездушно живем. А ведь мы, которые совершили великую революцию, мы можем жить чудесно — талантливо жить. Откуда же это серое уныние и глушь в нашем быту? Не говорите о бедности и необеспеченности, это — не оправдание. Мы давно знаем, что нет скучнее, безрадостнее жизни сытых, ибо мирное и сытое житие — это уж трупное разложение, а вонь от него невыносима для живого духа. Труд и борьба, постоянно мятущийся дух против незыблемых устоев — вот источник подлинной живой жизни живого человека,

У человека всегда избыток энергии, и он всегда хочет взорваться. Но всегда выходит как-то так, что этот избыток энергии мы стараемся нейтрализовать и пустить вхолостую. Мы боимся беспокойства, как чумы, и ограждаемся рогатками правил о благонамеренном поведении. И этот избыток здоровой энергии превращается в муть и угар — в алкоголь, в хулиганство, в половую распущенность, в склоку и взаимное истребление. А вы, как казенные борзописцы, усыпляете живой дух протеста в человеке. Вы гундосите и пакостите бумагу непереносиой пошлостью: ах, какие мы хорошие! ах, какое житье наше райское! ах, мы — единственные мессии во вселенной! Вы упиваетесь своим чванством и не замечаете, как вы слепы и противны до тошноты. Когда вы рисуете наших врагов, вы наделяете их всеми пороками, всеми гнусными чертами и мерзостями. В вашем изображенни он — нелеп, картонно пуст, примитивно смешон, как петрушка. Вы унижаете человека и презрение к самим себе вызываете этим жалким самохвальством. Каждый герой достоин своего врага, и ваши доблестные, любимые персонажи, блестя фальшивым золотом, легки, как картонные солдатики. И какие трескучие слова! Какой галчиный шум! Много в словах ваших пыла, да нутро-то их гнило. Вы и искусство стремитесь водворить в казарму и заковать его в кандалы схоластики и казенного формализма, а оно рвется оттуда, дичает и прячется на задворках. А бездарны вы потому, что трусы. Вы рабски, с искаженным лицом от страха и с грязной тряпочкой вместо мозга, прислушиваетесь, что скажут о вас люди. Вы изолгались и обманом своим тянете из них соки внимания и восторга, ничего не давая взамен. А люди, предоставленные своим будничным интересам, слишком серы и однотонно пестры. Могут ли они прыгнуть выше своей головы? И они говорят вам: пишите так, чтобы не тревожить нас необычностью образов. Не

бейте нас, а щекочите. Не волнуйте, а усыпляйте или скрашивайте наши будни безобидной шуткой. И вы услужливо егозите перед ними, упрощаясь до примитива, до лакейской безграмотности. Ах, друг мой! Не под ногами и не в хвосте должно плестись искусство, а гордо и могуче нестись в высь, и музыка, и призывы ее должны быть потрясающи. Преобразите наши будни, поднимите их напряжение до пафоса борьбы. Ведь творчество, это — предвидение, и смысл его не в изображении того, что есть, а в изображении того, что должно быть. Надо уметь найти живоносный источник эпохи, скрытый под мусором обыденщины, и вызвать его на поверхность жезлом искусства. А чтобы найти его, надо иметь острый глаз, проникновенный ум и мудрую любовь к людям. Помогайте же людям находить этот источник живой воды — они жаждут. Как же вы этого не видите? Почему же вы не чутки к их болям? Вы только елозите подслеповатыми глазами по навозу и щебню, нюхаете вонь отбросов и решаете: вот подлинное лицо времени. И я с гневом кричу вам: не надо нам отбросов наших дел, а дайте нам крупицу наших побед и сотворений. Каждый пройденный путь усеян трупами погибших, грязью и скверной нашей борьбы. Не надо спотыкаться. Мы — впереди. Делайте перлом искусства каждый наш шаг, который ведет нас в бессмертие. Ободряйте нас, подстегивайте, устыдите тех, кто оглядывается назад и отравляется ядом собственной усталости. Нельзя строить новую жизнь и прокладывать к ней пути без дерзости и упрямства. Слабым духом — не место в наших рядах. Не бойтесь, что люди будут роптать, что это ново для них и непривычно. Они — пугливы, они — рабы привычек и вещей. Не бойтесь разлада между собой и ими и не страшитесь того, что они не поймут вас и побьют камнями. Сила и значение писателя определяются остротой и смелостью его предчувствий. Разверзай перед людьми гнойники их жизни, бей их, заставь их поверить

в могучую силу твоих слов, открой перед ними невиданные картины, сильных людей и их героические свершения, пой им неустанные гимны будущему, расскажи им пленительные легенды о людях, которых нет в их быту, брось в их унылые, грязные кварталы неугасимую мечту о грядущем, доведи ее трепетание силою образа до физического ощущения. Не бойся преувеличений — в этом и только в этом предназначеиие искусства. Заставь их поверить, и веру их в себя и свои способности к подвигу—укрепи. Пусть будут травить тебя многие, пусть останешься ты в одиночестве. Верь, что ты родился не напрасно и оправдал себя перед миром, и радость творчества твоего будет высока и прекрасна.

Он замолчал и ушел в себя. В его глазах плавился жарок и переливался на огне улыбкой возбуждения. Чем я мог противостоять ему в его правде? В своем маленьком миру, оторванном от жизни, мы беспомощно носимся со своими маленькими чувствами, блеклыми мыслями, не зная, по своему невежеству, что эти напевы и образы так же новы, как крик петуха. Мы в своем крикливом тщеславии так же смешны, как мальчики, которые играют в стариков. Слова наши преждевременно лысы, и песни наши похожи на лай. Призванные быть впереди, мы пугаемся далей и панически прячемся в собственном кулаке. В толпах людей мы бесприютны и плачем о тишине полей, о призраках, которые витали над иашей колыбелью. Мечтая о славе, мы живем только собою и, поклоняясь себе, требуем платы за свое первородство. Мы не слышим могучего, стремительного движения жизни, и гулкие шаги масс, железной лавиной идущих мимо, — для нас неведомы и страшны. Тот, кто идет уверенио и бодро, тот знает, что такое будущее, а настоящее для него — только ничтожная часть бесконечной дороги. И мы, жалкие плясуны и фокусники, самовлюбленные глотатели огня, треплемся по краям, по узким безлюдным панелям и,

одинокие, дрожим, чужие друг другу, незаметные для идущих мимо нас миллионов. Чтобы петь песни, волнующие людей, надо быть запевалой. Кто же мы такие? Этот человек был жесток, может быть, даже несправедлив, но слова его были облиты кровью, и она обжигала меня. Я молчал и страдал от этих ожогов.

А он вздохнул и опять заговорил:

— Я вспоминаю о своей молодости. Много в ней было безотрадного и обидного. Но с какой бы я радостью возвратился к этим моим далеким дням! Ведь молодость, это — бурные порывы, вера, горячая кровь и пламенная мечта. Не таково ли искусство? Дайте нам легенду о человеке, дайте нам пламенную мечту о цветущих и буйных веснах, дайте нам поэму о сильных и юных героях, дайте нам слова, которые бы не давали нам покоя даже во сне. Я люблю искусство, потому что это — жизнь, это — мое дыхание, потому что в искусстве я осознаю себя, как творца, потому что оно воспламеняет радость моего предназначения. Не говори, что искусство, это — идол, которому ты служишь как избранник. Искусство, это — я, это — класс в становлении прекрасного, в высоком преображении моих сил. И не говори, что ты служишь искусству как некий цеховый мастер. Ты — не ремесленник, а певец, баян своего класса. И мне противно и дико слышать, как многие из вас, именующие себя пролетариями, кричат: „Я выполняю социальный заказ". Вы еще не осознали себя, как творцы, а еще лепечете о том, что вы призваны для сотворения мира. Но я уже слышу новые, бодрые голоса. В них, в этих звонких голосах, я с волнением слышу себя. Это — голоса юности, весенний шум молодой поросли. Искусство родится из молодости, только из молодости.

Он взволновался и дышал прерывисто и шумно. Должно быть, долго у него горело нутро, и душа его ныла от боли, и вдруг эта боль вспыхнула, взорвалась и взбунтовала

кровь. Он встал со стула и обошел вокруг стола, нервно теребя бородку дрожащими пальцами. Никогда я еще так кровно и душевно не сливался с человеком за эти годы, никогда еще у меня не звучали струны трогательной нежности к людям, как в этот странный и исключительный миг. И я ждал — пройдет еще мгновение, и я брошусь к нему на грудь и обниму его, как милого брата.

Раздумчиво, печально, но с большой внутренней силой он почти пропел, глядя мимо меня:

И черная земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.

— Хорошие слова. Из наших страданий и тоски вырастут новые силы, и большими словами ослепительной красоты и мощи они потрясут целый мир. Я их предчувствую и вижу, и эти мои призывы — к ним. Это в них растет и зреет великая сила преображенного человека.

В тех же муках рождала их мать,
Так же нежно кормила у груди...

Он с усталой улыбкой махнул рукой в сторону Малаши и рабкора. А рабкор вдруг трубно завыл от зевоты и крякнул. Потом встал и подхватил под руку Малашу:

— Здесь какая-то галиматья, Малаха. Это — не по мне. Завтра утром — заседание актива и редколлегии стенгаза. Пойдем-ка, Малашок, шагай. Два часа ночи. Не стоит овчинка выделки — себе дороже стоит.

Малаша встала, но еще с надеждой тянулась ко мне. А рабкор запел вызывающе громко и насмешливо:

Тараканы, шарлатаны,
Громко бейте в барабаны — дрр!..

Малаша медленно, кусая ногти, шла к дверям. Она даже не простилась со мною. Библиотекарша тоже поднялась, и глаза ее неудержимо разбежались к скулам.

— Не пора ли, товарищи, по домам? Нужно освободить помещение.

Она открыла другую дверь и крикнула во тьму:

— Товарищ Шурыгин, проводите писателя к выходу и заприте двери.

Чижов усмехнулся с икотой и крутнул головой:

— Каково? а? Остались без читателей и почитателей. Да еще вдобавок выпроваживают бесцеремонно.

Библиотекарши не было в комнате.

Я встал и, как оплеванный, торопливо оделся.

— А я вот... все-таки остался с тобой и провожу тебя, как близкий друг и товарищ.

— Не нуждаюсь. Я и сам знаю свою дорогу.

— Ой ли?

Малаша широко отворила дверь и вошла весело и размашисто:

— Я остаюсь. Я не могу уйти.

Чижов совсем по-юношески шагнул ей навстречу и нежно обнял ее:

— Вот это я понимаю. Я горжусь тобою, Малаша... Но мы уже уходим.

— Я — с вами... Мне — по пути.

И в глазах ее звенели ручейки.

Мы шли по набережной реки Москвы. Было непривычно пустынно и предрассветно прозрачно. Небо дымилось низко и было необычно простое — совсем не городское небо. Звезды порхали совсем рядом и были доступны и понятны, как призраки сна. И чудилось, что небо — жидкое и прохладное, как успокоенная вода, и мутно горит изнутри отражениями далекой зари. Воздух над рекой был тоже густой, холодный, сырой от воды, по-ночному нездешний, отстоявшийся в запахах весеннего болотного гниения. Вдали, над грузными мостами и за мостами, между стенами и башнями Кремля, растущими из сказки, молодо и стройно, и громадами грязных;

угрюмо столпившихся домов Замоскворечья, напирающих на берег, с черными стволами фабричных труб, — воздух мутнел, дымился и бездонно уползал в густую мглу. Но этого воздуха, идущего с неба и плывущего вместе с рекою, я не ощущал, а нестерпимо нес в себе только город — безнадежно огромный, земной, загромоздивший весь мир. Он давил всей тяжестью своих каменных зданий, вросших друг в друга, неотделимых и бурых от старости. Они врастали в булыжную мостовую, и окна нижних этажей провалились вниз, в тротуары, а верхние, наседая один на другой, расцветали каменными цветами карнизов, подпираясь пилястрами и колоннами. А там, за дряхлой Китайской стеной, горными скалами и утесами вырастали, уверенно и могуче, новые, расточительно богатые, корпуса многоэтажных гигантов и грузно смотрели вдаль, через крыши других домов, как молодое потомство столетних классических казарм. И мне всегда казалось, что город зданий так же размножается, как миллионный люд, который насыщает его своей кровью. Крыши, острые углы высочайших кубов, купола, башни и шпицы, причудливыми зубцами и пиками в серых предутренних сумерках остро резались в дымно-голубых далях, а вблизи четко и несокрушимо каменели в стальном блеске воздуха без теней и перспективы. И каждая из этих громад чудилась живым организмом, который дышит, переваривает пищу, и в котором бьется необъятное сердце, толчками разносящее целые тонны горячей крови.

В гранитных берегах, за железным парапетом, река текла тихо, застойно, без ряби, как масло, и она была совсем не похожа на реку, играющую среди обрывистых и луговых берегов, с седыми деревенскими ветлами и ивами. Здания Замоскворечья отражались в ней отчетливо и вертикально, и казалось, что они головокружительно проваливаются в пропасть улиц, и что мы идем

на громадной высоте, по каменному исполинскому виадуку. И там, на дне этой улицы, — такая же громоздкая жизнь миллионов с их борьбою, заботами и угарным вихрем трудового напряжения.

Глухой, невнятный, утробный гул плыл из нутра этих каменных громад — плыл откуда-то издалека через скалистые стены, заражая воздух скрытыми зарядами человеческой энергии.

Город не умирал ни на одно мгновение и трепетал бесчисленными огнями электричества. Вдали частыми лунами увенчивался горб моста, и эти огни пламенными веревками змеились к нам по воде.

Куранты на Спасской башне зычным металлом одиноко и жутко гаммой запрыгали по колоколам. Будто кто-то немой и неумирающий смотрит с высоты на город и бесстрастно бьет тяжелой палкой по металлу, несонно отсчитывая часы жизни.

Шли мы молча, отчужденно и думали каждый о своем.

Опираясь на парапеты, замирая от близости, обнимались парочки и что-то шептали друг другу в любовном упоении. Одинокие, запоздавшие люди торопливо пробегали мимо нас — все больше молодежь с застывшими улыбками и мутными глазами, ушедшими в себя. Путаясь в ногах друг друга, брели в обнимку двое рабочих — один костлявый, с задранной кепкой на затылок, другой — мясистый, с надутыми щеками, курносый, без фуражки, с расстегнутым воротом рубахи. Они надсадно и хрипло орали, останавливались, целовались, болтались по панели, пятились назад, а потом широкими шагами опрометью бежали вперед, точно их с размаху кто-то бил по затылку.

— Ваня!.. Дай, я тебя поцелую... Ты знаешь нашу жизнь?.. Ваня!..

— Нет, ты подожди, Вася... Кто может сказать мне: ты — холуй и баран? Никто... Никакая шшатия... Человек я, аль нет?..

— Люди мы, Вася... борцы революции... во веки аминь... Дай, я тебя поцелую...

— Врешь!.. Скоты мы сейчас и пьяницы... Слышь, товарищи проходящие?.. Извините, товарищи... Вася!..

Они прошли, грустные в своем опьянении, а мы почему-то остановились и многозначительно улыбнулись друг другу.

— Не наблюдаешь ли ты, что день ото дня все больше пьяных в рабочих кварталах? Какая у людей жажда к опьянению! Всякое опьянение — будь это алкоголь или иной дурман — есть бунт против трезвой скуки и бездушия. Не этим ли питается тяга к скандалу и преступлению? Это поучительно для тебя: там, где искусство еще бессильно овладеть людьми, где идея растворяется в унынии дней, там алкоголь отравляет человеческие мозги. Человек хочет быть одержимым — этим он живет, этим питается творческий дух. Одержимость и есть то, что называется вдохновением. Талант всегда претворяет настоящее в идеал. Надо найти живоносный источник эпохи — в этом весь смысл искусства. Образ эпохи не в отбросах, не в мусоре житейской скверны, не в том, что̀ нас захлестывает и принижает, а в отслойках нового, яркого, драгоценного, — в отливе новых созданий. Не разворачивайте этих отбросов — они только больше смердят от этого. Вы — не ассенизаторы, а кузнецы. Я знаю, что ты согласишься со мною, потому что вижу, что ты честен и строг к себе.

Я кивнул ему головой в знак согласия и устало зевнул.

— Ну, конечно... — он засмеялся.— Ты хочешь спать? Я понимаю тебя. От людей тоже хочется освободиться, как от навязчивых идей. Не так ли?

Он был проникновенен и беспощаден, а я, подавленный его правдой, только корчился перед ним и бился изо всех сил, чтобы сохранить свое достоинство.

— Я бы сказал иначе. Люди склонны к навязчивым идеям: если они не страдают ими, они стараются их выдумать.

Он мягко и ласково засмеялся.

— Это у тебя сказано неплохо.

И нетерпеливо затеребил меня за рукав.

— Смотри!.. Мы строим... мы удивительно талантливо строим... потому что строим смело, молодо, бодро, как, вероятно, не строит никто на земном шаре. Не во имя личных выгод, не во имя порабощения людей строим мы, а во имя великого освобождения человечества, во имя социализма, т.-е. общечеловеческой культуры будущего. Вот это-то наше строительство и спасет людей от мрака бесприютности, от кровавого гнета, и выведет из мрака тьмы старого бытового уклада и из болота мерзейших наследий. Мы строим, и эта поэзия нашего труда потрясает меня радостью. Чудесно мы строим. И разве это — не вдохновенный мятеж против всяких норм, от которых время превращается в тину безмятежности и покрывается плесенью. Поэтизация труда... гимн труду... поэма о созидании... вот чем должны быть ваши вымыслы, и эти вымыслы будут пленительны... и бессмертны...

Перед нами легко и крылато взлетала в высь ажурная металлическая опора электропередачи с тяжелыми гирляндами изоляторов, и от нее в обе стороны гигантскими струнами утекали толстые медные провода. Мы вошли в широкую арку этой кружевной вышки и опять остановились. Налево, через реку, громоздилась такими же ажурными переплетениями необъятная суматоха лесов с бесчисленной россыпью огней, а на самой реке, среди такой же путаницы лесов — частые созвездия ослепительного огня. Строилось новое здание электростанции.

— Огни... огни по всей нашей бескрайней стране. Раз зажглись огни, они будут неугасимы. Город, неусыпный труд пролетария, неистощимая электрическая энергия

пронижут дикие, первобытные мужицкие гнезда, и домовые ослепнут и издохнут от нестерпимого света. Это — мозг великой созидательной силы пролетариата. Не говори, что идеалы коммунизма — недостижимо далеки: они — в нас, они — всюду, они живут в наших усилиях, в нашей жажде мятежа, в наших думах, в радости и боли нашего сердца. Не говори, что мужицкий дух неотразим и непреоборим, как дух земли для Фауста. Это — призраки дурного сна людей усталых, надорвавшихся, павших в борьбе, или рабов стихий, которые еще преклоняют колена перед мужицкими богами. Вожди не могут вести вперед, если они не оглядываются назад. Мы идем за солнцем, и дали наши — ослепительны. И весь наш путь — это превращение солнечной энергии в энергию движения масс. Вождь должен быть не впереди, а в гуще ведомых. Свет должен пылать не в далях, которые лежат впереди. Пылают только человеческие массы, ибо только в настоящем горит солнце будущего. Освещайте же настоящее огнем будущего — вы к этому призваны, чтобы провалы, болота и скалы нашего пути не убивали нас страхом и смятением. Пусть факелы ваши будут неугасимы, а бодрые песни и поэмы ваши не умолкая гремят энтузиазмом в сердцах завоевателей будущего. Пусть электрическая энергия не только блистает миллионами ламп и бурей заряжает моторы, — пусть эта энергия насыщает человеческие сердца и мозги неостывающим пылом борьбы и героизма. Вы являетесь аккумуляторами и проводниками этой творящей энергии своего класса.

Мы расстались с ним тепло, — дружески и сердечно. Он долго жал мне руку и говорил:

— Ты не сердись на меня: ты певец человеческих воль. Твоя рука должна всегда лежать на моей груди, чтобы чутко слышать биение моего сердца. Чтобы быть любимым певцом, нужно уметь слушать, как поет в жилах родная кровь. Я очень рад, что ты внимательно

выслушал меня, и я знаю, что наша связь будет неразрывной.

Он пошел от меня по панели твердой и быстрой походкой человека, ноги которого много ходили по земле. Уверенно размахивал он руками и голову держал высоко и легко. Я услышал, как он напевал по-утреннему радостно и молодо:

Высота ль, высота ль поднебесная,
Глубина ль, глубина ль — океан-море.

Он пел песню о Голубиной книге.

На вершинах фабричных труб, на крышах высоких зданий и шпилях башен Кремля огненными брызгами трепетало солнце, а небо и воздух над городом клубились опаловым дымом. Где-то очень далеко необъятно грохотал поезд, и навстречу солнцу клокотал гудок в стремительном беге паровоза.

Малаша шла около меня, прижимаясь к моей руке, и глаза ее голубели и золотились утром. И я чувствовал, что она верила мне, любила меня и ласкала меня своей юностью — уже не как девочка, а как женщина.

— Вот он говорил... а вы молчали... но я чувствовала, что вы страдаете... не за себя, а за литературу... Вы не сердитесь. Болеют за того, кого любят. Мне кажется, что любовь, это — не восторг, а боль, и хочется, чтобы любимому тоже было больно... хочется нанести ему боль — передать свою боль... Я понимаю это. Как вы думаете?

Я нежно прижал к себе ее руку, и мы были похожи на те любовные пары, которые самозабвенно прижимались к парапету панели.

— Да, Малаша. Мне было больно, но я жажду этой боли. Тот, кто хочет говорить, должен уметь слушать. Писатель, это — ребенок, который постоянно растет и не достигает зрелости.

Она всматривалась в огненные крыши зданий, в небо, где золотым самолетом реяло облачко и ослепительно плавилось по краям, на сверкающий гигантский шлем храма Христа вдали и молчала в раздумье. Ее теплота переливалась в меня радостно и неудержимо, и я с наслаждением пил ее сердцем.

— Писатель должен прежде всего жить ненавистью, непримиримостью и гневом.

Она решительно вскинула голову и отмахнулась рукой, точно хотела устранить кого-то, стоящего перед нею.

— Нет... по-моему, не так... Писатель может жить только любовью. Ненависть и гнев — от любви.

— Малаша, вы — женщина.

Она держала голову высоко и гордо и казалась выше ростом и крепче мускулами.

— Да, я — женщина. Как вы смотрите на женщину?

И, не ожидая моего ответа, горячо и убежденно крикнула:

— Женщина, это — будущее! Еще никто не знает, что такое женщина!

А я, разгораясь восторгом и нежностью, пел ей словами:

— Да, Малаша. Женщина, это — великая культура будущего. Высота всякой культуры измеряется степенью независимости женщины. Наша женщина уже несет в себе поэму будущего, — женщина без клейма проклятия — без очага, без любовной привязанности к самцу...

А она все настойчивее и увереннее вскрикивала, загораясь в солнце:

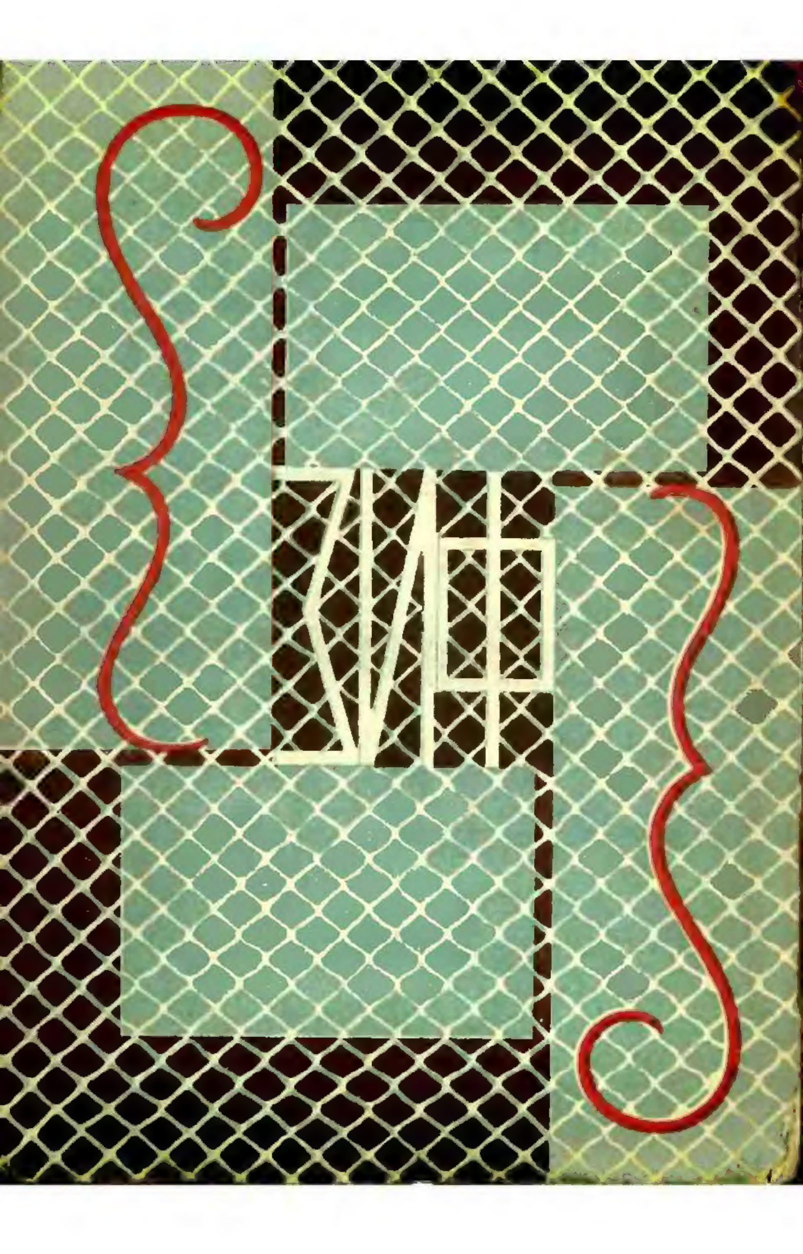
— Но она — и мать... Ах, дайте женщину, которую уже чувствуешь, ждешь!.. Дайте женщиину, которая уже рождается... она — необыкновенна... иная... а какая—еще не знаю... Вы — писатель, а писатель — это и есть

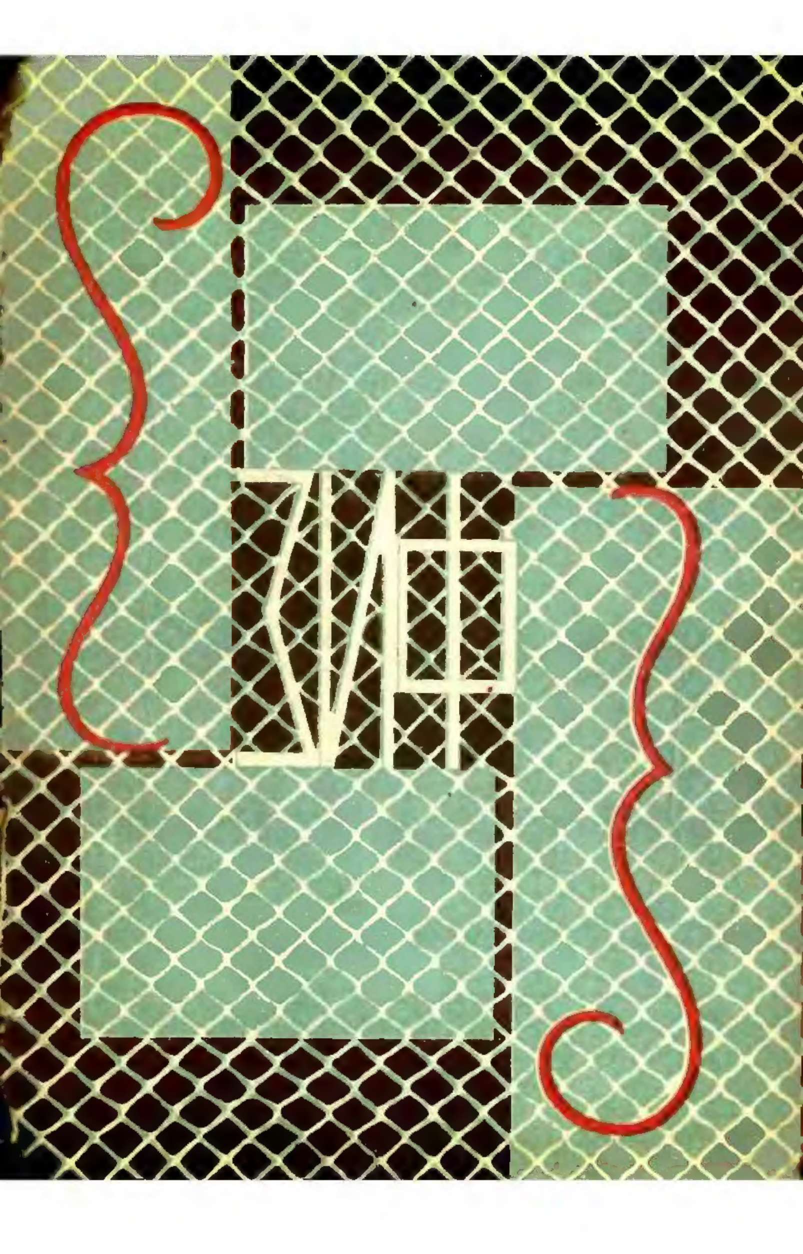
необыкновенное, потому что нельзя творить того, что уже примелькалось в глазах. Что делает писатель, когда он пишет?

— Он создает новый мир, Малаша. Я создам новую женщину, и прообразом ее будете вы...

Она взглянула на меня с радостью и верой, и в глазах ее засверкали капли утренней росы.

СОДЕРЖАНИЕ


ЗИФ


ЗИФ

Цена 2 р. 50 к.



Адрес Издательства (Правление):
Москва, Варварка, Псковский пер., 7.

Центральный Книжный Склад:
Москва, Лубянский Пассаж, помещ. 25—30

КАТАЛОГИ по требованию БЕСПЛАТНО